

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000038114800

Сергей  
Кузнецов

# Учитель ДЫМОВ

*Роман*

Финалист  
премий  
БОЛЬШАЯ  
КНИГА,  
НОС



**Моим коллегам  
по проекту «Марабу»**

Сергей  
Кузнецов

# Учитель ДЫМОВ

*Роман*



Издательство  
АСТ  
Москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
К89

Художник Андрей Рыбаков

Издательство благодарит  
Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency  
за содействие в приобретении прав

**Кузнецов, Сергей Юрьевич.**

К89 Учитель Дымов : [роман] / Сергей Кузнецов. –  
Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шу-  
биной, 2019. – 413, [3] с. – (Новая русская классика).

ISBN 978-5-17-105379-6

Сергей Кузнецов умеет чувствовать время и людей в нем, связывая воедино жизни разных персонажей. Герои его нового романа «Учитель Дымов», члены одной семьи, делают разный жизненный выбор: естественные науки, йога, журналистика, преподавание. Но что-то объединяет их всех. Женщина, которая их любит? Или страна, где им выпало жить на фоне сменяющихся эпох?

«Роман о призвании, о следовании зову сердца. О жизни частного человека, меняющего мир малыми делами, который не хочет быть втянутым в грубую государственную игру. О мечте. О любви, которая бывает только одна в жизни. О родителях, ценность которых люди осознают, только когда они уходят».

*Сергей Кузнецов*

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-105379-6

© Кузнецов С.Ю.  
© ООО «Издательство АСТ»

# Пролог

Нина падает лицом в снег — и сразу резкая боль в ноге, багровые круги перед глазами. Неужели сломала? Как же она вернется? А может, голова от голода кружится, оттого и круги, а что в ноге боль такая, будто в лодыжку вбили старый ржавый гвоздь, так надо только встать, и все будет хорошо, и Нина пойдет дальше, и все будет хорошо, наберет еще брусничных листьев, и все будет хорошо, и вернется домой, к своей Жене.

Только надо немного полежать, собраться с силами.

Нина переворачивается на спину, пытается смахнуть прилипший к лицу снег. Вот, так-то лучше. Видны ели, все укутанные, красивые, сказочные. И небо — тоже красивое, синее, точнее — темно-синее. Если бы не деревья, увидела бы алую полосу заката, но если еще вот так полежать, увидишь

и звезды, и месяц, то есть наступит ночь, и тогда уж точно отсюда не выберешься.

Поэтому — надо встать.

Нина садится — неловкая, закутанная в какие-то кофты и тряпки, — пытается подняться, опирается на правую ногу (вроде все хорошо, ничего не болит), потом переносит вес на левую и от боли едва снова не падает.

Значит, все-таки поломала. Или вывихнула. Сейчас неважно — вывихнула, поломала, сейчас главное — вернуться в деревню, а там кто-нибудь из старух посмотрит, скажет, что делать.

Нина пытается прыгать, опираясь на здоровую ногу. Нет, никак. Может, на ровном месте, на московском асфальте, у нее бы и получилось проскакать километр, но не здесь, в лесу, по колено в снегу, а то и по пояс.

Значит, нужна палка. Надо доползти вон до той ели, срезать нижний сук... какая Нина все-таки умница, что взяла с собой нож. То есть какая была бы дура, если бы не взяла, — кто же в лес идет без ножа? Хотя всегда удивлялась — зачем нож в лесу? От волков не поможет, а дрова рубить — так лучше топор.

Да, топор бы не помешал, придется сейчас эту ветку ножом пилить... но сначала надо доползти.

И Нина ползет.

Снег забивается в рукава, обжигает запястья. Левая нога вспыхивает болью на каждое движение, и в глазах темнеет — то ли Нина сейчас теряет сознание, то ли солнце совсем зашло.

Надо доползти до вон той ели, повторяет про себя Нина, надо спилить этот проклятый сук, попытаться встать, дойти до опушки — о боже, кило-

метр, по снегу, с поломанной ногой! И надо успеть, пока совсем не стемнело, потому что в темноте... да, в темноте Нина наверняка собьется с пути. Надо пройти хотя бы до опушки, а там уже дорога, прямо к деревне, оттуда-то Нина доберется, там-то она все знает. Там минут десять до первой избы — ну, это если на двух ногах — десять, а так — все полчаса, и нет, Нина не пойдет в первую избу, если останется хоть немного сил, дотянет до второй, где живет Алена, вот кто ей поможет, точно.

Осмотрит ногу, скажет, что дальше делать.

Главное, не думать, как быть, если это действительно перелом. Потому что тогда — как же она будет работать? На что они будут жить? Женя одна двоих не прокормит.

Так что, если это перелом, может, и не надо ползти? Вот взять — и остаться здесь, Женя уже взрослая, тринадцать лет, лучше совсем без матери, чем с матерью-инвалидом...

Нет, нет, нет, это чушь какая-то. Даже не думай о таком, думай только про ближайшую цель: доползти до ели.

А что будет потом — потом и узнаем.

Но Женю она одну не оставит — нет уж! — и Нина делает еще один рывок сквозь колючий слежавшийся снег и вцепляется пальцами в заиндеветый корявый ствол. Подтягивается к ели двумя руками, с трудом садится, прислонившись к дереву спиной.

Теперь надо достать нож, говорит она себе. Снять мешок, залезть в мешок, достать нож. Главное, чтобы я его не вытрясла по дороге, как последняя разиня.

Разиня? Нет, она давно уже не разиня. Ни на пристани, ни на барже, ни на вокзалах не увели у них с Женей ни одного узла, ни одного чемодана... чемодан, впрочем, и был один, фанерный, хлипкий, где лежали нарядные кофточки, сборник рассказов Чехова и вложенная в него единственная Сашина фотография. Кофточки давно выменяли на еду, Чехов сгинул в первом доме, куда их поселили, — небось, хозяйка-сволочь, Пелагея Ивановна, сперла, пустила на самокрутки или на растопку. Хорошо еще, что фотографию Женя под подушкой прятала. Вот ведь, совсем отца не помнит, а любит, как и положено дочке.

Ну, вот он, нож. Теперь, значит, за дело.

Замерзшее дерево почти не поддается, и Нина скребет его, снимая у основания ветки сначала кору, а потом — слой за слоем — древесину.

Была бы я бобром, думает она, могла бы зубами.

Впрочем, что за чушь? Была бы я бобром, я бы здесь сдохла давно.

Интересно, если бобра переселить из его ручья в совсем другой ручей, он освоится или нет? С другой стороны, кто знает наперед? Кто бы Нине сказал, что она, городская женщина, москвичка, будет собирать под снегом листья брусники или, того хуже, пилить еловую ветку ножом?

А кто бы сказал, что их будут эвакуировать на баржах, как скот, лес или уголь? Кто бы сказал, что немцы дойдут до Волги? Что Нина увидит, как фашистская бомба падает прямо за бортом, в каких-нибудь пяти метрах от нее с Женей, и ледяные брызги летят прямо в лицо?



Женя тогда была еще маленькая — испугалась и заплакала. Сейчас бы, конечно... ну, наконец-то! Нина вцепляется в еловый сук руками, повисает на нем всем весом, на голову сыпется с верхних ветвей рыхлый снег, а потом раздается хруст, и Нина падает в сугроб.

Получилось. Только надо найти нож в снегу, а то мало ли... еще пригодится. Значит, нож в мешок, мешок — за спину, сук в левую руку... ну, попробуем.

Нина прыгает раз, потом второй. Переводит дыхание. Ничего, можно. Главное — не сбиться с пути. Пока не стемнело, будет идти по собственным следам, заодно и снегу поменьше. Давай, Нина, давай! Только бы добраться до опушки, там уже недалеко, там ты точно не заблудишься.

Главное — помнить, зачем ты все это делаешь. Ты должна вернуться, потому что, если ты не вернешься, Женя останется совсем одна. А останется одна — никто о ней не позаботится. Алена, может, и была бы рада, но у нее своих пятеро и брат парализованный, куда ей еще одна малолетка?

Давай, Нина, давай! Ты же помнишь — кроме тебя, у Жени-то и нет никого. Ты должна вернуться!

Не для того же ты пережила эти две страшные зимы, чтобы сгинуть в лесу, в получасе от дома? Давай, прыжок, еще прыжок... вот завтра Алена обещала натопить баню, хотя бы тогда согреешься, верно? Хотя Женя до сих пор бани боится — с тех пор как Пелагея нам трубу закрыла и мы чуть не угорели. Нина тогда Женю — в одеяло и прямо в снег, за порог, а сама выскочила как была, голая, на радость соседским мальчишкам.

Пришла потом к Пеллаге, спрашивает: что же ты, сука, делаешь? Ты нас что, убить хотела? Мало тебе того, что ты у нас по мелочи тырила, решила по-крупному разжиться?

Та, конечно, в ответ: да я случайно, да ты чего, Нин, как я могла, у тебя ждите малое! Хорошо, что Алена услышала, сказала: брось ты ее, старую ведьму, давай со своей девкой ко мне.

Так вот и живут в одной избе: Алена со своими пятью и парализованным братом да Нина с Женей — *выковырянные*, как их здесь называют.

Ну, то есть, эвакуированные.

Нет, не надо, значит, думать про баню. Лучше вспомни что-нибудь из прошлого, из счастливого довоенного прошлого. Из тех времен, когда еще был жив Саша. Вспомни, что он тебе говорил, как тебя называл. Моя милая. Лапочка. Ниночка моя. А Женю — помнишь, как он называл Женю? Наш воробышек. Ты еще спросила: «Саш, почему воробышек?» — а он ответил: у нее волосенки на затылке торчат, как всклокоченные перья.

Ну, пусть будет воробышек.

Волосы, кстати, до сих пор такие, что любая расческа ломается, — взъерошенные.

Ох, Женя, птичка моя.

Как было бы хорошо верить, что Саша не превратился в ничто, не распался на атомы. Свекровь моя, Марина Прокофьевна, пока была жива, всегда говорила: в Бога — это вы как хотите, можете не верить, а вот вечная жизнь моему Сашеньке положена.

Ну что, Саша, видишь твою лапочку, твою Ниночку? Не узнаешь, небось, в этих семи одежках,

круглую как шар, с красным лицом, с поломанной левой ногой. Прыг-скок, прыг-скок. Я тоже теперь, значит, как воробышек.

Давай, Саша, смотри на меня, гордись мной! Половина дороги, я уверена, половина дороги! А еще не стемнело, еще есть время, так что да, я доберусь, допрыгаю, доскачу... до опушки, а потом — напрямик до деревни, до Алениной избы, а там ждет меня Женя, Женечка, доченька моя... наша с тобой, Саша, доченька!

Все, нет больше сил, надо передохнуть. Только не садись в снег, потом не встанешь. Прислонись к дереву, вот так. Палку свою из рук не выпускай, глаза не закрывай, а то будет как у Некрасова — *улыбка у бедной вдовицы играет на бледных губах*, — а нам этого не надо, нам только передохнуть — и скакать дальше.

Ладно, считай до ста — и вперед! Главное — не сбиться со счета, не ставить после двадцати девяти снова двадцать, не жульничать, не выторговывать лишние десять секунд передышки.

А это что за звук? Низкий и протяжный, ни с чем не спутаешь. Да, зря ты, Нина, остановилась — так бы за хрустом снега и не расслышала волчьего воя, может, было бы не так страшно. А теперь — да, теперь придется прыгать еще быстрее, потому что ты ж не деревенская, ты же не умеешь на слух определить, далеко волки, близко или вообще за соседним деревом, сидят, задрав морды к небу, воют и ждут, пока добыча сама прискачет, на правой ноге да еловой клюке.

А вот еще Алена говорила, был в соседней деревне случай: жила у одной старухи *выковырнанная* се-

мья, ну, так старуха свою внучку послала якобы им показать, где в лесу большой брусничник, а внучка их к лесу отвела, дорогу в самую глубокую чашу указала и бросила. Хорошо, встретился им случайно какой-то добрый человек, вывел к людям, а то съели бы всех волки, никто б и не понял, что случилось.

Нина, когда это услышала, рассмеялась: ладно, мол, Алена, это же сказка про мальчика-с-пальчик: завели в чашу и бросили, потому что есть было нечего! Что ты мне рассказываешь про соседнюю деревню?

Алена еще обиделась, сказала: а ты думаешь, сказки откуда берутся? Вот так оно и бывает: как голод, так тебе и людоеды, и в лес на верную смерть, и в бане заслоночку задвинуть, чтоб ты с доченькой твоей поскорей угорела! Сама едва спаслась, а туда же — сказки!

Да, когда Нина вернется в Москву — если вернется, — она никогда не будет смеяться над сказками. *Ложь, да в ней намек.* Чем страшнее, тем правдивей. Вот и волчий вой вроде всё ближе и ближе. Похожа ли ты, Нина, на Красную Шапочку? Только вместо пирожка несешь брусничные листья, а вместо бабушки у тебя — девочка. Да и охотников — или дровосеков — поблизости не видать, все на фронте, бьют проклятого немца, чтоб ему пусто было.

А у тебя, Нина, свой фронт, своя война. Ты давай, прыгай — правая нога, еловая клюка, правая нога, еловая клюка — вот и доскачешь до опушки; пока хоть что-то видно, не собьешься с пути. Потому что ты повторяешь, как волшебное заклинание: Женя, Женя, Женя. Тебя ждет Женя, твоя дочка, твой воробышек, птенчик твой.

Пусть ваш Саша смотрит на тебя с небес — он знает, тебе еще рано к нему. Давай, Нина, давай, осталось совсем немножко!

Она доскачет до опушки, когда уже стемнеет, и потом, в темноте, еще час будет ковылять, приволакивая опухшую, пульсирующую от боли левую ногу. Не постучит в первую избу, доберется до Алениной двери, рухнет прямо в сених, и Женя подбежит к ней, причитая: *мама, мама, ну наконец-то!*

Да, на своей персональной, одинокой войне Нина выигрывает этот бой, а наутро у нее начнется жар, она будет метаться, повторяя в бреду бессмысленные, бессвязные слова, обрывки стихотворных строчек, имена тех, кого давно нет, и через два дня умрет на руках у Алены. Перед самой смертью к Нине вернется сознание и она успеет сказать: *Женя, Женечка, как же ты? Не оставляйте, не оставляйте ее, она пропадет, пропадет одна!* — а потом глаза ее замрут, неподвижно уставившись в далекую, невидимую точку, и маленькая Женя, сирота тринадцати лет, горько зарыдает, вцепившись в остывающую мамину руку.

Зимний свет падает из окна. Она стоит в дверях, и мужчина, сидящий за столом, выглядит темным контуром, почти тенью.

Спустя много лет она, как и многие старики, будет жаловаться на склероз и, возможно, не захочет сознаться даже самой себе, что вот этот силуэт никогда не изгладится из памяти, словно выгравированный намертво, и в тот день, когда Андрей пройдет на кухню, сядет спиной к окну и опустит коротко стриженную голову, старое воспоминание опять вернется, неотвратимое, не желающее исчезать.

Наверное, виной всему зимний свет, зимний свет за окном или короткая стрижка, что бывает в моде лишь у тех, кому никогда не брили голову перед отправкой на фронт или в лагерь, лишь у поколения, не знавшего тифа и вшей.

Много лет назад, тем самым зимним днем 1947 года, она еще из прихожей услышала мужской голос, столь непривычный в квартире тети Маши. Впрочем, она говорила «тетя Маша» только про себя: Мария Михайловна настаивала, чтобы племянница обращалась к ней по имени-отчеству, хотя та всегда звала ее «тетя Маша», ну, раньше, когда до войны они приходили сюда, в этот странный богатый дом, в чудесную отдельную квартиру с двумя комнатами и кухней. Здесь было просторно, как во дворце, и, как во дворце, здесь жила своя принцесса: голубоглазая, светловолосая Оленька, красавица в черных лакированных туфельках и шелковых платьях — нереальных, почти кукольных. Таким же кукольным было и Оленькино лицо: тонкие черты, фарфоровая белизна, легкий, словно нарисованный румянец и губки, с самого раннего детства сложенные в капризную гримаску, которая только иногда уступала место мимолетной игривой улыбке, пробегавшей, точно случайная рябь по застывшей воде дачного пруда. Оленькина улыбка была очаровательна и внезапна, и потому каждый раз она не сводила глаз с двоюродной сестры в надежде поймать миг, когда кукольное лицо озарится этим проблеском счастья — невозможного, почти недосягаемого.

Но была ли Оленька счастлива?

В том давнем довоенном мире она жила образцовой советской жизнью девочки из привилегированной семьи, не знавшей не только нищеты и голода, но даже бытовой тоски коммуналок: через два года после того, как она появилась на свет в роддо-

ме имени Грауэрмана, ее отец, Аркадий Дубровин, ответственный работник Наркомтяжпрома, получил отдельную квартиру в недавно построенном для офицеров академии Фрунзе поселке Усачевка. Это, конечно, была глухая московская окраина, но Оленькина мама — тетя Маша, Мария Михайловна — все равно чувствовала, что ей несказанно повезло, и то и дело, как заклинание, повторяла дочери: «Видишь, какие мы счастливые!»

Оленька в ответ складывала губки в то, что казалось капризной гримаской, — ведь только этим она и могла скрыть смутную тревогу, почти с самого рождения поселившуюся в ее душе. По ночам, засыпая в своей детской, — немыслимая по тем временам роскошь! — Оленька покрепче зажмурилась, чтобы не видеть, как наползают из углов темные тени, как колышутся туманным занавесом между кроватью и окном, сгущаются призрачной фигурой на сундуке.

Откуда взялся этот страх, эта тревога? Зимой мама читала Оленьке книжки и водила в кино, весной папа ходил с ними в Парк культуры, летом отвозил к морю, в Крым. На Первое мая он сажал Оленьку на плечи, светлое платье плыло над толпой, и девочке казалось, что она и сама парит высоко в небе над головами демонстрантов, рядом с лозунгами и облаками, — она старалась улыбаться, как дети на плакатах, но от высоты кружилась голова и сосало под ложечкой.

Мама говорила «видишь, какие мы счастливые», а папа называл «своей маленькой принцессой», хотя знал, что настоящие советские принцессы жили в Доме на Набережной и в Романовом пе-



реулке, на тех недостижимых для него номенклатурных высотах, где гулял ледяной ветер ночного страха, от которого безнадежно сжимались сердца старых партийцев, стоило им в четыре утра услышать шум одинокого мотора за окном. По всему выходило, что Аркадию Дубровину повезло: он стал привилегированным советским работником, а потом карьера его словно сама собой остановилась, и вот уже изгнали Льва Троцкого, разгромили правый уклон, с помпой провели процессы вредителей и шпионов, посадили Ягоду, а потом и Ежова — но ничто не коснулось Оленькиного отца, ничто не задело, ничто не омрачило его благополучной жизни.

Возможно, спустя много лет, уже после хрущевских разоблачений, Ольга Аркадьевна — бывшая Оленька — спросит себя, не была ли ее тревога слабым эхом страха, который задолго до пресловутого 1937 года должен был поселиться в ее семье? Впрочем, вряд ли Ольга Аркадьевна задастся этим вопросом: ведь она навсегда запомнила отца высоким, одетым с иголки красавцем, любителем сшитых на заказ костюмов, белоснежных рубашек и дорогих галстуков... запомнила его широкие плечи и широкую улыбку и, если бы захотела, не вспомнила бы даже легкой тени, омрачавшей папино лицо.

Возможно, именно поэтому Оленьке и было так стыдно за тревогу, которая слабо подрагивала в груди с самого раннего детства. Учителя говорили, что Оленька должна быть счастлива, потому что живет в первой в мире стране рабочих и крестьян, мама снова и снова повторяла: «Видишь, ка-

кие мы счастливые» — вот Оленька и хотела быть счастливой, вот и пыталась стать счастливой, старалась изо всех сил, но сердце предательски замирало от стыда и вины, когда она догадывалась, что не похожа на улыбающихся нарядных девочек из старых детских книжек, на лучезарных советских детей с красивых плакатов, украшавших город.

Оленька должна была быть счастливой, она почти что была счастлива — но всегда чуть-чуть недотягивала до недостижимого идеала, до той принцессы, которую хотели видеть родители, которой воображала ее двоюродная сестра, редко приходившая в гости и молча смотревшая из угла детской широко открытыми карими глазами.

Аркадий Дубровин пережил 1937 год и предвоенные посадки, и его выросшая дочь никогда не спрашивала себя, было ли это слепой удачей, не спрашивала, чем заплатил отец за попытку превратить жизнь своей семьи в сияющую картинку из советской книжки. Отрекался ли товарищ Дубровин, выступая на партийных собраниях, от старых друзей и учителей? Подписывал ли расстрельные списки, писал ли доносы на приятелей и коллег? Ольга не спрашивала себя об этом: ей, как и многим выросшим советским детям, казалось, что от прошлого ее словно отделяет темный занавес, сквозь который не проникают вопросы, не проходят ответы. По ту сторону остались довоенные годы, остались яркие, лучезарные воспоминания, осталось то, что никогда не вернется.

Осталось ее детство.

В октябре 1941 года ответственный работник Наркомтяжпрома Аркадий Дубровин проследил,

чтобы жена и дочь благополучно эвакуировались в Ташкент, а потом отказался от брони и отправился на фронт, где погиб, как и множество других бойцов Красной армии, которой еще предстояло одержать победу в этой войне.

Вернувшись вместе с мамой из эвакуации, Оленька зашла в свою комнату и сразу вспомнила наползавшие из углов ночные тени. Сказала себе, что это были предчувствия будущего — войны, эвакуации, папиной гибели. Сев на край своей кровати, Оленька вспомнила, как папа нес ее на плечах, а внизу колыхались бугры людских голов, — и вдруг поняла, что ее детство в самом деле было счастливым: она была папиной маленькой принцессой, кукольной девочкой с картинки из старой книжки, улыбающейся пионеркой с праздничного плаката. Она вспомнила, как папа хотел, чтоб она была счастлива, и пообещала, что обязательно будет счастлива, — в память о погибшем папе, о далеком довоенном детстве, вдруг оказавшемся безмятежно-лучезарным, безоблачно-вымышленным.

Возможно, ее мама поклялась в том же: во всяком случае, она сделала все, чтобы Оленькино отрочество было достойным продолжением детства. После рождения дочери Мария Михайловна не работала, но теперь с помощью друзей покойного мужа устроилась на радио и получила хорошую категорию. Когда-то Аркадий Дубровин покупал жене шелковые наряды и золотые украшения — и теперь серьги и кольца уплывали в руки спекулянтов, чтобы растущая Оленька не только не знала голода, но, как и хотел отец, оставалась прин-

цессой — в трофейных лаковых туфлях и перешитых материнских платьях.

Портрет Аркадия Дубровина в рамке с черным бантом стоял в Машинной спальне — и, когда мамы не было дома, Оленька приходила и смотрела на улыбающееся лицо отца, задаваясь вопросом, достаточно ли папа доволен ею, достаточно ли она счастлива.

Такие же фотографии погибших отцов стояли дома у Любы, Люси и Светы, трех одноклассниц, с которыми дружила Оленька. Они тоже избежали нищеты и голода, тоже носили перешитые шелковые платья овдовевших матерей, тоже старались быть счастливыми и собирались поступать в хорошие вузы — в пед, иняз и даже МГИМО.

Оленька хотела стать актрисой, и это никого не удивляло: из четырех подруг Оленька считалась самой красивой, а ее мама работала на радио и, конечно, должна была знать всех-всех в театральном. Но, возможно, дело было в том, что теперь, когда в Оленькиной памяти детство превратилось в череду рисунков из детских книжек, ее будущее обернулось картинками с киноафиш, сделав взрослую Оленьку подобием Любви Орловой, на которую она и так с каждым годом становилась похожа все больше: тонкая талия, волнистые светлые волосы, широко распахнутые голубые глаза. Казалось: кто устоит перед такой красотой?

Но на вступительных экзаменах Оленька провалилась, и от этого столкновения с реальностью видение ее счастливого будущего должно было погибнуть, как Снегурочка при первых лучах солнца, — но, порыдав неделю, Оленька заставила себя

поверить, что трудности только укрепляют характер настоящей актрисы. Ну и ладно, сказала она себе, поступлю на будущий год, мне некуда спешить — и пока бывшие одноклассницы засыпали на лекциях и сдавали первую сессию, она продолжала изображать перед зеркалом Любовь Орлову, отрабатывая серию очаровательных гримасок. Она не завидовала поступившим подругам и даже немного гордилась, что не тратит молодость на иностранный язык или чтение Макаренко, как Люба и Люся, поступившие в иняз и пед.

Все изменилось в первый день студенческих каникул: вчетвером подруги отправились на каток, где оказалось, что только у Оли нет спутника. Молодые люди, красивые и спортивные, развлекали Любу, Люсю и Свету, а на несостоявшуюся актрису никто не обращал внимания — и Оленьке оставалось лишь одиноко скользить по льду, сохраняя на лице немного печальную, но такую кинематографичную улыбку. Коньки скрипели по льду, и Оленька старалась не заплакать — ведь глупо плакать на морозе.

Впервые после возвращения из эвакуации ей показалось, что она взвалила на себя неподъемную ношу, — она никогда не сможет быть счастлива, навсегда останется одна, брошенная всеми, никому не нужная.

Оленька не знала, что через неделю, прозрачным зимним днем, по дороге к остановке пятнадцатого трамвая ее увидит незнакомый взрослый мужчина и чуть замедлит шаг. Яркое зимнее солнце будет бить в глаза, Оленька скорее угадает, чем увидит его улыбку, но все равно улыбнется в от-

вет, а потом предложит зайти — согреться и выпить чаю.

Послевоенная Москва — город хулиганов, грабителей и бандитов, но Оленьке не придет в голову, что небезопасно приглашать чужого человека в пустую квартиру. Возможно, она решит, что новый знакомец — не какая-нибудь шпана, а взрослый, серьезный мужчина, его нечего бояться... а может, мамыны усилия увенчались успехом — Оленька так и осталась папиной маленькой принцессой, так и выросла, не замечая города, в котором жила, не зная страны, в которой родилась.

Морозным февральским днем на промерзшей московской улице она выглядит случайной гостьей из какого-то иного, хрупкого и зачарованного, мира: тонкая талия, светлые волосы, искрящиеся глаза.

Сказочное видение, заколдованная принцесса, эфемерная Снегурочка.

Той зимой Владимиру Дымову исполнилось тридцать. В начале войны завод «Каучук» дал молодому инженеру бронь, но Володя воспользовался ею только чтобы организовать эвакуацию завода на Урал. Это был всего лишь один из переездов, составлявших канву его жизни, и убедившись, что на новом месте все работает не хуже, чем в Москве, Володя отправился на фронт.

Он вернулся в Москву только в конце 1946 года, когда опять настало время наладить работу завода на новом (точнее, старом) месте.

«Каучук» выделил Володе комнату в общежитии. В ней жили еще пятеро фронтовиков, и каж-

дый старался забыть грязь, кровь и смерть великой войны, используя проверенные тысячелетиями методы: дешевый алкоголь, беспричинное насилие и короткие связи, которые трудно назвать любовными. Их шумная жизнь пахла блудом, потом и перегаром, и Володя предпочитал ночевать на заводе.

По ночам в цехах было тихо, думалось хорошо, Владимир Дымов покрывал формулами страницы толстой тетради, и временами ему казалось: он понимает, что же поэты называют вдохновением.

Химия будущего была химией полимеров; Володя догадался об этом еще до войны, узнав, что в Ленинграде академик Лебедев синтезировал дивиниловый каучук. ДВК пока еще уступал натуральному в эластичности и клейкости, но Володя надеялся, что и эту задачу не так уж трудно решить. Возможно, следует использовать для синтеза не бутадиен, а другие ненасыщенные углеводороды? Или внимательнее присмотреться к экспериментам Гибсона и Фоссета, получившим из этилена и бензойного альдегида новый полимер, полиэтилен? Или разобратся в процессе получения буны в Германии?

Если не считать часов *Selza*, единственным трофеем, привезенным им с фронта, были две немецкие монографии по химии полимеров. Их-то Володя и читал ночами в пустом цехе «Каучука», изредка заглядывая в толстый немецко-русский словарь Эрасмуса.

После бессонной ночи он возвращался с завода. Снег сверкал мелкими ледяными кристаллами. Морозный воздух обжигал легкие, отправляя атомы кислорода в путешествие по сложной системе

кровеносных сосудов. В витрине на секунду вспыхнуло зимнее солнце, и Владимиру показалось, что вопреки всем законам физиологии привычный голод и двухдневная бессонница каким-то чудом взаимоуничтожились. В этот момент он был почти счастлив — необъяснимо и беспричинно.

Навстречу шла девушка. Приталенное пальто с меховым воротником, бархатная муфточка, светлый локон выбивается из-под шерстяного платка. В холодном свете зимнего солнца она предстала перед Владимиром пришелицей из полузабытого довоенного мира. Иней заблестел у нее на ресницах, Владимир улыбнулся — и девушка ответила ему улыбкой, той самой, что когда-то, еще до войны, дарила Жене надежду на невозможное счастье.

Женя не помнила своего отца — Александр Никольский умер, когда ей было всего два года, — и потому, пытаясь представить, как выглядел папа, всегда вспоминала его единственный снимок.

Фотографию сделали в ателье: инженеру Никольскому полагалось серьезно смотреть в объектив, но, видимо, в последний момент его что-то насмешило, и смущенная мальчишечья улыбка навсегда застыла на лице сорокалетнего мужчины. Показывая этот снимок маленькой Жене, мама всегда добавляла, что Саша был самым красивым мужчиной, какого она встречала. Наверное, так оно и было — когда Женя выросла и смогла проверить арифметикой мамины рассказы, она поняла, что Александр Никольский был старше своей жены на пятнадцать лет.



Он умер в сорок два от сердечного приступа. Женя смутно помнила его мать, бабушку Мари-ну, которая пережила сына на три года, а от папы осталась только фотография, но и та навсегда исчезла вместе с фанерным маминым чемоданом, который незнакомый мужчина с колючими глазами вырвал из рук у Жени на переполненном полу-станке, название которого девочка не запомнила. Секунду она колебалась, а потом все-таки не броси-лась следом за воров, а вместе со всеми побежала к теплушке — поезд почти отходил от платформы. Женя ничего не ела уже два дня и все равно не до-гнала бы похитителя, а поезд должен был привез-ти ее в Москву, где остался последний родной чело-век, мамина младшая сестра Маша, обитательница двухкомнатного дворца, мать Оленьки, маленькой светловолосой принцессы.

Женя позже не могла вспомнить, как добралась от вокзала до улицы Усачева, как вообще отыска-ла дорогу, как дошла и не упала в гостеприимный московский снег, в котором так хорошо было бы уснуть, но ранним зимним утром 1943 года Мария Михайловна Дубровина открыла дверь и увидела на пороге девочку — исхудавшую, почти истаяв-шую. На незнакомом лице распахнулись большие карие глаза, и девочка еле слышно сказала:

— Мама умерла в прошлый вторник.

Мария Михайловна кивнула:

— Заходи.

Спустя много лет, взрослой женщиной вернув-шись в этот дом, Женя невольно задумается: что заставило Марию Дубровину принять неуклюжую девочку-подростка, сироту из голодной деревни?

Память об умершей сестре? Боязнь потерять квартиру, которую после гибели мужа вполне могли уплотнить, оставив Марии Михайловне с дочерью одну комнату и вселив во вторую какого-нибудь пролетария? Или родственные чувства, никак не проявлявшиеся в последующие годы? Но спрашивать об этом тегю Машу было уже поздно — да, собственно, и незачем.

Не задавая лишних вопросов, Женя навсегда осталась благодарна за тепло отдельной московской квартиры, за спасение от неотступного изнуряющего голода, за ночной покой, спускавшийся, когда, лежа на сундуке, Женя вслушивалась в дыхание двоюродной сестры, спящей рядом в уютной постели.

Когда-то Женя мечтала жить в этом кукольном доме, но теперь мечта сбылась, и Женя видела, что ежедневная жизнь обитателей сказочного дворца мало отличается от жизни коммуналки, где она провела детство. Мария Михайловна и Оленька точно так же стирали белье, мыли пол, чинили прохудившиеся чулки, стояли в очередях — и постепенно Женя взяла на себя все эти дела, такие привычные, напоминавшие о том времени, когда мама еще была жива. После двух лет в деревне это было совсем не трудно — и, в конце концов, только так она могла выразить благодарность тете Маше и Оленьке.

Казалось, Мария Михайловна не замечала Жениных стараний — вероятно, до войны, пока еще был жив муж, она так же не замечала приходящую прислугу, — а вот Оленька не забывала поблагодарить сестру легким полунаклоном головы и той

самой улыбкой, от которой по-прежнему вздрагивало Женино сердце.

Когда-то Женя мечтала быть похожей на Оленьку, но, живя с ней бок о бок, поняла, что мечта ее недостижима. Дело не в перешитых шелковых платьях, не в блестящих туфлях, даже не в волнистости светлых волос и фарфоровой красоте лица — Женя разглядела в Оленьке самое главное: какую-то неуловимую легкость, небрежность, умение принимать любые подарки судьбы как должное, будто ради них Оленька и появилась на свет. Жене казалось, что Оленька, эта юная жительница голодной, только что пережившей войну страны, обладала удивительным даром — она умела быть счастливой. Блеск летнего солнца в свежевывмытых московских окнах, желтые и багровые осенние листья на тротуарах, пушистый снег, повисший в воздухе, и трели птиц прозрачными весенними ночами — все это наполняло Оленьку радостью, и от этого весь окружающий мир оказывался лишь декорацией, подчеркивал Оленькину красоту и изящество, которых в глазах Жени ничто не могло омрачить.

Женя любила Оленьку безответно и неутолимо, как умеют любить только младшие сестры: приходя домой, она прислушивалась — дома ли? или ушла на каток, сбежала в кино, в гости к подружкам? Чаще всего Женя находила ее в большой комнате перед зеркалом: Оленька репетировала, представляя Любовь Орлову. В такие минуты ее лучше было не трогать, и потому Женя садилась в уголок с учебником — готовиться к поступлению в медицинский, куда собиралась этим летом, после

десятого класса. Только иногда, поднимая глаза от химических формул, она любовалась сестрой.

Женя привыкла прислушиваться, входя в квартиру, и потому тем зимним днем 1947 года сразу поняла, что Оленька на кухне: переливчатый девичий смех вторил мужскому голосу. Женя повесила на вешалку пальто (оно было маловато, как и почти все вещи, которые она донашивала после сестры), сняла валенки и повернула на кухню: она замерзла, и ей захотелось горячего чая.

Зимний свет падал из окна. Она стояла в дверях, и мужчина, сидевший за столом, выглядел темным контуром, почти тенью.

Потом он поднял глаза и улыбнулся.

В Жениной жизни мужская улыбка была редкостью. Как все девочки ее поколения, после введения раздельного обучения она уже четыре года училась в школе, где не было мальчиков, а из-за войны не осталось даже учителей — одни учительницы. И мальчиков, и мужчин она встречала только на улице, где единственной мужской улыбкой была глумливая, кривоватая ухмылка, которая заставляет убыстрять шаг и прятать лицо, словно от ветра или от стыда.

Но эта улыбка была совсем иной. Стеснительная и вместе с тем открытая, она как бы говорила миру: «Вот он я, мог бы быть и получше, но уж какой есть». Именно таков редкий (и оттого еще более обаятельный) тип классической русской улыбки: в ней нет ни кокетства, ни иронии, ни скрытой угрозы. Пройдет много лет, и Женя узнает ее в хроникальных кадрах гагаринского триумфа — еще до того, как улыбка первого космонавта перейдет на бесконечные плакаты и открытки.

Но это будет не скоро, а сейчас Женя смотрит на незнакомого мужчину, он улыбается ей, а потом говорит:

— Здравствуй, меня зовут Владимир.

Вот так зимнее солнце морозного дня сведет их вместе: неприкаянную послевоенную принцессу, вернувшегося с фронта солдата и бедную сиротку из старой сказки.

\* \* \*

Аркадий Дубровин из-под черного банта смотрит, как его вдова, собираясь на работу, красит губы у трюмо. Видишь, Аркаша, как оно все получилось, беззвучно говорит Маша мертвому мужу, а я ведь старалась, делала что могла, Оленьку растила такой, какой ты и хотел, — чтоб она была умной, красивой, счастливой. Нелегко, разумеется, но я же старалась, правда? И где я ошиблась, скажи?

Не скажет. Молчит Аркадий Дубровин, теперь — мертвая фотография, а когда-то — высокий широкоплечий красавец, улыбчивый блондин, уверенный в себе сотрудник Наркомтяжпрома, сначала Машин ухажер, потом жених, а затем муж. Все Маше завидовали, все на Аркадия заглядывались — и подружки, и даже Нинка. Маша до сих пор думает, что Нинка и за Сашу своего замуж выскочила, только чтобы от младшей сестры не отставать. Тоже, учудила — муж на пятнадцать лет старше, считай — вышла замуж за старика. Хотя, если вот теперь подумать, — какой же Саша был старик? Сорок лет, через два года и самой Маше столько

будет, нормальный, оказывается, возраст. Была бы одинокая женщина — от кавалеров бы отбоя не было, а так — кому она нужна, с двумя девчонками? Была бы одна Оленька — еще куда ни шло, но ведь и Женька тут же...

А ведь как Маша все хорошо рассчитала после Аркашиной смерти! Провела ревизию колец, брошек и серег, выбрала что похуже... пересчитала платья, отложила что получше... устроилась на работу, получила хорошую категорию. Можно было не надрываться, всего хватило бы, чтобы дорастить Оленьку до конца школы, а повезет — и до конца института. Кто же знал, что однажды утром на пороге появится замерзшая девочка — худющая, несчастная, незнакомая... вот только на костлявом лице — огромные карие глаза, те самые, Нинкины.

«Ну что, Аркаша, я могла поделаться?» — спрашивает Маша мертвого мужа. Я даже и решить ничего не успела, губы сами сказали: *заходи!* — ну и все, не выгонять же ее потом? Я тогда страшно испугалась, ты помнишь, я тебе говорила. Думала про себя, что я умная, расчетливая женщина, а тут — даже мигнуть не успела, как взвалила на себя еще одного ребенка. Пришлось и работать сверхурочно, и полторы ставки выпросить, и кольцо продать, которое ты мне на десять лет свадьбы подарил, — я страшно разозлилась, и на себя, и на Женьку, но больше всего — на Нинку. Вышла замуж за старика, без копейки, без перспектив, да еще, оказалось, с больным сердцем. Эвакуировалась, как дура, в какую-то глушь — и там умерла! Простудилась и умерла. Тоже мне, старшая сестра! Никакой ответственности, никакой заботы о близких.

А знаешь, Нинка, ты всегда такая была — только о себе думала. А я вот дочку-то твою вырастила, не бросила. Я ее, может, в строгости держала — но, ты пойми, я ведь очень испугалась тогда, я от себя не ожидала, что так сразу ее в дом возьму, даже не спрошу — может, у Саши твоего родственники какие остались? А что в строгости держала — так, может, оно и лучше, жизнь-то нынче не сахар.

Маша надевает блузку, потом жакет, осматривает себя в зеркале. Ну, нормально, для работы сойдет — хотя на улице весна, хочется праздника, хочется одеться, как раньше одевалась, легкое платье, туфли на каблуке, и чтобы все мужчины оборачивались — ах! Но мужчин-то теперь мало осталось, и оборачиваются они вслед молодым, стали привередливы, как была когда-то она сама... им теперь совсем девчонок подавай! — и тут она снова вспоминает этого Володю, а ведь она и не забывала, ни на секунду не забывала, и когда про Нинкиного Сашу вспоминала, и когда про свое замужество — как тут забудешь, когда вокруг собственной дочки такой крутится... на двенадцать лет старше, фронтовик, без дома, без семьи. Маша так Оленьке и говорила, раз за разом: *Он же взрослый мужик! Ты хоть понимаешь, что это значит? Ты бы лучше со сверстниками гуляла, а то принесешь в подале — что делать будешь?* — но Оленька только кривила губы презрительной театральной гримаской: мол, мама, что за глупости, в самом деле! Какое *в подале* — мы просто дружим, да и вообще, Женька все время с нами, мы и вдвоем-то не остаемся, Женька, ну скажи ей, правда?

И Женька кивала, мол, да, Мария Михайловна, мы всюду втроем, мы только дружим.

И каждый вечер Маша возвращалась с работы и уже из прихожей слышала, как они втроем разговаривают на их маленькой кухне, пьют чай и смеются, — и впервые за эти годы радовалась, что когда-то взяла к себе Женьку, вот и хорошо, пусть теперь присматривает за сестрой, а то, неровен час, останется Оленька с этим Володей вдвоем — а дальше знамо что!

Но вот на календаре закончилась зима, потом на улицах растаял снег, появились первые зеленые ростки, москвичи вернулись на свои огороды, разбитые где попало во дворах и парках голодного города, а Оленька, Женька и Володя стали все чаще уходить из дома, и по вечерам Маша сидела одна и думала: что же он за мужик, что с двумя все время шатается? Вот ведь сколько вокруг одиноких девушек! Нашел бы кого-нибудь себе по возрасту, в самом, так сказать, соку, а Оленьку мою оставил бы в покое, сгинул куда-нибудь!

Но нет — никуда Володя не сгинул, все так же ходит почти каждый день, пьет чай, смеется, рассказывает какую-то ерунду.

Маша вздыхает, бросает прощальный взгляд на фотографию мужа и выходит из комнаты.

Эх, Аркаша, думает она, был бы ты жив — может, ты бы этого Володю отвадил? А я... что я могу? Одинокая женщина с двумя детьми и полутора ставками на работе — где сил взять?

С началом весны они в самом деле стали то и дело уходить из дома: могли сесть на двадцать третий автобус и поехать к Крымскому мосту, гулять там по Хамовнической набережной, глядя, как трещит



лед, или, перейдя Москву-реку, отправиться в Парк культуры, — а могли ни на каком автобусе никуда не ехать, просто бродить по соседним улицам, глядя на еще сохранившиеся деревянные дома.

Теплой апрельской ночью Женя сквозь дрему вспоминает, как пару недель назад они втроем пошли в Новодевичий сквер, где недавно открыли для богослужения Успенский храм; заходить, конечно, не собирались, но было интересно поглядеть на людей, которые на тридцатом году советской власти всё еще верят в Бога. Был ясный весенний день: Володя и Оленька о чем-то перешептывались, а Женя смотрела, как, разминая ногами талый снег, тянутся ко входу в храм старики и старухи. Какое-то воспоминание шевельнулось в ее душе — словно она, Женя, однажды уже была тут, уже шла вместе с другими прихожанами к распахнутым церковным дверям... но нет, с чего бы?

Наверно, просто померещилось — просто померещилось, а сейчас просто вспомнилось.

Женя уже почти засыпает, но тут Оленька окликает ее:

— Женька, ты спишь?

— Неа, — отвечает Женя.

— А ты тоже заметила, что Володя в меня влюблен?

Женя молчит, потом неуверенно отвечает:

— Не знаю... наверное, да. Иначе зачем он к нам все время ходит?

— Может, ему просто больше некуда пойти? — тревожно спрашивает Оленька. — Ходит, например, чтобы погреться?

— Да ладно тебе, — возмущается Женя, — сейчас уже тепло, какое там греться! Весна же!

Они молчат. Женя даже думает, что Оленька уснула, но та говорит:

— А знаешь, я, наверное, тоже в него влюбилась. Я каждый вечер засыпаю и представляю, как он завтра к нам снова придет. Глаза закрою — и вижу его лицо. Глаза там, брови, губы... как он улыбается, как щурится на солнце... как будто мне кино показывают, представляешь?

Женя кивает в темноте, непроницаемой, как ее мысли. Значит, вот это и есть любовь, думает она. Та самая, о которой в книжках и в кино. О которой старенькая учительница литературы говорила, что это счастье, которое не каждому достается в жизни.

Вот, значит, Оленьке досталось.

Только что она дальше будет делать с этой любовью? Напишет Володе письмо, как Татьяна Онегина? А вдруг он ей ответит, как Онегин Татьяне?

Хотя нет, кто же так ей ответит, такой красивой, такой счастливой?

— И я все время думаю, — продолжает Оленька, — а он меня вспоминает у себя на «Каучуке» или там ночью в общежитии? Рассказывает про меня своим друзьям?

Она садится в кровати. Луна светит сквозь неплотно прикрытые шторы, и Женя думает, какой красивой парой они будут — Володя и Оленька. Как в кино.

— Знаешь, если бы он меня позвал, — говорит Оленька, — я бы за него замуж вышла. Вот прямо сразу, без всякого там, сразу бы сказала «да!» — и все!

Две девушки еще долго шепчутся, снова и снова вспоминая, что Володя сказал сегодня, или вчера, или на прошлой неделе, — или что он мог сказать, еще скажет или, наоборот, о чем промолчит, и в конце концов Женя засыпает под голос сестры и, закрыв глаза, видит Володино лицо... глаза, брови, губы... как он улыбается, как щурится на солнце... видит ясно, как в кино.

В кино они отправятся только летом — в «Ударнике» будут показывать «Весну», первый послевоенный фильм с Любовью Орловой. На этот раз главная звезда советского Голливуда сыграла сразу две роли — актрису Веру и женщину-ученого Ирину. Володя сидел между девушками, но Женя все равно слышала особенный, залиvistый Оленькин смех — Оленька всегда так смеялась, стоило ей оказаться рядом с Володей. Но когда Орлова запела о прохожем, которому *и вешняя вода — ерунда*, засмеялся весь зал, кроме Оленьки, и тогда Женя скосила глаза и увидела, что белокурая головка сестры лежит на Володином плече, а его ладонь накрывает Оленькину руку. *Весна идет, весне дорогу!* — запела Орлова, но Жене почему-то стало грустно, и, чтобы отвлечься, она стала повторять про себя экзаменационные билеты по химии. Еще недавно Женя представляла, как придет к Володе и задаст ему какой-нибудь заковыристый вопрос, но теперь это не казалось таким уж удачным планом, и она повторяла билеты механически, словно заученное наизусть надоевшее стихотворение.

«Все равно я никуда не поступлю», — со злостью думала Женя.

Она ошибалась — не первый и не последний раз в жизни. Она сдала все экзамены и с трудом, но все-таки поступила, а вот Оленьку прокатили в те атральный второй год подряд, хотя это ее вовсе не огорчило: теперь все свободное время она проводила с Володей, и, приходя домой, Женя старалась громче топтать в прихожей, чтобы случайно не застать целующуюся парочку в комнате или на кухне.

Похоже, даже Мария Михайловна смирилась с тем, что у ее дочери роман со взрослым мужчиной: во всяком случае, уже несколько месяцев она не заговаривала об этом с дочерью, и Женя с горьким облегчением перестала сопровождать сестру на прогулки. Сначала говорила, что надо готовиться к экзаменам, а потом уже Володя с Оленькой и сами перестали ее звать, и только в августе они все вместе отправились в Тушино, где в честь Дня Военно-воздушного флота проходил небесный парад.

На летном поле стояли палатки с газировкой и пирожками, в голубой безоблачной выси один за другим появлялись самолеты, показывая фигуры высшего пилотажа... потом пронеслись звенья истребителей, крыло к крылу, словно одна огромная птица. И наконец, реактивные истребители расчертили летнее небо белыми полосами — прекрасными и эфемерными, таявшими на глазах.

У Жени захватывало дух, и она все время напоминала себе, что эти военные самолеты — собственно, орудия убийства — служат сегодня делу мира, показывают нашу мощь и силу врагам Советской страны. И все равно с облегчением вздохнула, когда в финале раскрылись сотни разноцвет-

ных парашютов, словно кто-то высыпал на летное поле небесные цветы.

Когда они вышли с аэродрома, Оленька сказала, прижимаясь к Володе еще теснее:

— Все-таки, что ни говори, твой каучук — это совсем не интересно. А вот самолеты...

Володя рассмеялся:

— Знаешь, почему я не летчик? Потому что у них первым делом — самолеты, а у меня — девушки!

— Какие еще девушки? — с деланным возмущением сказала Оленька.

Володя засмеялся в ответ:

— Как какие? Вот вы с Женькой, — и левой рукой обхватил Женю за плечи.

Сердце тут же сделало «бум!», кровь прилила к лицу, но, кажется, никто этого не заметил.

Потом они сидели на кухне, разговаривали обо всякой ерунде, дурачились и шутили, и даже сама Женя смеялась, наверное, потому, что ей понравился праздник или просто вдруг на ровном месте стало прекрасное настроение, такое хорошее, какого уже давно не было, наверное, с самой весны.

Она наливала чай и любовалась на Володю с Оленькой. Женя всегда знала, что они красивые, но сейчас окончательно поняла, что они — красивая пара, будто сошедшая с афиши трофейной кинокартины в клубе завода «Каучук»: высокий стройный брюнет и светловолосая девушка с пышными плечами и грудью, рвущейся из выреза платья. Именно их долгим поцелуем должен завершиться фильм, но вместо того, чтобы целоваться, Оленька и Володя просто смотрят друг на друга, а потом улыбаются, и их улыбки зажигаются одна

от другой, как бенгальские огни, такие непохожие и такие счастливые.

Женя вспоминает, как в детстве ловила отблеск улыбки на лице сестры, а теперь эта улыбка озаряет кухню ровным радостным светом, и Женя понимает, что Оленька выросла, она больше не девочка-кукла, не сказочная принцесса... на смену застывшему совершенству пришла томная кошачья грация, полусонное, тайное, скрытое от глаз, ленивое и мягкое потягивание. Женя переводит взгляд на Володю и видит, с каким напряженным вниманием он смотрит на Оленьку... она впервые замечает в нем это напряжение, сжатое, как пружина.

Он как будто ждет чего-то, он все время начеку, все время настороже, вдруг думает Женя, а потом спрашивает себя: а может, они оба просто ждут, когда я уйду, чтобы опять броситься друг к другу?

И тут пробили часы — за стеной, в большой комнате. Оленькина улыбка погасла, и она спросила обеспокоенно:

— Который час?

Володя посмотрел на циферблат трофейных *Selza*.

— Уже десять, — сказал он. — Чего-то твоя мама в самом деле задерживается — вроде она говорила, у нее нет вечерних смен на этой неделе.

Послевоенная Москва — город бандитов и налетчиков. В 1947 году их оставалось меньше, чем в 1945-м, да и Усачева с Хамовниками — не Марьяна Роща и не Тишинка, но все равно — Мария Михайловна никогда не возвращалась так поздно.

К счастью, тут во дворе зашумела машина, хлопнула дверца, раздался женский смех — Женя

с Оленькой изумленно переглянулись, — а через пять минут ключ уже поворачивался в замке.

— Мама! — сказала Оленька, выходя в прихожую. — Я уже волновалась, что ты так поздно! Что-то случилось?

— Ничего не случилось. — Мария Михайловна скинула туфли и босиком пошла на кухню. — Вы мне что, отчитываетесь, когда приходите черт-те когда?

— Мама, я же никогда не хожу одна... — начала Оленька, но мама махнула рукой:

— А с чего ты решила, что я одна? Я тоже не одна! — Она рассмеялась и опустилась на табуретку. — И вообще, девчонки, брысь спать! Ночь уже! А вы, Володя, наоборот, не уходите! Я, может, хочу с вами поговорить как взрослый человек со взрослым человеком!

— Пойдем, — сказала Женя и потащила Оленьку в их комнату.

Обращение «девчонки» ее удивило даже больше, чем позднее возвращение тети Маши и непривычный запах вина.

Когда девушки ушли, Мария Михайловна закинула ногу за ногу, рассмеялась и заговорила низким голосом, прерываемым редкими взвизгами смеха, нервного, искусственного, но все равно чем-то напоминавшего переливчатый Оленькин смех, так хорошо знакомый Володе. Разговаривая, Мария Михайловна чуть раскачивалась, иногда так наклоняясь к столу, что Володя невольно отводил взгляд от ее глубокого декольте. Хотелось поскорее попрощаться и уйти, но он не мог перебить этот за-

пинающийся поток слов и поэтому продолжал сидеть, опустив глаза, стараясь не смотреть на собеседницу. А она говорила и говорила:

— Послушайте, Володя, мне скоро сорок. То есть как скоро? Через два года. Сорок лет. Вы представляете, что такое сорок лет для женщины? Вот вам сейчас, скажем, тридцать. Вы понимаете, у нас с вами разница в возрасте меньше, чем у вас с моей дочерью. Можно сказать, мы с вами почти сверстники. И при этом вы — молодой мужчина, а я — женщина на излете. И от этой мысли никуда не деться. Вроде смотришь на себя в зеркало — и все ничего, все на месте... ну, вы понимаете, о чем я, да? А потом думаешь «сорок лет» — и все. Сразу понятно — ничего мне больше не светит. А я ведь, между прочим, совсем не чувствую себя старухой. Мне, между прочим, многого еще хочется. И не в смысле всякого баловства, ну, вы понимаете, а внимания там, интереса. Чтобы подарки дарили. В театры приглашали. В ресторан водили... я, между прочим, сегодня первый раз за семь лет в ресторан ходила. Зато в «Метрополь»! Хотите, расскажу, что там было? Икра, рыба, американский джаз... А почему, Володя, вы не спрашиваете, откуда у меня такие деньги? Вы спросите, спросите, не стесняйтесь. Я вам отвечу: нет у меня таких денег! Это меня кавалер пригласил. Ухажер. Даже можно сказать — хахаль, если вам так понятней. Роман Иванович зовут. Тоже немолодой человек. Но зато — при деньгах. Мог бы пригласить молодую, а пригласил меня. Значит, я ему чем-то приглянулась, правильно? Хотя мне уже сорок лет скоро, да! Выходит, как говорится,



есть еще порох в пороховницах! Хотя вот, например, вы, Володя... можно сказать, мой сверстник, а предпочитаете молоденьких. Вы вот с Оленькой моей гуляете, а случись что, кто отдуваться будет? Только не говорите мне, что женитесь! Куда вы на ней женитесь? В вашу общагу? Или, того хуже, ко мне в квартиру? Вот представьте — переедете вы сюда, Оленька ребеночка родит, и все это будет у меня на голове. Я и так никого к себе даже в гости привести не могу, а тут вообще... я же буду бабушка, все же об этом будут знать! А у меня, между прочим, не так много времени осталось. Всего два года! Так что вы с Оленькой подождите с этим самым, ну, вы понимаете, о чем я, да? Что «Мария Михайловна»? Заладил тоже — Мария Михайловна, Мария Михайловна! Я же сказала: мы с тобой, считай, сверстники. Зови меня просто «Маша», договорились?

В сентябре отмечали восьмисотлетие Москвы. Володя, Оленька и Женя шли в толпе, любуясь пышно освещенным городом. На площадях возвышались танцевальные площадки, на которых почему-то никто толком не танцевал.

— Мне кажется, — заметила Оленька, — здесь вообще почти нет москвичей. Ты посмотри на них: видно же, только из деревни приехали!

В самом деле, в толпе многие озирались испуганно и взволнованно.

— Ну и что? — сказал Володя. — Почему на празднике Москвы должны быть только москвичи? Страна большая, а столица одна на всех. Это общий праздник.

Когда стемнело, они вышли на Красную площадь. Праздничная иллюминация делала Исторический и Музей Ленина похожими на старинные сказочные терема — только в этой сказке их украшали портреты Сталина и Ленина.

— Красиво! — сказала Оленька.

Володя промолчал.

Они шли сквозь толпу, и, чтобы не потеряться, Женя взяла Володю за руку — и правильно сделала, потому что уже через несколько минут Оленьку оттерли, а толпа на переходе к улице Горького притиснула Женю с Володей друг к другу. Оглянувшись, Женя увидела сестру в нескольких метрах позади, и та махнула им рукой, мол, подождите меня.

Володя и Женя стояли, тесно прижавшись друг к другу, почти обнявшись. Жене показалось, что у нее кружится голова, — наверно, от того, сколько вокруг народу. Чтобы отвлечься, она спросила:

— Володя, а ты еще в школе решил быть химиком?

Володя посмотрел изумленно.

— Нет, — ответил он после паузы, — в школе меня совсем не интересовала наука, я хотел стать... я хотел заниматься другими вещами.

Не то в Володином голосе, не то в сильных руках, которыми он отгораживал Женю от толпы, вдруг снова почувствовалось то напряжение, которое она уже не раз замечала. Но сейчас это была не просто сдерживаемая сила — скорее, скрытая тревога, словно Володя вспомнил о чем-то опасном... может быть, о фронте, о войне?

И, чтобы отвлечь его от грустных мыслей, Женя защебетала, словно какая-нибудь фифа из американского фильма:

— Ой, а мне всегда казалось, наука — это так интересно! Я даже когда учебники читаю, так волнуюсь! Ученые — это люди, которые меняют мир!

— Наука — это интересно, — кивнул Володя, — но нам только кажется, что ученые меняют мир. А на самом деле мир меняют совсем другие люди — например, те, кто решает, как использовать наши открытия и изобретения.

— Ты имеешь в виду... руководителей? — спросила Женя, все больше входя в роль игривой дурочки и от этого забыв слово «политики».

— Можно и так назвать, — ответил Володя. — Названия не важны, важно, что это люди, которые готовы принимать на себя ответственность за других людей. Люди, которые строят новый мир.

— И ты хотел быть таким человеком? — Тут толпа еще плотнее прижала ее к Володе, и сердце, как тогда в Тушино, отрывисто стукнуло в груди.

— Ну, поначалу да.

— А потом? — спросила Женя прерывающимся голосом.

— А потом перестал, — ответил Володя и попытался отодвинуться, мягко и решительно поворачиваясь к пробивавшейся им навстречу Оленьке. Женя подумала, что это вовсе не была тревога, просто Володя боялся, что Оленька потеряется, а теперь они снова все вместе, Володя обхватывает Оленьку за плечи, и они начинают протискиваться сквозь толпу, и, глядя на него, Женя думает, что Володе все-таки удалось стать человеком, кото-

рый отвечает за других, пусть даже сегодня «другие люди» — это только Женя с Оленькой. Володя продолжает крепко держать Женю за руку, ей даже кажется, что он незаметно пожимает ее ладонь, и она тоже отвечает слабым пожатием.

Лишь когда они выбираются из толпы, Володя отпускает Женину руку, а потом поворачивается к Оленьке, и они целуются — впервые так открыто, на глазах у всех. У Жени внезапно портится настроение.

— Давайте пойдём домой, — говорит она, — а то я устала.

Хватит себя обманывать, думает Женя, лежа на сундуке, который с каждым годом все неудобнее, все меньше и жестче. Не говори этого никому, но скажи себе самой: я люблю Володю. Это глупо, неприлично и, может быть, даже подло, потому что он любит Оленьку и Оленька любит его. А Оленька мне сестра и даже, наверное, подруга. Они с тетей Машей приютили меня. Они все эти годы заботились обо мне, кормили и одевали — как же я могу влюбиться в Оленькиного жениха? Ведь на самом деле Володя — Оленькин жених. Я сама слышала, как они говорили, что если бы им было где жить, они сразу бы пошли и расписались, — значит, жених. А я в него влюбилась.

Женя прислушивается к ровному дыханию спящей Оленьки. Представляет ее лицо с широкими скулами, резко очерченными губами, светлыми волосами, разметавшимися во сне по подушке. Представляет Оленькино тело, утопающее в мягкой перине, по-кошачьи ленивое, представляет крепкие,

как у Марики Рёкк, ноги и бедра, полные (как сказал бы Лев Толстой, «роскошные») плечи, пышную грудь, которую подчеркивает любое платье. Как можно не влюбиться в такую девушку? Вот Володя и влюбился. Все справедливо.

Женя повторяет «все справедливо», пытаясь заглушить тихий, почти неслышимый голос, который где-то глубоко всхлипывает, плачет, жалуется... какая же справедливость? У Оленьки есть свой дом, своя постель, да, у нее тоже нет отца, но она его хотя бы помнит! И мама ее жива, и Оленька живет со своей мамой, а не с чужими людьми, взявшими ее к себе из жалости, без любви. Почему же Оленьке достается все? Почему Володя, такой красивый и умный, выбирает ее? Ведь Оленька не умна, совсем не умна. Она и школу-то закончила с трудом, а в институт — в институт она никогда не поступит (теперь в голосе злорадство). Никогда! А я закончила школу на одни четверки и пятерки, я поступила, и не просто — а поступила, куда хотела, поступила в Первый мед! И почему Володя этого не видит? Почему не понимает, что ему не нужна Оленька, а нужна я, только я!

«Что ты говоришь!» — одергивает себя Женя. Володя — взрослый, умный мужчина. Он сам знает, кто ему нужен, и уж точно не мне это решать. И, если честно, мне ведь немного и надо: я не хочу обниматься с ним, не хочу целоваться... думаю, если бы Володя поцеловал меня, я бы просто умерла на месте. От ужаса или от счастья, но умерла бы. А Оленька — ничего, Оленька жива, значит, он правильно ее выбрал. И она такая красивая, такая счастливая. А я... я просто могу быть рядом, вот

и все. Будем друзьями — мы же и так уже друзья, вот и будем дружить дальше, пока не состаримся и не умрем.

Женя улыбается и переворачивается на другой бок. Просто будем всегда вместе, повторяет она, и тут же все тело пронзает ледяной холод — как той зимой, в деревне, когда хоронили маму.

Мы не будем всегда вместе, понимает Женя. Рано или поздно Володя получит жилье от своего завода и они поженятся. Не в этом году, так в следующем. Не сейчас, так через пять лет. Он хороший инженер, ему быстро дадут хотя бы комнату в коммуналке, а если будет жена и ребенок, то, может, даже и две. А я останусь здесь, и мы будем видаться по праздникам — 1 Мая, 7 Ноября, день рождения....

Только я так не хочу, думает Женя. Не хочу.

Но что я могу поделать? Любовь — это не экзамен, к ней не подготовишься, ее не пересдашь.

14 декабря объявили: отменены карточки. Теперь все продукты нужно покупать в обычном магазине. Володя и Оленька, обнявшись, сидели на кухне, слушали радио и обсуждали, что будет с ценами.

— Понятно, что ниже, чем в «Особторге», — сказал Володя, — но выше, чем были по карточкам. Так что многим придется туго.

— А я довольна, — сказала Оленька, теснее прижимаясь к нему. — Я всегда боялась, что мы карточки потеряем или их у нас украдут.

— Ну, так хотя бы у всех был гарантированный минимум, — пожал плечами Володя, — а теперь,

если нет денег, то что же — с голоду подыхать, как при царе?

— Ладно тебе, — ответила Оленька, — вон у тебя есть деньги, у мамы есть... я вообще никогда не слышала, чтобы у человека совсем не было денег.

— Ты, наверно, и про голод этой зимой не слышала, — сказал Володя, — а мне один парень на заводе такое про Молдавию рассказал — вспоминать не хочется. Говорит, даже хуже, чем в войну. Трупы ели, и все такое.

Оленька скривила носик. Это была одна из тех гримасок, которые она специально разучивала перед зеркалом, и теперь у нее получалось почти рефлекторно, мило и непосредственно — Володя сразу прекратил про голод и поцеловал ее в переносицу.

Хлопнула входная дверь: вернулась с работы Оленькина мама.

— Я на самом деле и раньше знала, что дело к этому идет, — объявила она, входя в кухню. — Меня Роман Иванович предупредил. Еще спросил, сколько у меня денег на сберкнижке, потому что там будут один к одному менять, а наличные — один к десяти. Ну, у нас-то ничего в сберкассе давно не осталось, так что я даже предложила ему положить свои деньги на мой счет.

Недовольная гримаска пробежала по Оленькиному лицу: мамин ухажер был ей неприятен, хотя она и не видела его ни разу. Какой-то спекулянт, говорила она Володе, что мама в нем нашла? Хотела добавить «особенно после папы», но промолчала: что уж тут говорить, жаль, что Володя с папой не был знаком.

Конечно, Оленька никогда не заговорила бы так при маме — Марии Михайловне хватило сейчас одной ее гримаски, чтобы прикрикнуть в ответ:

— Это еще что такое? Я к тебе по поводу твоих кавалеров не пристаю. Хотя могла бы!

Она метнула недовольный взгляд на Володю. Тот вздохнул и посмотрел на *Selza*: пора было идти на завод.

Спускаясь, он встретил на лестнице Женю: теперь, поступив в мед, она приходила домой совсем поздно, а уходила ни свет ни заря.

— Как дела у наследников Галена? — спросил Володя.

Женя устало улыбнулась в ответ. Совсем девочку замучили, подумал Володя и, поравнявшись, похлопал ее по плечу:

— Ты держись, Женька. Первый курс — всегда самый трудный.

— Спасибо! — ответила она и побежала вверх.

Хорошая девушка, подумал Володя, только застенчивая очень. Трудно ей будет найти себе парня. Познакомить ее, что ли, с кем-нибудь подходящим?

Выйдя из подъезда, он привычно задумался о подборе катализаторов для синтеза полимеров и тут же забыл про Женю. Но, даже продолжая вертеть в голове формулы, в глубине сознания — а может, в глубине тела — помнил тепло Оленькиных кошачьих объятий, и оно согревало его морозным декабрьским вечером.

Володя открывает бутылку: пенная струя фонтаном бьет в зенит, женщины с веселым визгом отскакивают, спасая праздничные платья, пробка



стукается о потолок и откатывается за диван, на долгие годы затерявшись овеществленным воспоминанием об этой ночи.

— Ну, с Новым годом! — кричит Володя, разливая шампанское.

Они все знают: этот Новый год особенный. Впервые с 1930 года 1 января снова объявлено выходным. Целое поколение — поколение Жени и Оли — прожило детство без зимних праздников: у них не было ни Рождества, ни Нового года. Теперь праздник вернулся, а детство прошло. Так что же? Раз они взрослые, значит, можно налить им шампанского! Эх, жалко, удалось достать всего одну бутылку!

Следом за шампанским приходит черед водки, Володя и тетя Маша опрокидывают стопку за стопкой. Неожиданно для себя Оленькина мама пьянеет быстро — наверно, потому что злится на Романа Ивановича, который ни разу так и не позвонил после того, как забрал из сберкассы свои десять тысяч, удачно обмененные по курсу три к двум вместо десять к одному.

— Он же на этом тысяч пять заработал, — говорит Володя. — По совести, должен был поделиться!

Женя всегда считала, что совести у спекулянтов не бывает, поэтому, услышав про сберкаску, сразу подумала, что ухажера тетя Маша больше не увидит: наверняка раскидал деньги по нескольким доверчивым женщинам, потом собрал урожай — и прости-прощай! Конечно, Женя не стала говорить об этом тете Маше — рассказала только Оленьке. Та привычно сморщила носик — мол, я так и знала! — но Володи рядом не было, гримаска пропала зря,

а Женя вернулась к своим конспектам и учебникам. Впрочем, Женя была уверена, что, сколько ни учи, сессию она все равно провалит и из меда вылетит.

После очередной стопки тетя Маша обхватывает Володю за шею и говорит ему:

— Володь, я дура, да? Надо было украсть у него эти деньги — и все! В милицию он бы точно не пошел, верно?

— Вы все правильно сделали, Мария Михайловна, — отвечает Володя, осторожно высвобождаясь.

— Знаешь, когда тебе сорок, а денег нет, ты вообще никому не нужна! — продолжает тетя Маша. — Вообще! Вот скажи сам: ты умный, красивый, перспективный — правильно? — и кого ты выбираешь? Мою дочку! Еще бы! Ей же восемнадцать лет! А восемнадцать — это тебе не сорок! А ты посмотри на меня, разве я хуже?

Тетя Маша встает, расправив плечи и выпятив грудь в разрезе декольте. Она плохо держится на ногах — не схвати ее Женя за локоть, упала бы.

— Спасибо, деточка, — говорит тетя Маша, — спасибо.

И снова плюхается на диван к Володе, не обращая внимания на Оленьку, которая прижалась к нему с другого бока.

— Гони ее, Володь, — говорит тетя Маша. — В конце концов, сегодня наш праздник. Эти-то даже и не знают толком, что такое Новый год!

Женя видит, как Оленька, схватив Володину стопку, резко ее опрокидывает. И на этот раз морщится всем лицом — не только нос, но лоб, губы, даже щеки.

— Перестань, — говорит Володя, и Женя не понимает: это он Оленьке или тете Маше.

— Ничего я не перестану. — Тетя Маша снова пытается его обнять, и тут Оленька вскакивает и в слезах убегает к себе.

— Что? Не нравится? — кричит ей вслед тетя Маша, пытаясь подняться. — А ведь из-за тебя вся моя жизнь, вся моя жизнь впустую! Все из-за вас, из-за двух потаскушек! — Она тычет ярко накрашенным ногтем в Женю, и Женя смотрит с удивлением: мол, меня-то за что? я-то тут при чем? А тетя Маша продолжает: — Как Аркаша на фронт ушел, так и жизни не стало никакой! Сначала одну расти, потом вторая приперлась на мою голову! Думала — вырастут, уберутся куда-нибудь! Так ведь нет! Ты зачем, дура, в мед поступала, если тебе там даже общежития не дали? Шла бы куда-нибудь еще, уехала бы в другой город, хоть на край света — лишь бы от меня подальше! И этих двух с собой забери, чтоб я не видела их больше! Ненавижу, ненавижу вас всех, — шепчет тетя Маша и внезапно заходится в судорожных пьяных рыданиях.

— Надо отвести ее в ванную, — говорит Володя, но Женя уже ничего не слышит, в ушах истошный крик: *хоть на край света, лишь бы от меня подальше!* — а и в самом деле, чего уж там, если куда *подальше*, то прямо сейчас подойти, открыть окно и сигануть вниз, пока Володя и вернувшаяся Оленька успокаивают тетю Машу в ванной. А что? Тоже выход, а другого, в сущности, и нет, потому что сессию она завалит, из меда с позором вылетит, ну и хорошо, уедет к черту из Москвы, пускай тут Володя с Оленькой поженятся, пускай живут сами по себе,

а она... она будет где-то далеко... но если она не может жить без Володи, тогда зачем вообще жить?

Но едва Женя подходит к окну, Володя кричит из ванной: *Женька, принеси еще полотенце!* — и она бежит к комоду, открывает ящик, ищет что похуже: самой ведь потом отстирывать.

Сессию Женя все-таки сдала: хоть и с тройками, но с первого раза. В первый день каникул она стоит напротив витрины продуктового: сколько же всего появилось! Но по каким ценам! Кило сахара — пятнадцать рублей, кило кофе — семьдесят пять рублей, кило гречки — двадцать один рубль. Может, и дешевле, чем было в «Особторге», но все равно — страшно дорого.

Вот так и выглядит моя жизнь, думает Женя, поворачивая прочь от магазина: все, чего мне хотелось бы, — рядом, но недоступно. Либо за стеклом, либо по цене, которую я не могу уплатить. А чего бы мне хотелось? Свой угол, свою семью, любимого. А мне всё это показывают только на витрине: квартира, но не твоя, любимый, но не твой, мама — ну, какая-никакая, но мама, живая мама! — и та не твоя!

С тетей Машей после новогодней ночи Женя не обмолвилась и тремя словами; да, впрочем, Оленькина мама и раньше была не слишком разговорчива с племянницей, а тут еще сессия, так что Женя была рада появляться дома пореже и сидеть в библиотеке допоздна.

Зря я не выбросилась тогда в окно, думает она, но сегодня эта новогодняя мысль кажется глупой и детской.

Женя открывает дверь, из кухни доносится громкий Володин голос, и сердце, в нарушение всех законов анатомии, сразу куда-то проваливается у Жени в груди, потому что она слышит, как Володя говорит:

— Мария Михайловна, я официально прошу у вас руки вашей дочери.

Кухни в конструктивистских домах плохо приспособлены для бесед вчетвером, поэтому Женя так и осталась стоять в двери, пока Володя объяснял, что два месяца назад он написал в несколько разных мест и вчера ему пришел ответ из Куйбышевского авиационного института, где работал кто-то из его однокурсников и где, конечно, тоже нужны химики, потому что какие же самолеты без топлива и сплавов, а это все химия, хотя и не совсем его, Володи, специальность, но, видимо, однокурсник расхвалил его так, что Володю готовы взять на работу прямо со следующего семестра и даже выделить служебную квартиру для него и — внимание! — его молодой жены. И поэтому Володя хотел бы как можно быстрее покончить с формальностями и вместе с Оленькой переехать по новому месту работы.

— А ты, Оленька, — ты-то хочешь за него замуж? — спрашивает Мария Михайловна, и Оленька отвечает «да, конечно» как-то даже непривычно сухо, без гримас и без смешков, и тогда ее мама начинает плакать — не как тогда, в новогоднюю ночь, с подвыванием и криками, а тихими, беззвучными слезами. Пока она плачет, все молчат, а потом Мария Михайловна достает носовой платок, вытира-

ет мокрое лицо и говорит: — Оля, ты прости меня, дуру, за все, что я тут наговорила. Может, останетесь лучше? Как-нибудь все вместе... в тесноте, да не в обиде?

И Женя тоже хочет сказать «оставайся», но знает, что это бесполезно, и к тому же в горле застрял ком, она вообще ничего не может сказать и только молча смотрит, как Оленька качает головой:

— Нет, мама, мы поедem. Не хотим тебе мешать.

Тетя Маша переводит взгляд на племянницу:

— Выходит, Женя, мы с тобой вдвоем останемся?

И Женя отвечает:

— Нет, Мария Михайловна, я тоже уезжаю. Переведусь в Куйбышевский мед. Вроде вполне неплохой, — отвечает, и сама не верит своим ушам, потому что еще минуту назад у нее и мысли не было о Куйбышевском меде, но теперь ей очевидно, что, каким бы неплохим он ни был, перевестись из Москвы в Куйбышев, должно быть, не так уж сложно. В крайнем случае потеряет год, вот и все. Но зато... зато они будут вместе.

— Ой, Женька, как здорово! — радуется Оленька и, подскочив, целует сестру в щеку. — А я-то еще думала: как я там без тебя буду?

Женя улыбается и вдруг понимает: пока мы живем в такой большой стране, у нас не может быть безвыходных ситуаций. Из любой найдется выход — уехать в другое место, унести свою ситуацию с собой и там, на новом месте, найти выход, которого не было здесь.

Впервые за много лет она вспоминает, как плакала на маминой могиле, навсегда затерянной на чужом деревенском погосте. Ей было тринадцать,

она стала круглой сиротой, и деревенские, стоявшие рядом, вряд ли могли ей помочь, хотя бы потому, что им не хватало еды для своих детей. Женя проплакала всю ночь, а потом, собрав все, что у нее осталось, в фанерный чемодан, отправилась в Москву, к маминой сестре тете Маше, которую всегда побаивалась и никогда не любила. Женя позвонила в ее дверь — и осталась здесь на пять лет, а теперь ей снова пора уезжать, и она подходит к немолодой, неподвижно сидящей женщине, целует в щеку, говорит: *спасибо, что приняли меня*, — и, поколебавшись, добавляет: *тетя Маша*.

Оформить документы и собрать вещи заняло чуть больше недели. Сумрачным февральским днем они прощались в просторной прихожей. Володя шутил, что у них с Оленькой — настоящий медовый месяц, даже с путешествием. Молодая жена была непривычно молчалива — как-никак, в этой квартире прошла вся ее жизнь. Тетя Маша выплакала все слезы в первые два дня и к прощанию сумела убедить себя, что только выиграла, избавившись от двух девиц, сковывающих ее по рукам и ногам.

Она обманывала себя: после отъезда дочери и племянницы она станет еще более одинокой. Впрочем, популярностью у мужчин Маша будет пользоваться много лет, куда дольше, чем рассчитывала. Никто из *кавалеров* не захочет остаться с ней надолго, кроме разве что одного — немолодого лысоватого бухгалтера, приехавшего с Урала в надежде осесть в Москве. Его Маша выгонит сама, узнав о романе с молоденькой сослуживицей, Оленькиной сверстницей. До конца жизни она бу-

дет говорить, что бухгалтер хотел всего лишь прописаться в московской квартире, но именно этого мужчину она будет любить больше других — хотя даже ему не скажет ни про свой настоящий возраст, ни про взрослую дочь в другом городе.

Женя попрощалась с тетей Машей и перед уходом еще раз заглянула на кухню. На этот раз небо за окном было затянуто тучами, и Женя подумала, что больше никогда сюда не вернется, никогда не замрет на пороге, глядя на холодный свет зимнего солнца.

В тот день Жене не было восемнадцать.

Сегодня Евгении Александровне восемьдесят с лишним, жизнь близится к концу, но вот зимнее солнце... оно все так же светит в окно той самой кухни. Старая женщина садится напротив Андрея, опустившего коротко стриженную голову, и со вздохом спрашивает:

— Ну, рассказывай... что там у тебя случилось?

## 2

За всеми предотъездными хлопотами Оленька не забывала главное. Пакуя туфли и перешитые мамины платья в довоенный чемодан, купленный еще отцом, уговаривая Женьку не брать с собой так много книг, всплакнув над детскими куклами, последний раз засыпая в своей детской кровати, тайком целуя фотографию в маминой комнате и прощаясь с мамой в прихожей, Оленька помнила: она уезжает из Москвы, чтобы стать еще счастливей. Ведь она теперь жена, она вышла замуж за самого лучшего на свете мужчину, за человека, который



любит ее и которого любит она! Во всех фильмах именно в этом и заключался счастливый конец: любимые соединились, сюжет прекращался, впереди их ждало только безоблачное счастье, бесконечное, как вечность после финального титра. Зачарованная принцесса дождалась своего принца, еще немного — и он посадит ее на коня и увезет в свое далекое королевство.

Оленька ехала навстречу счастью — но когда они сели в плацкартный вагон, впервые заподозрила, что сбилась с пути: в мечтах она представляла, что они будут путешествовать в таком же купе, в каком она когда-то ехала с родителями в Крым. Оленька давно уже забыла дорогу в эвакуацию — она всегда старалась забывать то, что мешало быть счастливой, — и железнодорожная поездка так и осталась для нее детским ожиданием каникул, предчувствием лета, моря и солнца: и вот плацкартный вагон, пахнущий застарелым потом, грязной одеждой и невытой чужой плотью, заставил померкнуть те картины безоблачной жизни, которые Оленька рисовала себе последние недели.

Тогда она еще не знала, что в Куйбышеве ей предстоят полтора месяца унижительных скитаний по общежитиям с их запахами забившейся канализации, сырости, плесени и неуюта; ей, никогда не жившей в коммуналках, придется слушать ночные крики пьяных соседей, узнать, как выглядит утренняя очередь в душ и туалет, и открыть для себя общую кухню, пахнущую прокисшей едой и медленно тлеющей сварой.

В этом мире Оленька не могла быть счастлива — ее зарок не выдержал встречи с тем, что было

повседневной реальностью для миллионов ее сограждан: ей показалось, что она спустилась в ад, где ее тоска и отчаяние только обострились, потому что все это происходило именно сейчас, во время ее медового месяца, хотя она должна была быть счастлива как никогда.

Оказалось, что все Олино счастье осталось в Москве: для него не нужны были туфли и платья, для него не нужна была даже любовь — оно возникло просто от того, что утром можно было, толком не проснувшись, побрести в одной ночнушке в ванную, плеснуть в лицо теплой водой, зевнуть и потом, никого не стесняясь, пойти на кухню... на свою собственную кухню! на кухню в отдельной квартире, где у Оленьки есть своя собственная комната, где есть своя ванная и свой туалет, куда не ходят чужие! Только это и было настоящим счастьем, настоящей жизнью, которой ей, Оле, и было предназначено жить.

Когда-то, давным-давно, она обещала погибшему папе, что будет такой, какой он хотел ее видеть, умной и красивой, а главное — счастливой. Шесть лет она держала слово, но теперь, в самый неожиданный момент, ей было стыдно сознаться, что силы оставили ее. Но я ведь не виновата, шептала она, затыкая пальцами уши, чтобы не слышать ругань и скрип кровати за стеной, я не виновата, я по-прежнему хочу быть счастливой, но я не могу, я никогда не смогу быть счастлива здесь.

«Как же так получилось?» — спрашивала себя Оленька и снова и снова вспоминала Новый год, когда в своей комнате она так же затыкала уши, чтобы не слышать маминых пьяных криков и этих

страшных слов — *хоть на край света, лишь бы от меня подалше!*

Так был разрушен кукольный домик ее детства, так мама, ее собственная мама, изгнала Оленьку из волшебного двухкомнатного дворца, где она только и могла быть счастлива, — и вот, давясь рыданиями, Оленька клялась себе, что больше никогда, никогда не вернется в Москву, не переступит порог дома, где ее так предали!

Оленька впервые жила в общежитии — и впервые оказалась совсем одна: Женя устраивалась в Куйбышевский мед, а Володя, прибыв на место, выяснил, что для преподавания химии в авиационном институте нет даже самого необходимого. С утра до ночи он пропадал на работе: выбивал в бухгалтерии деньги на оплату реактивов, объяснял стекольщикам, какая химическая посуда нужна ему для лабораторных, требовал от хозяйки обеспечить нормальную работу вытяжки, а вернувшись домой, садился готовиться к лекциям, с каждым днем нервничая все больше.

Согласившись в свое время на предложение КуАИ, Володя даже не подумал, что все его представления о работе преподавателя получены из глубины студенческой аудитории: он не знал, как спланировать лекцию, как распределить материал по семестру, не знал даже, как принимать зачеты или экзамены.

В ночь перед своим преподавательским дебютом он долго не мог уснуть. Выйдя покурить в коридор (Оленька запрещала дымить в комнате), он напряженно замер у темного окна и вдруг вспомнил свою первую атаку, предательскую дрожь пе-

ред рассветом, волшебное и страшное опьянение многоголосого «ура!», когда твои ноги словно сами бегут по чавкающей глине, рот сам разевается в крике, а руки... руки сами делают важное дело — убивают себе подобных. Памятью о мелком осколке, встреченном где-то в Польше, заныла левая нога, и Володя, прихрамывая, вернулся в комнату.

Он совершенно успокоился: он как будто уже знал, что будет завтра.

И действительно, он вышел к доске, обвел взглядом лекторий, кашлянул, проверяя акустику, потом поздоровался, сказал: *меня зовут Владимир Николаевич, я буду читать у вас курс органической химии* — и внезапно ясно увидел каждого из полусотни студентов, понял, что и когда должен сказать, чтобы удержать их внимание... возможно, понял даже, какую оценку поставит каждому в конце семестра.

Он улыбнулся, взял сырой крошащийся мел и начал лекцию.

Хотя привезенные Женей из Москвы документы были в порядке, ректорат КМИ никак не мог взять в толк, почему москвичка из Первого меда хочет перевестись к ним в провинцию. В конце концов Женя сказала: «У меня сюда сестра переехала, а я с ней», — что было почти правдой и вполне устроило церберов, охранявших вход в мир проекторских, операционных и моргов. Так Женя получила студбилет и даже место в общежитии с тремя другими медичками, с подозрением смотревшими на серьезную большеглазую девушку, приехавшую из самой Москвы.

На вахте общежития был телефон, и Жене каждый раз надо было просить у вахтерши черный эбонитовый аппарат с крутящимся тугим диском. Набрав номер общежития КуАИ, Женя звала Олю или Володю из двести тринадцатой комнаты, и весь разговор слушали вахтеры двух общаг: немолодая оплывшая брюнетка из медицинского и хромой фронтовик, густобровый и вечно небритый. Максимум, что можно было сказать: *я к тебе зайду через часок?* – формальный и бессмысленный вопрос, Женя и так знала, что Оленька никуда не выходит, по-кошачьи свернувшись на продавленной койке и дожидаясь возвращения Володи, – и значит, можно было и без всякого звонка дойти до авиационной общаги. Но дорога в один конец отнимала почти час, март выдался снежным и холодным, занятия в институте оказались ничуть не легче, чем в Первом меде, и когда вахтерша стукнула в дверь Жениной комнаты и позвала к телефону, Женя поняла, что не видела Володю и Оленьку уже две недели.

Она шла промозглым коридором, гадая, что же могло случиться – неужели просто так позвонили? – и, только услышав сквозь треск довольный Володин голос, поняла, даже не разобрав слов, что на этот раз всё в порядке и сегодня новости если и есть, только хорошие. И тут, наконец, Володя прорвался через электростатику помех и прокричал:

– Квартира! Нам дали квартиру!

Квартира, выделенная семье Дымовых, располагалась в старом, еще прошлого века, доме. Подбежав к подъезду, Женя увидела рядом с Володей

и Оленькой невысокого седого мужчину: круглое лицо, очки в узкой оправе.

— Знакомьтесь, — сказал Володя, — это Валя, Валентин Иванович, он-то меня сюда и вытащил. А это — Женя, Олина сестра.

Валентин Иванович протянул руку, и, пожимая ее, Женя заметила, что верхняя фаланга указательного пальца неестественно искривлена влево. Женя поскорее отпустила ладонь, но все равно вдоль спины пробежала покалывающая гадливая дрожь.

Они поднялись на второй этаж, Валентин открыл дверь и передал ключ Володе:

— Принимай жилье, хозяин!

От потертой казенной мебели квартира выглядела официальной и нежилой, и Жене казалось, будто они все четверо пришли в приемную и ожидают, пока их вызовут в кабинет, — точь-в-точь как ждала она, пока ректорат КМИ примет решение на ее счет.

Квартира была совсем небольшая — комната, кухня и санузел. Женя подошла к окну. Во дворе дети штурмовали снежную крепость — видимо, уже последний раз в этом году: на тротуарах блестели лужицы талой воды, в них отражалось мартовское солнце.

— Надо выпить, — сказал Валентин, доставая из портфеля чекушку, и Женя пошла на кухню, где нашла в буфете несколько рюмок (и сразу выбросила одну, треснутую, — плохая примета).

Валентин разлил, мужчины выпили. Оленька с погасшим лицом опустилась на диван: то ли у нее уже не было сил радоваться, то ли она была

разочарована тем, насколько новая квартира не похожа на ее московское жилье. Через пять минут Володя уже жаловался Валентину, что институтские снабженцы никак не хотят принять у него заказ на новое оборудование, и Женя, не слушая мужской разговор, еще раз прошлась по квартире. Диван мы развернем, думала она, а стол поставим к окну, чтобы Володя за ним работал. Тот стул выкинем — все равно он вот-вот развалится, не дай бог кто-нибудь шею себе свернет. Посуды еще купим, видела на барахолке совсем недорого. А вот сюда приедем что-нибудь, пальто вешать... хотя бы гвоздь или крюк какой-нибудь... Женя ходила мягко, деловито, по-хозяйски, из комнаты на кухню, а потом назад в комнату, и постепенно под ее взглядом квартира оживала: ведь это был первый именно ее дом — не мамы с папой, не тети Маши, а ее, Женин. Теперь только она решала, что и как здесь будет, — и радость поднималась в ее душе мелкими шампанскими пузырьками. Лишь на секунду Женя замерла — *постой, это ведь не твой дом, это дом Володи и Оленьки!* — но тут же улыбнулась и поспешила дальше: ну и что, что Володи и Оленьки, не они же, в самом деле, будут его обустраивать? Володя весь день на работе, а Оленька... ну, я с ней пять лет в одной комнате прожила, она и в родном доме не знала, где тарелки стоят.

Женя не слушает разговора мужчин, но из комнаты доносятся реплики:

- ...настоящая утопия для настоящего ученого...
- ...это утопия, скрещенная с гетто...
- ...только так и может существовать настоящая утопия!

Лишь через год Женя поймет, о чем говорили Володя и Валентин, а сегодня, когда они останутся вдвоем, она будет рассказывать, что собирается передвинуть, что выкинуть, а что — купить. На кухне Женя покажет, где тарелки, а где приборы, что надо бы поменять при случае, а чего не хватает уже сейчас — полотенце! на кухне должно быть полотенце! — и, уже завершая неожиданную экскурсию, кивнет на деревянную скамью у стены и скажет:

— А вот это прямо сегодня надо вынести, лучше еще пару табуреток купить.

— По-моему, нормальная скамейка, — возразит Володя, немного ошарашенный Жениным напором, но все же улыбаясь — той самой своей улыбкой.

— Нормальная, да, — кивнет Женя, — но мы сюда вечером раскладушку будем ставить.

— Зачем раскладушку? — удивится Володя.

В ответ Женя только пожмет плечами:

— Я буду на ней спать.

Пару лет назад Володины трофейные *Selza* внезапно остановились. Он отнес их к старому часовщику, который снял заднюю крышку, продул и почистил внутренности. Часы затикали снова, а старик показал Володе скрытую внутри корпуса пружину, которая, скручиваясь и расправляясь, приводит в движение сложный часовой механизм.

С тех пор Володя часто думал, что такая же сжатая пружина — пружина его тайной тревоги — дает ему силы и определяет его поступки. Он изучал химию в университете, выбирал себе специальность



на старших курсах, искал работу, ехал в эвакуацию и на фронт, возвращался на завод и увольнялся с завода, — и внутри, подтверждая верность каждого шага, пощелкивала взведенная пружина. Иногда по ночам, прислушиваясь к храпу попугачиков или соседей по общежитию, Володя улавливал ее напряженную вибрацию и не мог уснуть от постоянной, неослабевающей усталости.

Когда он увидел Оленьку впервые, она показалась ему прекрасным видением, пришельцей из далекой, почти нереальной жизни, из тех времен, когда будущее казалось ясным и беспечным, когда ему не исполнилось и шестнадцати, он был мальчишкой, почти ровесником этой девушки, мечтал о славе и любви. Он стал приходить к Оленьке домой, потому что рядом с ней тревога успокаивалась, он не чувствовал больше внутреннего напряжения своей пружины, словно Оленька заражала его своей легкостью, радостью и беспричинным счастьем. Володя глядел в ее бездонные голубые глаза, и впервые за много лет ему мерещилось, что он обрел покой.

Но длилось это недолго. Однажды ночью Володя проснулся, как просыпаются от кошмара: холодный пот, бьющееся сердце, боль в грудной клетке. Он пытался вспомнить, что ему приснилось, но не смог — и лишь когда это повторилось на следующую ночь, понял: никакого кошмара не было, это с утроенной силой вернулась тревога, и пружина в груди сжалась так, что больно дышать. Внутренний механизм, определявший жизнь Володи, разладился, и вместе с ним в любой момент могла разладиться и сама его жизнь.

Надо перестать с ней видаться, подумал Володя, но на следующий день снова сидел на маленькой кухне и пил чай. В тот вечер он старался не встречаться с Оленькой глазами и потому впервые обратил внимание на Женю: неглупая и забавная, похожа на взъерошенную птицу, но в ее больших карих глазах скрывалась грусть, такая же бесконечная и беспричинная, как счастье, сквозившее в глазах Оленьки. Стоило Володе встретиться с Женей взглядом, как его умолкший было внутренний механизм заводил старую песню тиканья и шелчков — и ночью к Володе приходил привычный некрепкий сон без всяких панических пробуждений.

Так Володя понял, что Женя словно нейтрализует Оленьку, благодаря чему его тревога не исчезала, а лишь приглушалась и смягчалась. Глядя на Оленьку, Володя верил в возможность безмятежного счастья — переводя взгляд на Женю, снова вспоминал, что счастье недостижимо. Эти колебания позволяли Володе ежедневно калибровать свой внутренний механизм, подбирая правильную балансировку, защищая от внезапных скачков, предотвращая выход из строя.

Все изменилось тем летом. Когда они познакомились, Оленька была еще девочкой, но за полгода любовь — или естественный процесс взросления — превратили ее в красивую молодую женщину, статную и соблазнительную. Холодную кукольную красоту сменила теплая кошачья грация невинных ласк и девичьих поцелуев, и вот уже недавно обретенное Володей радостное спокойствие уступило место жгучему желанию, желанию взрослого мужчины, давно познавшего плотскую любовь.

Теперь он смотрел на Оленьку другими глазами: вместо призрачного видения перед ним была женщина из плоти и крови, женщина, не до конца осознающая природу своей новой красоты и оттого еще более притягательная и манящая. Каждое ее заурядное движение — полусонное, медленное и текучее — теперь казалось Володе слабым отблеском грядущих ласк и объятий, обещанием той последней близости, до которой он не допускал ни себя, ни ее. Будь они сверстниками, давно бы уже оказались в одной постели, но он был взрослый мужчина, а она — почти что ребенок, и потому Володя не делал даже попытки продвинуться дальше целомудренных объятий и поцелуев.

Так тревога снова вернулась к нему — и теперь это была тревога не только за себя, но и за Оленьку, может быть, даже и за Женю.

Володя знал, как непрочно то, что связывает двух людей, и, возможно, поэтому ему хотелось, чтобы их с Оленькой первый раз был исполнен торжественности и даже некой церемонности, которые навсегда выделили бы эту ночь из череды заурядных дней человеческого бытия. Столетия назад для этого придумали венчание, но, отменив Бога, советская власть отменила и старые обряды, и накануне отъезда в Куйбышев Володя с Оленькой вместо свадьбы просто зашли в загс и быстро расписались. Было бы странно приурочить их первую ночь к такому скучному бюрократическому событию, и Володя решил подождать, пока они приедут в Куйбышев, где их ждала отдельная, их собственная квартира.

Разумеется, *их собственная квартира* принадлежит не им, а КуАИ, да и вообще, частная собствен-

ность на жилье, наверно, отомрет еще до полного построения коммунизма: Володя недавно услышал об этом, проходя мимо аудитории, где старый большевик Мензуев читал лекции по «Краткому курсу истории ВКП(б)», услышал и поморщился, поскольку уже считал эту еще не полученную квартиру только своей, его и Оленьки.

Но как бы Володя ни хотел отсрочить их первую ночь до получения собственного жилья, месяц в одной комнате общежития оказался слишком большим испытанием: временами зов плоти бывает почти неодолим (те, кто столетия назад придумал венчание, много говорили и писали об этом), и потому однажды Володя и Оленька, возможно, сами того не желая, все-таки покинули территорию поцелуев и объятий, обжитую за последние полгода.

Это случилось в пропахшей клопами и квашеной капустой общаге авиаинститута, случилось уже давно, в начале второй недели их жизни в Куйбышеве, случилось поспешно и торопливо, неловко и немного стыдно, совсем не так, как хотел Володя.

Конечно, потом, словно желая исправить упущенное, они еще несколько раз занимались любовью на скрипучей общажной кровати, но все равно, сегодня особенный день, они впервые вместе в своей квартире, и вот Володя раздвигает тахту, осторожно стелет простыню, укладывает подушки и одеяла. Лежа в постели, смотрит, как раздевается Оленька: выскальзывает из шуршащего платья, скидывает туфли, спускает вдоль ноги фильдеперсовые чулки (химик Володя, конечно, уже знает о появлении капрона, но пройдет десять лет, пре-

жде чем он сможет преподнести жене упаковку чулок, сморщенных и невесомых, словно лягушачья кожа из русской сказки). Она с чарующей неловкостью тянется к застежке лифчика, замечает Володин взгляд и командует: *Отвернись!* — и теперь лишь фантазия подгоняет изображение под еле слышные звуки: вот заскрипела кровать — Володя тянется к Оленьке, но она ускользает из объятий: *а свет выключить?* — возвращается босыми ногами по разохшемуся паркету, отодвигает край одеяла, ложится, прижимается... Хотя все равно в темноте ничего не видно, Володя открывает глаза и различает в сумраке ночной комнаты слабое сияние светлых Оленькиных волос.

Заскрипела кровать, пошлепали по разохшемуся паркету босые ноги (погасла полоска света под закрытой дверью кухни), паркет опять отозвался на Олины шаги, снова скрипнула тахта, стало тихо, а затем скрип вернулся, сперва нерешительный и слабый, потом резкий, ритмичный, ускоряющийся... Женя закрывает руками уши, но даже сквозь вспотевшие ладони по-прежнему доносится *скрип-крип, скрип-крип, скрип-скрип-скрип* — и тут вступает глубокий женский голос, выдыхает один лишь звук — АААААА! — и наконец наступает тишина, финальная и окончательная, как в могиле.

Женя поворачивается на другой бок, раскладушка предательски скрипит, Женя закрывает глаза и уже почти засыпает, когда приоткрывается, чуть взвизгнув, кухонная дверь и Володя, стараясь не шуметь, подходит к раковине и наливает себе

воды. Сквозь приоткрытые ресницы Женя видит в пробивающемся через ситцевые занавески свете уличного фонаря его фигуру: широкие плечи, мускулистая спина, черные сатиновые трусы, маленький шрам на левой ноге, которого Женя никогда не видела раньше. Сейчас Володя кажется ей усталым и сытым хищным зверем — тигром? леопардом? львом?

Володя ставит пустой стакан на стол и уходит, не взглянув на неподвижную Женю, которая так старательно притворяется спящей, что за эти две минуты у нее уже, кажется, затекло все тело.

Потом наступает тишина, все трое засыпают, почти одновременно.

\* \* \*

Иногда бывает, что люди, посетившие мир в *его минуты роковые*, не замечают этого и испытывают блаженство совсем по другому поводу. В 1948 году случилась блокада Берлина и возник Израиль; историки вспомнят землетрясение в Ашхабаде, разгром советской генетики, борьбу с космополитизмом (во всем) и формализмом (в музыке), но трое молодых людей, недавно переехавших в Куйбышев, почти не обращали внимания на эти исторические события. Конечно, в институтах до сведения студентов и преподавателей регулярно доводили последние новости — сессия ВАСХНИЛ, триумф Лысенко, постановление об опере «Великая дружба», сталинский план преобразования природы, так что Володя должен был хотя бы об этом слышать, а Женя, скорее всего, даже умела

пересказывать новости на политинформации или экзамене.

Но все равно главным событием 1948 года для всех троих стало ожидание: они ждали, пока год пройдет и наступит январь, тот самый месяц, на который седовласый старорежимный доктор с пергаментной пятнистой кожей и тихим голосом назначил роды.

— Восьмая неделя, — сказал он смущенной Оленьке. — Отсчитайте еще тридцать две, и будет вам искомая дата.

Они отсчитали — сначала на глазок («тридцать две недели — это восемь месяцев»), а потом уже по календарю, чтобы уж точно не промахнуться. Получился январь 1949-го, и они стали ждать.

Оленька ждала ребенка так же, как изо дня в день ждала с работы Володю: сидела у окна и смотрела на улицу, точь-в-точь как сидят на подоконнике кошки, следя глазами за пролетающими птицами. Стаял снег, появились первые листочки, зарядили весенние дожди, потом настало лето, душное и пыльное, к августу пожухла и повыгорела зелень, а потом ветви окрасились алым, желтым и багровым — пришла осень, за ней — зима. Когда в ноябре выпал снег, Оленька поняла, что они почти замкнули круг, еще немного — и пройдет год с тех пор, как они приехали в этот город, а еще через полтора месяца — год, как они живут в этой квартире, а потом наступит май, и тут уже будет год, как она узнала, что ждет ребенка. Столько маленьких юбилеев, умилялась Оленька. Но прежде, чем круг замкнется, случится главное событие, единственное, которое еще много-много лет они будут отме-

чать каждый год, — день рождения ее ребенка, их ребенка. Сейчас остается только ждать, и Оленька сидела у окна и смотрела на улицу, словно ребенок мог прийти, как приходили домой муж и сестра.

Женя и Володя ждали иначе, хотя их жизнь была подвластна почти тем же сезонным ритмам. Шесть дней в неделю — лекции, семинары, практикумы, затем воскресенье, следом все повторяется, пока не наступает время зачетов, а потом экзаменов, и в конце концов в последнюю неделю июня перед ними вдруг оказывались два восхитительных летних месяца, непривычно выбивающиеся из их жизненного ритма. Володя принимал вступительные экзамены и прорабатывал в библиотеке два новых курса, которые собирался прочесть осенью, а Женя гуляла с Оленькой по набережной Волги, глядя, как старые, еще дореволюционные пароходы лениво крутят колесами в теплой сонной воде. Они обсуждали, как назовут ребенка, уверенные, что придумают имя, а Володя сразу согласится. Спорили долго и наконец решили, что девочка будет Светой, а мальчик — либо, как хотела Женя, Валерой, либо, как хотела Оленька, Борисом.

Им казалось, у них еще много времени, чтобы решить окончательно, но однажды ноябрьским вечером, когда они втроем, как обычно, сидели за столом и Женя читала вслух Чехова, Оленька вдруг скорчилась, схватившись за не-такой-уж-огромный живот, — и вот уже «скорая» увозит ее в городскую больницу, а Женя и Володя переглядываются смущенно и тревожно.

На следующий день Женя, размахивая студбилетом мединститута, прорвалась к заведующей отде-



лением. Сухая поджарая женщина в тяжелых роговых очках недовольно буркнула:

— Прекратите истерику! Вы же будущий врач! Полежит у нас недель пять-шесть и родит как маленькая! Все будет нормально с вашей подругой!

— Она мне сестра, — зачем-то сказала Женя, и заведующая в ответ пожала плечами: мол, и с сестрой тоже будет нормально, какая разница, кто она вам?

Возвращаясь домой, Женя впервые за все эти месяцы подумала: как мы будем жить вчетвером? Захотят ли Оленька с Володей, чтобы я осталась? И этот младенец... вдруг он будет маленький, красный и орущий? Я ведь вообще-то не очень люблю детей.

Без Оленьки дома стало пусто. В первый же вечер Женя по привычке приготовила ужин на троих и теперь каждый день одергивала себя: нас же двое! Это было непривычно: в Москве она жила втроем с Оленькой и тетей Машей, в Куйбышеве — с Оленькой и Володей. Когда она жила вдвоем? Еще до войны, когда была маленькой грустной девочкой, — с мамой в крохотной коммунальной комнатухе.

Теперь квартира кажется неожиданно просторной, а по ночам Женя все вслушивается — не раздастся ли сонное дыхание сестры, к которому она так привыкла за эти шесть лет?

Но нет, Оленька спит в больничной палате, и по ночам только восемь других беременных слушают ее посапывание, совсем им не нужное, ничего для них не значащее.

Впервые за много лет Женя жила с кем-то вдвоем; впервые в жизни — вдвоем с мужчиной. По ве-

черам, ужиная, они рассказывали друг другу о том, что случилось за день, пар поднимался над стаканами сладкого чая, лампа под бумажным абажуром слабо качалась, и их тени скользили по протертым обоям, залезали на выщербленный стол, устало замирали на полу.

Они и сами не помнили, кому первому пришла в голову идея к возвращению Оленьки сделать в квартире ремонт. Речь, конечно, не шла о настоящем, серьезном ремонте — нет, хотя бы переклеить обои, прибить у входа крюки для пальто, выделить в комнате уголок, где будет стоять кровать. Несколько дней оживленно обсуждали план: вот представь, возвращается Оленька и — *ух ты! Я даже не узнаю нашу комнату! Когда это вы все успели?* — впрочем, глупый вопрос, времени полно, еще несколько недель.

— Послушай, — волновался Володя, — а вдруг ей не понравятся новые обои?

— Понравятся, — отвечала Женя. — Я знаешь как давно с ней живу? Что я, вместо нее обои не выберу?

Выбирать, правда, было особо не из чего: в промтоварном было всего два вида обоев — синие с ромбами и багрово-красные с вертикальными золотыми полосами, как праздничные знамена. Женя, разумеется, выбрала синие — к тому же они были и дешевле.

— Красивые, — кивнул Володя, рассматривая вечером развернутый на столе рулон. — Надеюсь, Оленьке действительно понравится.

— Понравится, поверь мне.

— Знаешь, — сказал Володя, помолчав, — мне иногда кажется, что она у меня сама — как ребенок.

Может, это потому, что я все-таки ее старше, а может, потому, что только мы стали жить вместе, как она и забеременела...

— Она всегда такая была, — сказала Женя. — Большой ребенок. Девочка, о которой надо заботиться. И возраст тут ни при чем — я ее вообще на год младше.

— Ну, ты — это другое дело! — Володя широко улыбнулся, и, как всегда от его улыбки, внутри у Жени что-то ёкнуло и расплылось теплым счастливым пятном. Она тоже слабо улыбнулась в ответ, и у нее сразу пропало желание рассказывать, с каким трудом она донесла до дома эти десять злосчастливых рулонов, которые, как выяснилось, куда тяжелее, чем она думала в магазине.

Ремонт назначили на воскресенье. Тахту вытащили на середину комнаты, стол и стулья запихнули на кухню, тем самым отрезав себе путь к раковине. Володя снял с плиты кастрюлю с клеем, Женя растелила на полу первый рулон, завязала на голове цветастую косынку, вооружилась кистью и сама себе показалась похожей на какого-то пирата из кино.

— Начали! — скомандовала она.

Только начав клеить обои, они сообразили, что никогда даже не видели, как это делается. В конце концов все получилось, но до того полрулона обоев было безнадежно испорчено, а Володя перепачкал в клею майку, и пришлось ее снять, так что теперь он ходит голый по пояс, будто они выбрались на пляж или собираются купаться. Женя то и дело поглядывает на Володю, видит, как он тянется

вверх, чтобы выровнять верхний край, и под его загорелой кожей перекатываются крепкие мышцы. Женя смотрит и любит, хотя ей немного неловко, как всегда в те моменты, когда она должна напоминать себе, что Володя — Оленькин муж, отец Оленькиного ребенка.

Я хотела жить с ними вместе — вот и живу, говорит себе Женя, а большего мне и не надо, но тут Володя трогает ее за плечо, и Женя быстро опускает голову, чтобы Володя не увидел, как она краснеет.

Что же это такое, думает Женя. Мы живем почти год в одной квартире, а стоит ему меня коснуться, у меня кровь приливает к щекам и кружится голова. Это же просто невозможно, это глупо, это стыдно, но что же я могу поделать?

Что поделать? Женя знает ответ. Когда родится ребенок, я уйду, думает она. Никто даже ни о чем не догадается, всем понятно: здесь и для троих мало места, а вчетвером — совсем никуда. Вернусь в общежитие, буду приходить в гости. Я смогу, я сильная. Да и вовсе я не хочу жить в квартире с ребенком, вообще не люблю детей.

Она приняла решение, и теперь ей гораздо легче. Женя еще раз проводит кистью по куску обоев и протягивает его Володе.

К обеду комната почти закончена. Женя пробирается на кухню разогреть вчерашние щи. Володя курит у открытого окна и рассказывает, что в ближайšie годы химия наверняка предложит синтетический клей, точнее, много разных клеев для разных случаев жизни.

— Скажем, обои он к стене приклеивает, а майку — нет.

Женя смеется:

— Посмотрим-посмотрим, успеет ли твоя химия к нашему следующему ремонту.

— А когда у нас запланирован следующий ремонт? — интересуется Володя.

— Тут все от вас зависит, — отвечает Женя. — Как отправится Оленька рожать нам следующего ребенка, так и будет нам следующий ремонт.

С большим трудом они втискиваются на заставленную кухню, Женя разливает суп по тарелкам.

— А вот помнишь, — говорит она Володе, — ты в Москве все про синтетику рассказывал, говорил, что хочешь делать новые полимеры? Тебе в твоём институте удастся?

Володя как-то мрачнеет.

— Знаешь, — отвечает он, — я решил завязать с наукой.

— Чего это? — удивляется Женя.

Володя некоторое время молча ест, потом говорит:

— Вкусные у тебя щи.

После обеда они возвращаются в комнату. Я бы хотела, чтобы этот день никогда не кончался, думает Женя, жалко даже, что у нас такая маленькая квартира, — но тут Володя цепляет мокрым куском обоев свои штаны, деликатно ругается *вот же черт!* — и Женя говорит:

— Да уж, пока одни химики изобретают синтетический клей, другие только одежду пачкают!

Володя берет следующий кусок обоев и, прикладывая его к стене, спрашивает:

— Вот ты помнишь Валентина Ивановича?

— Твоего однокурсника?

— Не совсем, — говорит Володя. — Мы познакомились на химфаке, но он тогда уже закончил аспирантуру, он лет на пять меня старше.

— Выглядит, будто на все пятнадцать, — вспоминает Женя.

— Это потому... короче, потому, что у него такая работа. Он мне рассказал, что, когда закончил химфак, его и группу других талантливых ученых специально отобрали для секретных работ... поселили где-то под Казанью, и там они и работали — и до войны, и во время войны.

— А что они делали?

— Ну, я не спрашивал. — Володя пожимает плечами. — Понятно, что какое-то оружие. Если учесть, что сейчас Валентин занимается гидридами и окислителями, видимо, сам он делал топливо для наших «катюш» или других ракет.

— Понятно, — машинально отвечает Женя, хотя ей непонятно — ни что такое гидриды и окислители, ни, главное, почему у Володи такой напряженный голос. Он даже говорит тише, чем обычно, хотя вроде бы никаких секретов, обычный треп про знакомых.

— И Валя, когда мне это рассказал, объяснил, что, наверное, его снова туда скоро пошлют.

— Разве это не хорошо? — недоумевает Женя.

— Как тебе сказать... — отвечает Володя, продолжая прилаживать к стене все тот же несчастный кусок обоев. — Он же там живет взаперти, на строго секретном производстве. Ни семьи, ни друзей, ни переписки.

— А отказаться можно?

— Отказаться нельзя, — только и говорит Володя.

Женя смотрит ему через плечо и видит, что он продолжает разглаживать обои на стене, раз за разом проводя рукой по одному и тому же месту, и с обоев уже слезает верхний слой бумаги.

— Эй! — восклицает она. — Ты что творишь-то? Давай, следующий кусок пора клеить — или этот отдираешь, если ты в нем дырку проковырял.

Володя оборачивается.

— Ты не поняла, — говорит он. — Это был ответ на твой вопрос. Про науку.

— А как?.. — начинает Женя, но осекается: у Володи серое, незнакомое лицо.

— А вот так. Нет никакой разницы — гидриды с окислителями или синтетические материалы. Кто же знает, что им завтра понадобится? А мне так нельзя — у меня Оленька, у меня ребенок вот-вот родится. Как я там буду без них, взаперти? Вот я и решил — лучше останусь просто преподавать. Уж преподаватели нигде, кроме институтов, не нужны. Авось и пронесет.

— Я думала, тебе нравится преподавать.

— Мне нравится, но мне в жизни много что нравилось, да не всем, к сожалению, удастся заниматься.

— Я помню, — вспоминает Женя. — Ты говорил, что в школе хотел быть не ученым, а...

— Тс-с-с! — Володя прикладывает палец к ее губам, и Женя понимает, что еще секунда — и она поцелует этот палец, а потом, наверное, схватит Володю за руку и будет целовать ее, целовать, пока... но тут Володя убирает руку и совсем обыденно го-

ворит: — Ладно, давай лучше обои доклеим, хватит уже, поговорили.

Господи, думает Женя, как хорошо, что я уже все решила. Еще пара недель — и все.

Пройдет много лет, и Женя увидит по телевизору знакомое круглое лицо, очки в тонкой оправе, а закадровый голос сообщит о награждении крупного советского ученого Валентина Ивановича Глуховского очередным орденом за работы, связанные с освоением космоса и повышением обороноспособности нашей страны. А еще через четверть века Андрей придет в богатую академическую квартиру, чтобы взять у патриарха советских ракетных войск интервью для глянцевого журнала, тщившегося казаться военно-историческим. Валентину Ивановичу будет уже под девяносто, но он напористо и воодушевленно расскажет молодому журналисту, в какое время ему довелось жить, как ковался ракетный щит Страны Советов и как толково Лаврентий Павлович организовал рабочий процесс. Интервью пройдет незамеченным, но лет через семь Андрей увидит анонс ток-шоу «Берия: кровавый палач или эффективный менеджер?», вспомнит свою статью и устыдится. К тому моменту сам Валентин Иванович уже пару лет как торжественно упокоится на Новодевичьем кладбище — хотя умри он двадцатью годами раньше, похороны были бы попышней.

Заведующая все-таки ошиблась: пяти-шести недель Оленька не вылежала, родила через четыре, в самом конце декабря, — вполне, впрочем, здорового, крепкого малыша. Володе позвонили в учеб-



ную часть, поздравили с сыном и строго-настрого наказали раньше завтрашнего дня не приходить: к роженице все равно не пустят, и даже к окну она сегодня не подойдет. Володя хотел было бежать искать Женю, но сообразил, что не знает, в каком корпусе мединститута у нее сейчас занятия. По дороге домой зашел в винный, долго выбирал между водкой и бутылкой фруктового вина; вспомнив, что Женя водку не пьет, взял вино.

Вечером они выпили эту бутылку, почти не закусывая. Женя быстро опьянела и, только когда оставалось на самом доньшке, вспомнила, что забыла сказать самый главный тост. Подняв стакан с буроватой жидкостью, она торжественно произнесла:

— Ну а теперь — за здоровье маленького Бориса! С лица Володи сбежала улыбка.

— Его не будут так звать, — сказал он.

— Почему? — спросила Женя и даже почти протрезвела от удивления.

— Потому что я не хочу. — И Володя поставил недопитый стакан на стол.

— Хорошо, — сказала Женя, — пусть тогда будет Валера. Это устраивает?

— Конечно, — ответил Володя и сам провозгласил: — За Валеркино здоровье!

И когда они выпили остатки вина, Женя подумала: да, она все решила, она не передумает, но все же как ей будет не хватать этих вечеров за круглым столом, особенно вот этих, последних, когда они с Володей вдвоем, только он и она.

Туманным декабрьским утром Женя и Володя стоят у окон горбольницы. Зябко, с неба крупными хлоп-

пьями падает белый липкий снег. Время от времени Володя прикладывает руки ко рту и что есть силы орет: «ОЛЕНЬКА, ОЛЕНЬКА!» — но потом начинает кричать просто «ОЛЯ! ОЛЯ!» — так короче, и сейчас в снегу он напоминает Жене белого медведя, добродушного белого медведя из какого-нибудь мультфильма; он кричит «ОЛЯ!» снова и снова, и наконец через полчаса Женя замечает за стеклом второго этажа какое-то движение, а потом створки распахиваются и появляется Оленька — осунувшаяся и сияющая от счастья новым, незнакомым Жене радостным светом. Оленька машет рукой, на мгновение исчезает, а потом возвращается со свертком, тычет пальцем куда-то вглубь намотанных пеленок, но тут прибегает нянечка, пытается закрыть створки, и вдруг до Жени доносится слабый *мяв*, будто в Оленькином свертке не мальчик, а котенок. Не сводя глаз с закрывшегося окна, Женя берет Володю за руку. Его ладонь — теплая и шершавая, и неожиданно Володя крепко, почти до боли, сжимает холодные Женины пальцы. Женя стискивает его руку, а в ее ушах все еще звучит слабый детский вскрик:

И вдруг она понимает, понимает пронзительно и обреченно: все уже случилось, случилось прямо сейчас, случилось, стоило ей услышать этот голос, жалобный и беззащитный. Да, она полюбила этого младенца, этого ребенка, этого мальчика, полюбила сразу и навсегда.

Растерянная Женя стоит, стоит, держа за руку чужого мужа, под мягко опускающимся снегом, в белом больничном саду, стоит и повторяет: *Валера, Валера*, словно хочет поскорее привыкнуть к этому имени.

Июльским днем 1949 года Женя и Володя сидели на берегу Волги. Володя нервно теребил в руках папиросу «Казбек», никак не решался зажечь. Потом сунул обратно в мятую пачку (джигит на фоне горы — очевидно, Казбека), повернулся к Жене и снова заговорил. Женя никак не могла привыкнуть к этому его новому голосу — вялому, тихому, слабому. Раз за разом он повторял, что он устал, что за семестр ни разу нормально не подготовился ни к единой лекции, что в сессию — *ты представляешь, Женька?* — заснул, слушая ответ на экзамене по органической химии. Было очень стыдно, до сих пор стыдно... на секунду закрыл глаза — и все.

Женя слушала, кивая и не переставая покачивать коляску — вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Валерик, слава богу, лежал тихо, возможно, даже спал, но Женя знала: стоит остановиться, и он тут же проснется, разрыдается, *устроит концерт*.

Я ведь не жалуюсь, говорил Володя, я ведь понимаю, что и тебе, и, главное, Оле еще труднее! Но ничего не могу поделать — иногда такое отчаяние... а что мы будем в сентябре делать?

Женя кивала, баюкая Валерика: большая взъерошенная птица машет головой. Ей казалось, она может заснуть прямо здесь — слушая Володю, качая коляску. Последние месяцы ей постоянно хотелось спать... им всем постоянно хотелось спать.

Кроме Валерика.

Он почти не спал днем, а если засыпал ночью, то просыпался с зычным, требовательным воплем, и разбуженная Женя нет-нет да вспоминала тихий

беспомощный голосок, донесшийся со второго этажа роддома. Может, думала она, младенца незаметно подменили? Вместо тихого подсунули громкого, вместо спокойного — буйного? А может, он специально тогда так тихонечко мявкнул, чтобы подцепить на крючок ее, Женю? Теперь-то ей уже некуда деться, а ведь тогда она была готова уйти...

Это, конечно, глупости. Просто младенец родился слабым, силенок не было, а теперь вырос и окреп, ну и голос тоже — вырос и окреп. А все эти мысли — «подменили», «он это специально» и все такое прочее... — бред, конечно. Она же не Оля, чтобы повторять чушь? Хотя можно ли Олю винить? Сначала — четыре недели в больнице, потом роды, хоть и на пару недель, но все же преждевременные. А затем первые две недели — ни капли молока! Оля совала сосок в рот рыдающему Валерику, теребила, сжимала и массировала большие груди, выпивала литр молока в день, но все напрасно.

Конечно, было специальное молоко из молочной кухни: его по утрам, еще до ухода на работу, приносил Володя. Медсестра, раз в неделю взвешивавшая Валерику, уверяла, что вес в пределах нормы, динамика у младенца хорошая, так что зря вы, мама, огорчаетесь. Для того и есть молочная кухня, чтобы такие, как вы... Договорить ей не удалось: услышав «такие, как вы», Оля разрыдалась.

После родов Оля вообще стала часто плакать. Однажды, вернувшись с занятий, Женя застала сестру в слезах над маленьким зеркальцем.

— Что случилось?

— Не получается, — всхлипнула Оля.

— Кормить не получается? А зеркало зачем?

— Да нет, какое там кормить. — Оля посмотрела в зеркало и дернула лицом. — Вот это не получается, ну, помнишь, я умела носом вот так делать?

Женя рассмеялась:

— Тоже мне, страшная беда! А я уже испугалась!

— Это тебе не беда, — с обидой сказала Оля, — потому что ты никогда так не умела. А я, между прочим, весь девятый класс на это потратила!

— Ладно, Оля, извини, — сказала Женя и вдруг поняла, что после рождения Валерика они больше не зовут Олю Оленькой, будто Володя, когда вызывал жену к окну роддома, дал ей новое имя, которое лучше подходит женщине, которой та стала теперь, после переезда в Куйбышев, жизни в общаге, беременности и родов.

Молоко появилось только в конце января — да так, словно у Оли внутри включился молочный завод, который весь этот месяц скрыто работал и накопил большой запас продукции. Теперь Оля кормила Валерика каждый час, иначе грудь не удерживала молока, и Женя то и дело замечала на платье сестры темные пятна.

— Я себя чувствую какой-то коровой, — жаловалась Оля. — Меня все время доят.

Медсестра посоветовала кормить младенца по расписанию, но Оля не выдержала больше одного дня.

— Нужно мне их расписание, — объяснила она Жене. — Валерик орет, мне мокро, ну его!

Через две недели такой жизни младенец вошел во вкус и уже сам ежечасно требовал еды, почти не делая перерывов на сон. Оля пыталась класть его

с собой в постель, чтобы Валерик ел, не просыпаясь, но тут взбунтовался Володя.

— Пойми, — сказал он Оле, — я отлично могу поспать на полу, но вдруг ты задавишь его ночью? Ну, спросонья?

Оля, кажется, обиделась («Как это мать может задавить младенца, что еще за глупости?»), но брать Валерика в кровать перестала — и тогда перестали спать все трое: каждый час их будил детский крик — громогласный, исполненный мощи и уверенности в своих правах. Оля весь день сомнамбулой ходила по квартире и что-то бормотала себе под нос. Она похудела, кошачья грация исчезла, будто Оле вновь стало пятнадцать, но вместо былой кукольной красоты она обрела какой-то странный декадентский надрыв: лицо осунулось, под глазами лежали черные круги.

Володя предложил спать по очереди, а вместо груди давать Валерику бутылочку с детским питанием или сцеженным Олиным молоком, но Валерик, который совсем недавно легко выдувал по сто пятьдесят грамм молочной смеси, теперь наотрез отказывался брать бутылочку. Оле опять пришлось кормить его самой, а остальным — просыпаться каждый час от истошного детского крика.

Когда студенческие каникулы закончились, Женя стала сразу после занятий бежать домой: ей казалось, пока Оля вдвоем с Валериком, с мальчиком что-нибудь случится: она спросонья его уронит или заснет и не услышит криков. Однажды Женя сказала об этом Володе, но он, приглушив свою привычную тревогу, только посмеялся: *дума-*

*ешь, легко его не услышать?* Женя ненадолго успокоилась, но однажды еще в подъезде была встречена требовательным воем. Она влетела в квартиру: Оля с неподвижным лицом сидела у окна, Валерик надрывался в кроватке.

— Что случилось? — спросила Женя.

— Ничего, — ответила Оля, пожав худыми плечами, — мне просто все это надоело. Покоормила три месяца — и хватит. Пусть ест что хочет. Хоть из молочной кухни, хоть откуда. А я коровой больше работать не буду.

— Это как? — не поняла Женя.

— Очень просто. Не буду кормить — и все. Говорят, через несколько дней молоко само пропадает.

Вечером Володя попытался Олю уговорить, но она дернула щекой и отвернулась к окну:

— Если хочешь, сам корми. Или вон пусть Женька покормит. У нее сиськи тоже есть, хоть и маленькие. Но, говорят, можно рассосать.

Женя почувствовала, как слезы приливают к глазам.

— Я бы рада... — начала она, но замолчала, чтобы не разрыдаться.

Всю ночь Женя и Володя по очереди укачивали истошно орущего Валерика. Оля лежала лицом к стене — наверное, тоже не спала, но виду не подавала. Утром Женя прибежала к открытию молочной кухни и — о радость! — когда она вернулась, Валерик взял бутылочку.

— Я его переупрямила, — сказала Оля, по-прежнему глядя в стену.

В ее голосе Жене послышалось мрачное удовлетворение, смешанное с каким-то непонятным

отчаянием. Со спины Оля напоминала поломанную куклу, брошенную в углу детской.

— Вот и хорошо, — сказал Володя ненатурально бодрым тоном, — теперь сможем дежурить посменно и хоть немного высыпаться.

— На меня не рассчитывайте, — сказала Оля, — я свое отдежурила.

Женя рассмеялась: она хорошо знала Олины интонации и все-таки надеялась, что это шутка.

Но нет, Оля не шутила: она перестала подходить к Валерику и теперь весь день лежала лицом к стене, ковыряя пальцем узор на обоях. Диван стоял как раз напротив листа, испорченного Володей при ремонте. Дырка разрасталась с каждым днем, и, глядя на нее, Женя думала, что надо было купить обоев про запас, чтобы не переклеивать все.

Дни, когда она жила вдвоем с Володей, Женя старалась не вспоминать. Это было давным-давно и казалось вымыслом, почти сказкой. Целый месяц вдвоем с мужчиной, которого любила, почти как муж и жена. Это было чудо. Оно случилось однажды — и больше никогда не повторится.

Как-то раз Женя задремала, кормя лежащего в кроватке Валерика, — совсем ненадолго, возможно, всего на мгновение, но и этого мгновения хватило, чтобы увидеть: они с Володей стоят посреди разложенных обоев, только на этот раз обнажена по пояс Женя, Володя тянется губами к ее соску, а она обхватывает руками его голову, изо всех сил прижимая к груди.

Валерик уронил соску и заплакал, Женя очнулась. Оля с дивана смотрела пристально, подозре-



тельно, и на секунду Женя испугалась, что сестра увидела этот сон вместе с ней.

— Извини, Валерик, я тут вздремнула, — нервно улыбаясь, сказала она и поправила соску.

Оля молча отвернулась — она вообще теперь мало говорила.

Приближалась летняя сессия. В любую свободную минуту — то есть когда не спала и не нянчила Валерика — Женя открывала учебник, но обычно засыпала, не прочитав и полстраницы. Разрываясь между ребенком и институтом, она снова и снова винила себя за лень и слабоволие.

В апреле Женя заметила, что не всегда помнит, где была только что: так она догадалась, что иногда засыпает на ходу. Дни проходили в тревожном сумраке между сном и явью, моменты осознанного бодрствования были редкими и внезапными, во время одного из них она увидела, что уже несколько минут тычет соской в раскрытый учебник анатомии, и тут же разрыдалась так громко, что Валерик из кровати посмотрел на нее с удивлением и, кажется, даже с уважением.

Но, может, почудилось.

С кухни прибежал Володя, обнял, погладил по взъерошенным волосам, спросил:

— Ты что, боишься не сдать сессию?

Женя кивнула, всхлипывая.

— Ну, так не сдавай, — сказал он, — возьми академ. Зимняя сессия у тебя неплохая, объяснишь ситуацию, все поймут. В крайнем случае — я позвоню.

— А так можно? — спросила Женя, боясь спугнуть растекавшуюся по телу теплую спокойную волну.

— Конечно, — пожал плечами Володя. — Извини, я раньше не догадался сказать. Тоже не выпаяюсь, наверное.

За две недели Женя обо всем договорилась в деканате, и оттого, что больше не надо было думать об экзаменах, весь май ее переполняло счастье — немного неуместное, если учесть, что Володя до позднего вечера принимал зачеты и лабораторные и спали они по-прежнему несколько часов в день.

Потом наступила сессия, за ней — каникулы. Вдвоем справляться с Валериком стало куда легче, но Женя знает: осенью Володя вернется в свой институт, и потому сейчас, когда он говорит «я просто не понимаю, что мы будем делать в сентябре», Женя поднимается и отвечает:

— Пойдем домой. Нам Валерика через полчаса кормить.

Ей кажется: еще одно слово о сентябре — и она разрыдается.

Они идут вдоль берега Волги, левой рукой Володя катит коляску, а правой неожиданно берет Женю под руку.

— Спасибо тебе, — произносит он. — Я думал, если об этом не поговорю, то просто сойду с ума.

Последние недели Оля вела себя так тихо, что, вернувшись, они даже не сразу понимают, что ее нет дома: только старый халат валяется на диване, там, где обычно лежит она.

— Господи, господи, — нелепо, по-стариковски причитает Володя, — куда она ушла, в чем же она ушла?

Женя открывает шкаф: все на месте, кроме самых любимых Олиных туфель и купленного про-

шлым летом шелкового платья, изумрудно-зеленого, с огромными красными маками.

— Господи, — растерянно повторяет Володя, — что ж она вырядилась, как в театр? Где нам теперь ее искать?

— Может, заявить в милицию, пусть помогут? — предлагает Женя.

— Нет, милиции не надо, — неожиданно спокойно отвечает Володя. — Только милиции нам и не хватало.

Надеть шелковое платье! Самые любимые туфли! Расчесать волосы, чтобы спадали на плечи светлой волной! Взять с собой только ключи, ни коляски, ни сумки... выйти на улицу, просто так, без цели.

Что может быть лучше!

Оля, бывшая Оленька, идет по городу, и ей кажется — она в Москве. Вместо псевдорусских башенок Драмтеатра она видит Исторический музей, вместо цилиндрического клуба имени Дзержинского — клуб завода «Каучук», а скупые конструктивистские плоскости превращают Дом Красной армии в ее дом на Усачевке.

Родная Москва прорастает сквозь Куйбышев, превращая город изгнания в вечный и неизменный город Олиной судьбы, город, где она была счастлива, беспричинно, безответственно счастлива, не зная тогда, что будет изгнана, что будет мыкаться по общежитиям, не зная, что чужое существо, по какой-то нелепой ошибке считающееся ее сыном, заявит права на ее тело и ее жизнь.

Оля вспоминает последние полгода — ей кажется, это был один безбрежный черный день, глухой,

как беззвездная ночь, пронизанный отчаянием, прочерченный болью.

Но сегодня светит солнце, ветер развеивает светлые волосы, можно забыть прошлое и глазеть по сторонам. И вот шаг за шагом этот город, весь год казавшийся Оле нелепостью, недоразумением, местом добровольной ссылки, предстает перед ней таким, каким его любят местные: полузабытой, почти мифической Самарой, сквозь которую прорывается к будущему новый Куйбышев-град с его конструктивистскими зданиями, научными институтами, промышленными производствами. Не город купцов, а город ученых, рабочих, врачей. Тайная, запасная столица СССР, не случайно принявшая правительство во время войны.

Оля идет по набережной, прохожие улыбаются, она улыбается в ответ. Когда-то, давным-давно, именно так она и познакомилась с Володей. Она была тогда совсем молодой и глупой; сегодня она бы ни за что не позвала незнакомца к себе домой.

Оля смотрит, как лучи заходящего солнца окрашивают багровым низкие облака, и вдруг понимает: уже настал вечер. Пора возвращаться, говорит она себе и идет домой — небрежно и легко, словно юная девушка.

Оля открывает дверь: Женя кормит Валерика, Володя сидит за столом, подперев круглую голову руками, и встает, завидев Олю:

— Боже мой, где ты была?! Я полгорода обегал...

— Я просто гуляла, — улыбается Оля. — Давно никуда не выходила, совсем забыла про время. Прости, не сообразила, что надо было сказать...

Володя подбегает к ней — на мгновение Оля пугается: сейчас ударит! Но нет, он обнимает ее, прижимает к себе, тычется лицом в светлые выющиеся локоны — и вдруг плачет, горько, навзрыд, почти как голодный Валерик.

— Так вот наш сын в кого! — Оля тоже обнимает Володю. — Не плачь, что ты. Все же хорошо, ничего не случилось.

— Я так испугался, — сквозь всхлипы говорит Володя, — я думал, ты...

Женя, продолжая кормить Валерика, молча выходит на кухню. Володя и Оля опускаются на диван, не размыкая объятий.

— Мне просто хотелось погулять, — говорит она. — Я чувствовала себя такой никчемной последнее время... а теперь все хорошо.

— Оленька, любимая, — отвечает Володя, вытирая лицо, — конечно, я так рад, что все хорошо, это здорово, что ты погуляла. Я просто хотел сказать, ну, что когда ты лежала здесь на диване, это тоже было хорошо, ты же была со мной, ты была с нами.

— Какая польза, что я была с вами? — вздыхает Оля. — Я же видела, вы с Валериком убивались день и ночь, а я...

— При чем тут польза? — говорит Володя. — Разве от красоты должна быть польза? Какая нам польза от пения птиц? От заката? От синего неба?

— Но я же не небо и не закат, — улыбается Оля.

— Для меня ты — и птицы, и закат, и небо, — отвечает Володя. На лице его нет ни тени улыбки, а глаза серьезны и печальны. Он молча смотрит на Олю, потом добавляет: — Ты делаешь мою жизнь счастливой просто тем, что ты со мной.

Женя сидит на шаткой кухонной табуретке, спиной к стене, чтобы не упасть. Одной рукой она держит Валерика, другой сует ему бутылочку. Валерик сосет плохо, вертит головой.

Оказывается, очень неудобно кормить младенца, сидя на табуретке.

Женя старается не слушать, но до нее все равно доносятся всхлипы и Володины слова про любовь, про счастье, про *мне никого не нужно, кроме тебя*. Что отвечает Оля, Женя не разбирает, да оно, наверное, и к лучшему.

Наступает тишина, младенец, выпустив соску, глубоко и сосредоточенно моргает, как всегда перед сном, и Женя тихонько его укачивает, но тут из-за стены доносится тот давний *скрип-крип, скрип-крип*, впервые за много месяцев, первый раз после рождения Валерика.

Оказывается, с младенцем на руках очень неудобно затыкать уши, понимает Женя и удивляется внезапному горькому вкусу во рту.

Но она не двигается с места и только укачивает Валерика, невольно все точнее попадая в такт звукам из комнаты.

\* \* \*

Когда ясным вечером 1954 года Женя вышла из массивных дверей мединститута, двое молодых людей ждали ее у подножия высокой лестницы. Один, невысокий кудрявый брюнет в легком парусиновом костюме и светлых сандалиях, ей помахал.

— Привет, мальчики, — помахала в ответ Женя, — как там ваши самолеты?

— Первым делом, первым делом сдать зачеты, — пропел его спутник на мотив из «Небесного тихохода», — ну а самолеты могут подождать.

— Без рифмы не смешно, — сказал брюнет.

— Тут есть рифма, просто она в первых строчках, — ответил второй юноша. — Дай минутку, и я придумаю.

— Похоже, Игорю надо было идти в литературный институт, — сказала Женя.

— Если такой есть, — заметил брюнет.

— Точно есть, в Москве. Я слышала, когда там жила.

Женя легко произносит эти слова, но уже сама не верит, что когда-то жила в Москве. Это было давным-давно, с какой-то другой девушкой. У нее даже не осталось там никаких знакомых, если не считать тети Маши, с которой они исправно поздравляют друг друга с Новым годом и Днем Революции. Странная она: когда Женя написала, что у тети Маши родился внук, та не только не предложила приехать, но даже не попросила прислать фотографию и ни разу за шесть лет не спросила, как у него дела. А могла бы, хотя бы из вежливости.

— Потому что мы с тобою не пилоты, нынче госы мы готовимся сдавать, — пропел Игорь, и его приятель тут же откликнулся:

— Первым делом, первым делом сдать зачеты, ну а самолеты могут подождать!

— Да мы с тобой просто как Лев Мирон и Марк Новицкий, — рассмеялся Игорь.

— Как Тарапулька и Штепсель, — сказала Женя.

— Как Миронова и Менакер, — предложил брюнет.

— Вот только зачеты мы уже сдали, — заметил Игорь, — да и госы тоже.

— Значит, Игорю придется сочинить куплеты про распределение, — сказала Женя, потому что не было уже сил обманывать саму себя: заседание комиссии назначено на эту пятницу, и, выходит, все будет решено через два дня.

Она много раз представляла этот день: вот комиссия объявляет распределение, Женя расписывается в приказе, проходит длинным коридором мединститута, пытаясь вспомнить карту: далеко ли? Сколько часов на поезде? А на самолете? Летают ли туда вообще самолеты? — потом приходит домой и говорит: «Ну что, ребята, давайте прощаться? Меня распределили в...» — и называет какой-нибудь город, которого Оля не знает совсем, а Володя, даже если знает, не может вспомнить, где в Советском Союзе он затерялся.

Обычно, дойдя до этого места, Женя начинала жалеть себя так, что слезы щипали в носу, словно пузырьки от шампанского. И сейчас, предлагая сочинить куплеты про распределение, чувствовала себя очень смелой — вдруг скажет и тут же разрыдается?

Но нет, она улыбалась, глядя, как Гриша хмурит лоб, крутит свои черные кудри и глядит вдаль, изображая Пушкина, именно в этой позе растиражированного в миллионах репродукций и тысячах фарфоровых статуэток.

В конце концов Гриша взмахнул рукой и торжественно продекламировал:

— Оставьте распри и деление, нас ждет одно распределение.



— Вот и неточно, — заметила Женя, — у каждого распределение свое.

— Но у каждого — одно, — возразил Гриша. — Как судьба: у каждого своя и у каждого одна.

Так, подшучивая друг над другом, они дошли до набережной.

— Ну, мне пора, — сказал Игорь.

Женя заметила, что Гриша легонько кивнул в ответ, но, улыбнувшись, только помахала Игорю рукой.

— Мои приветы Владимиру Николаевичу, — крикнул тот, удаляясь.

— Передам, — прокричала Женя и, повернувшись к Грише, спросила: — Ну и что ты его отослал?

Игорь и Гриша были Володиными студентами, и Женя познакомилась с ними на новогоднем празднике, куда пришла с Володей и Олей. Она любила вечеринки авиаинститута — хотя бы за то, что именно там три года назад поняла, как любят Володю его студенты. В тот раз, на осеннем празднике в КуАИ, посвященном тридцать четвертой годовщине Октябрьской Революции, Володя стоял в плотном кольце третьекурсников, у которых в последнем семестре вел семинар по органическому синтезу. Затесавшись в их толпу, Женя сначала испугалась, что они будут говорить только о химии, но оказалось, что студенты — они и есть студенты: обсуждали Утесова и Уланову, подшучивали над каким-то Мензуевым — неизвестным Жене — и, конечно, друг над другом.

По дороге домой Женя спросила Володю:

— А почему они весь вечер вокруг тебя вились? У нас так делают, только если очень зачет нужен.

— С зачетами у меня это не помогает, — ответил Володя, — в этих делах я строг. Так что, видимо, им просто со мной интересно.

— Мне тоже с тобой интересно, — сказала Женя, — но не уверена, что я бы это поняла, если бы при первых встречах мы говорили о химии.

— Мы, кстати, говорили, — встряла Оля. — Помнишь, каучук и все такое?

Она обменялась с Володей полувзглядом-полуулыбкой: конечно, у них были общие, отдельные от Жени воспоминания.

— С тобой, может, и да, — сказала Женя, — а со мной точно нет.

— Так я же и с ними не говорю о химии, — ответил Володя. — Я их учу. Это совсем другое дело.

— Но ты их учишь химии?

— Я преподаю химию, а учу я — мыслить, потому что это единственное, чему можно научить. Можно преподавать физику, математику, немецкий язык, да хоть историю древнерусской литературы — тема не важна, важен метод и, как сказали бы немцы, рефлексия о нем. А поскольку для умного человека нет ничего интересней, чем мыслить, умным студентам со мной интересно. Вот и все.

— А меня ты тоже учишь мыслить? — спросила Оля. — Если да, мне кажется, у тебя не очень хорошо получается.

— Я тебя не учу, — сказал Володя, — я с тобой живу, а это разные вещи.

Женя хотела спросить: *а меня?* — но промолчала, потому что если Володя и учил ее чему-нибудь, то лишь во время их редких полусекретных встреч, о которых, по негласному уговору, они никогда не

упоминали при Оле. Не упоминали, но никогда и не скрывали, что проводят время вдвоем.

Это началось, когда Валерка был совсем маленьким: они выходили погулять, забирались в какое-нибудь тихое место, садились в беседку, на скамейку или просто на ступени. Женя качала коляску, а Володя рассказывал про институтские дела или о том, что недавно прочитал: он немного читал по-немецки, а в городском букинистическом магазине время от времени появлялись трофейные книги. Видимо, какой-то библиофил привез из Германии, а теперь распродал по одной.

Потом Валерка подрос (и незаметно для всех перестал быть Валериком, став именно что Валеркой, озорным и немного хулиганистым пацаном), и теперь Женя с Володей просто шли после работы в одно из своих привычных мест. Женя сама не могла бы объяснить, как они догадывались, что им снова пора встретиться, — интервалы бывали от месяца до трех (и три, конечно, выпадали на зиму, когда все равно не ясно, где можно спокойно поговорить).

Жене нравились эти встречи — еще и потому, что Володя никогда не жаловался на Олю. Конечно, как и любая другая пара, Володя с женой время от времени ссорились, и, живя с ними в одной квартире, Женя об этом знала, но, хотя она часто была на Володиной стороне, ей не хотелось обсуждать Олю у нее за спиной: она ведь и с Олей не обсуждала Володю. Пусть уж, говорила она себе, их ссоры будут только их, а меня не касаются.

Впрочем, одна из этих ссор Жене хорошо запомнилась: Оля хотела сшить себе платье (ей очень

хвалили портниху), Володя возражал, что платье слишком дорого для его преподавательской зарплаты. Оля наморщила носик — это умение давно к ней вернулось — и сказала, что вообще-то Володя видел, кого брал в жены. При жизни папы, добавила она, мама ни дня не работала и у нее было буквально все.

— Но и ты же знала, что я не в наркомате работаю, — ответил Володя.

— Да, но ты мог и дальше заниматься своей химией и стать, например, академиком, — сказала Оля. — А ты почему-то решил сделаться преподавателем провинциального института.

Володя промолчал, но через несколько дней спросил Женю, как она думает, не нужен ли в мед-институте преподаватель химии? Так Володя дополнительно взял полставки и стал приходить домой еще позже.

Зато Оля могла шить себе любые платья на свой вкус.

Кроме ссор с Олей была еще одна тема, которой Володя никогда не касался, хотя Женя несколько раз пыталась его разговорить. Ни разу за все годы он ни слова не сказал ни о своих родителях, ни о родном городе... да и вообще — не вспоминал о том, что было до его поступления на химфак. Казалось, будто Владимир Дымов появился ниоткуда, соткавшись из летнего московского воздуха 1934 года.

Однажды Женя поняла, что в Куйбышеве он и о своем московском прошлом не говорит: кто-то из его студентов, придя в гости, искренне удивился, когда Женя сказала, что познакомилась с Володей в Москве.

— А как вы там очутились? — спросил молодой человек.

— Мы там жили, — ответила Оля, — все трое.

Глядя на озадаченное лицо собеседника, Женя не могла не рассмеяться — да и вообще, когда Володины студенты приходили в гости, ей часто бывало весело. Так Женя и познакомилась с Игорем и Гришей, и вскоре, незаметно для себя, они подружились: все трое студенты, примерно одного возраста, с воспоминаниями о военном детстве и мечтами о грандиозном будущем. Гриша хотел строить космические ракеты, Игорь — разработать принципиально новый тип топлива, а Женя — всего-навсего стать великим детским врачом.

Они были молоды, им казалось, их ждет волнующая, счастливая жизнь... и с каждым годом воспоминания о войне, голоде и смертях все реже и реже будили их по ночам. Им было легко вместе, они много смеялись — и вот почему светлым вечером 1954 года Женя с удивлением смотрит на Гришу, непривычно сосредоточенного и серьезного.

— Как ты думаешь, — говорит он, — куда тебя распределят?

— Понятия не имею, — отвечает она. — Скорее всего, в какую-нибудь провинцию. Надеюсь, что не в глухую деревню... туда все-таки обычно распределяют мальчиков. А тебя?

— Наверно, я могу выбирать, — отвечает Гриша. — Я отличник и к тому же — комсорг курса.

— И что ты выберешь? Казань, правильно?

Женя горда, что вспомнила, где ведутся самые главные ракетные разработки, но Гриша молчит,

задумчиво глядя, как мимо них неспешно течет Волга.

— У тебя же распределение в эту пятницу? — спрашивает он.

— Ну да, — кивает Женя.

— А у меня — в понедельник.

— На два дня больше времени подумать?

Женя улыбается, но Гриша серьезно смотрит вдаль, а потом говорит:

— Я выберу тот город, куда распределяют тебя.

«Почему я считала, что люди признаются в любви словами, специально придуманными ради этого признания?» — спрашивает себя Женя. Зачем обязательно говорить эти три затертых слова — «я люблю тебя»? Сегодня Грише было достаточно сказать, что он поедет туда же, куда и я, — и вот я стою перед ним, дура дурой, словно он, например, опустился передо мной на колени, как Онегин перед Татьяной. Мне все равно нечего ему сказать.

Гриша переводит глаза с реки на Женю, и, краснея под его взглядом, она говорит:

— Спасибо.

— Ты знала?.. — спрашивает он.

— Это важно? — отвечает Женя, а сама думает: знает ли Володя, что я люблю его столько лет? И если знает, то когда догадался? Когда нас пришло друг к другу на восьмисотлетию Москвы и сердце чуть не выскочило у меня из груди? Когда я сказала, что поеду с ними? Когда осталась с ними жить, чтобы растить их ребенка?

— Я знаю, что ты любишь другого, — говорит Гриша, — и это тоже неважно. Важно, что я люблю тебя.

А еще важно, что тот, кого я люблю, останется здесь и со мной не поедет, говорит себе Женя. Я давно знаю, что в этом году мы расстанемся, но стараюсь об этом не думать. Я училась здесь семь лет, и да, я знала, что потом должна буду уехать. Думала отработать распределение и вернуться через три года, но, может, уже хватит возвращаться? Может, действительно уехать с Гришей? Валерке шесть, у Оли с ним все нормально, хотя я-то помню, что она выделявала первый год. А когда я говорила себе, что они не справятся без меня... так на самом деле я уверена — Володя справится. И с Олей, и с Валеркой — со всем справится.

А вот я... как я справлюсь без них?

Но тут Гриша обнимает Женю за плечи и мягко прижимается губами к ее губам.

Вот он, Женин первый поцелуй, — прозрачным летним вечером, на берегу великой реки, с человеком, который готов отправиться с ней на край света.

Женя бы предпочла, чтобы это был человек, с которым на край света готова отправиться *она*. Но Гришины объятия так нежны, а губы так упруги и настойчивы, что Женя обхватывает его руками, закрывает глаза и отвечает на поцелуй.

Да, Женя много раз представляла себе этот день: комиссия, длинный коридор мединститута, сдержанное прощание, слезы шибают в нос прокисшим новогодним шампанским. Она не раз разыгрывала эти сцены в воображении и уверена: реальность не принесет никаких сюрпризов.

И вот он теперь, ее сюрприз, ждет у подножия лестницы, нервничает, жадно затягивается — и отбрасывает папиросу, стоит Жене появиться.

Уже давно Гриша узнает Женю в любой толпе: быстрая подпрыгивающая походка, вечно взлохмаченные волосы, острые коленки, локти торчат в стороны, словно Женя добавляет себе объема, хочет казаться больше. Кошка поднимает дыбом шерсть, воробей топорщит перья, а его любимая лохматит волосы и топорщит худые локти. Она сбегает навстречу, и Гриша спрашивает:

— Ну, куда?

— Грекополь, — отвечает Женя, привыкая к тому, что теперь на целых три года это будет ее адрес.

— Ну, хорошо... тепло, море.

Звучит немного растерянно, нет? Женя смотрит ехидно, улыбается:

— Похоже, ты надеялся услышать «Москва» или «Ленинград».

Конечно, она шутит... но если Гриша в самом деле собирается жить с ней — пусть привыкает.

— Нет, — отвечает он, — я надеялся услышать «Чукотка» или «Улан-Удэ». Если не распределят, я туда в жизни не попаду.

Они смеются, и на этот раз Женя первая тянется к его губам, вот так, прямо у входа в институт, где она училась семь лет! Теперь она взрослая свободная женщина, может целоваться где хочет и с кем хочет!

А внутри — никаких слез, никакой жалости к себе. Выходит, поцелуи хороши даже без любви... интересное медицинское наблюдение, надо бы ис-



следовать... но только практически, практически, без теоретической зауми, лучше вот как сейчас... И тут Гриша скользит поцелуем по ее щеке, поднимается к уху и шепчет: «Я люблю тебя»...

Да, все-таки трудно обойтись без этих слов, думает Женя и молча закрывает Гришин рот поцелуем.

Оля выглянула в окно: шестилетний Валерка вместе с соседским Пашей по-прежнему ковырялся в большой куче песка. Он, конечно, хотел убежать вместе с другими ребятами купаться на Волгу, но Оля ему запретила, мол, подрасти еще да научись как следует плавать. К тому же Люська говорила, что после того, как у Ставрополя начали строить плотину, все течения Волги изменились и даже опытные пловцы иногда попадают то в водоворот, то в омут, которых раньше отродясь не было. Оля Люське верила, не зря же та обшивала не только актрис из Драмтеатра, но и всех горкомовских жен — одним словом, была в курсе всего.

Из ванной, до пояса завернутый в полотенце, вышел Володя. Капли воды стекали по груди — голову он почему-то никогда не вытирал. Оля подошла и прижалась к мужу, влажному после душного, жаркого воздуха ванной. Володя поцеловал Олю в макушку, туда, где расходились светлые вьющиеся пряди, осторожно обнял рукой за плечи. Ему казалось, что в такие моменты в глубине Олиного тела раздается тихое урчание или мурлыканье — короче, звук, который издает довольный котенок, когда легонько почешешь ему то местечко на шее, где шерстка гуще всего. Володя прислушался, но,

как всегда, ничего не услышал. Они еще постояли, обнявшись, а потом он сказал:

— Ну, давай я оденусь, а то Женя скоро придет.

Женя пришла через полчаса, и двигалась она как-то по-особому легко, быстро, счастливо. Даже волосы, густые и черные, как беззвездная ночь, были растрепаны сильнее, чем обычно. Хотя, казалось бы, куда сильнее? Оля и так в глубине души была уверена, что вокруг Жени вечно дует какой-то особый, только ей предназначенный ветер, — у всех девушек нормальные прически, а у Жени... стоит ей причесаться, как через десять минут буквально не пойми что, смотреть стыдно.

— Ну как? — спросил Володя. — Распределили?

Женя счастливо улыбнулась, и Оля подумала: «Неужели в Москву?» За все эти годы сама она так ни разу даже не съездила в гости: сначала Валерка был маленький, потом, хотя Володя и работал на двух работах, не было денег... а может, сама Оля боялась этой поездки. Да и где бы она остановилась: у подружек, с которыми только и общего, что годоводные открытки? У мамы? Но до сих пор при одном воспоминании о том самом Новом годе что-то скреблось внутри, словно просыпался какой-то мерзкий зверек, обычно дремавший, — не то мышь, не то крыса.

— Распределили, — кивнула Женя. — В Грекополь.

— О, прекрасный город, — с деланой бодростью откликнулся Володя. — Тепло, море...

На море Оля не была еще с «до войны», когда папа возил их с мамой на Черное море, в санаторий Наркомтяжпрома. Олю — маленькую, пухлую,

светлокожую — вечно загоняли в тень под большие зонты, но она все равно норовила убежать и плескаться в полосе прибрежной пены, куда равномерно, как стрекот ходиков, накатывали волны — маленькие, как раз по пояс. А вот Женя, вспомнила Оля, кажется, на море вообще не была.

— Море — это здорово, — сказала она. — Даже завидую тебе немножко!

— Так приезжайте в гости! — Женя снова улыбнулась. — Квартиры мне сразу не обещают, но, говорят, там всегда можно снять комнату на неделю-другую.

— А может, действительно? — Оля посмотрела на Володю. — Возьмем Валерку и поедem вот прямо в августе, а?

— Боюсь, дороговато выйдет, — сказал Володя.

Он явно не хотел сейчас об этом говорить. Спрошу еще раз вечером, подумала Оля, и тут Валерка застучал в квартиру — до звонка он еще не дотягивался, поэтому, вернувшись со двора, просто колотил кулачками и коленками в дерматиновую дверь. Дерматин кое-где уже лопнул, из дыр выпирала вата неприятного желтого оттенка.

Женя, как всегда, первой побежала открывать. Оля услышала, как она ойкнула.

— Ну ты и поросенок! Где же ты нашел такую лужу?

Валерка, перемазанный жидкой грязью весь, от сбитых коленок до оттопыренных ушей, пустился в путаные объяснения: если он и испачкался, то не нарочно, и вообще, он спасал... еще не придумал кого, но точно спасал... из той самой лужи! Но пока спасал, он совсем не испачкался, а вот уже потом

его встретили хулиганы и бросили в другую лужу, точно такую же, но еще глубже и грязнее, поэтому во второй раз... но тут Женя наконец загнала его в ванную, так и не услышав конец истории.

— Как Валерка без тебя будет? — спросила Оля. — Он же тебя с рождения знает!

— Уж как-нибудь, — ответила Женя, и Оля впервые подумала: а я-то как?

Голодная и исхудавшая Женька появилась у них на пороге как раз в тот день, когда у Оленьки случились первые месячные. В отличие от многих сверстниц, испугаться она не успела: стоило ей закричать, заметив кровь на простыне, как прибежала мама и объяснила, что это нормально, что теперь Оленька почти взрослая, и та даже преисполнилась тайной гордости, сидела на диване торжественно и неподвижно, словно была драгоценной хрустальной вазой или дорогой фарфоровой куклой, какую она однажды, еще до войны, видела у одноклассницы Люси. А тут как раз появилась Женя — и больше не исчезала, всегда была рядом. Если бы Оля верила в ангелов, она бы сказала, что ангел-хранитель послал ей Женю, чтобы та сопровождала ее, Олю, в настоящей, полной взрослых опасностей жизни. Впрочем, Оленька поняла это не сразу: вот еще, какая-то девчонка будет спать у меня в комнате! Это же моя комната, а мама меня даже не спросила! Да и потом, бывало, она шипела на Женю, а здесь, в Куйбышеве, та временами доводила Олю до истерики своей аккуратностью: чуть встанешь из-за стола — а она уже здесь, с мокрой тряпкой. Чуть выйдешь из кухни — уже шуршит веником. Даже удивительно, что такая

женщина не может уследить за собственными волосами!

Володя что-то сказал про моряков, а Женя ответила, что ее, скорее всего, ждут не моряки, а приехавшие на курорт дети, до волдырей сгоревшие на солнце и до поноса объевшиеся черешни, она все-таки педиатр, а не корабельный врач.

— Когда уезжаешь? — спросил Володя.

— Через две недели, — ответила Женя.

«Две недели!» — ахнула про себя Оля. Две недели — и все? И будем видеться только в отпуске? Как же так? Но вслух сказала только:

— Что же так быстро...

— Ну, у меня вещей немного. — Женя по-прежнему улыбалась, словно ее вовсе не печалила эта разлука, вдруг ставшая не просто неизбежной, а реальной, уже почти случившейся. — Помнишь, мы из Москвы как быстро собрались? А там, считай, всю жизнь прожили.

Да, из Москвы они собрались быстро, но из Москвы их прогнала Олина мать, из Москвы они бежали... а откуда бежит Женя? И зачем?

— Какая все-таки глупость это распределение! — сказал Володя. — Будто здесь не нужны детские врачи! В поликлинике каждый раз очередь на два часа: посадили бы еще пять человек — сразу стало бы легче!

Женя начала было объяснять, что в Куйбышеве-то каждый хочет работать, а врачи нужны всюду, не только в больших городах, и тут приятный холодок пробежал у Оли между лопаток, как бывало в те редкие минуты, когда в голову ей приходила стоящая, по-настоящему интересная

идея. Она задержала дыхание, а потом осторожно спросила:

— А вообще — что там есть, в этом Грекополе?

— Ну, военно-морская база, — сказал Володя, — порт.

— А какие-нибудь вузы?

— Не помню, — пожал плечами Володя. — Хотя, кажется, кто-то говорил, что года два назад там открыли филиал Одесского политеха.

Оля еще раз вдохнула, а потом спросила хитро и улыбочиво:

— А как ты думаешь, химики там нужны?

Они гуляли, обнявшись, сначала под старыми дубами в Загородном парке, потом вышли на набережную и, глядя на медленно плывущий пароход, пытались представить себе Грекополь, военные корабли на рейде, пенные барашки волн и блеск жаркого южного солнца. Было жарко, но Жене все равно было приятно тепло мужского тела, прижимавшегося к ней. Наверное, это и называется «быть влюбленной», думала она и была счастлива, как никогда в жизни, потому что все складывалось как в сказке, лучше, чем она могла даже мечтать. Она представляла, как они обустроятся на новом месте: Володе и Оле наверняка дадут квартиру, а у нее с Гришей будет своя комната в коммуналке, они станут ходить друг к другу в гости, по вечерам, как и прежде, сидеть за столом и по очереди читать вслух Чехова или Тургенева, только теперь с ними будет Гриша, и по выходным они все вместе побегут купаться на пляж.

Она так ясно видела череду этих картинок — вот они впятером пьют чай, а вот Валерка лезет в море

и Оля кричит ему: «Постой! Куда? Утонешь!», а вот они с Гришей обнявшись возвращаются от Оли с Володей к себе домой... неужели у нее появится свой дом? Не дом, конечно, комната, но все-таки... хотя, если она хорошо себя проявит, может, ей предложат остаться? И даже дадут им с Гришей квартиру как молодой семье? Тем более, если у них будет ребенок... а ведь у нас наверняка будет ребенок, подумала Женя и тут же спросила:

— А когда у нас будет ребенок, ты кого хочешь — мальчика или девочку?

Гриша взглянул удивленно, потом засмеялся, подумав: «Вот ведь, правду говорят, стоит поцеловать девчонку, она уже прикидывает, сколько у нас будет детей!» — но говорить вслух не стал, а ответил:

— Девочку. Чтобы на тебя была похожа. Маленькая и взъерошенная.

— А я, наверно, мальчика, — подумав, сказала Женя. — Мальчики мне как-то понятней. А может, я просто с Валеркой привыкла. Я тебе не рассказывала? До года Оля болела, почти им не занималась, я ему, можно сказать, вместо нее была. Поэтому и год пропустила.

— Будешь скучать по нему? — спросил Гриша.

— Почему? — удивилась Женя и тут же спохватилась: — Ой, главного же я тебе не сказала! Володя с Олей, они тоже едут в Грекополь! Там новый институт два года назад открылся, Володя уже звонил, ему сказали, что такие преподаватели, как он, там нужны до зарезу и они его готовы взять прямо со следующего семестра. Даже квартиру обещали, двухкомнатную, ну, из-за Валерки! Мы, наверное, все вместе поедем...

И тут Женя замолкает, потому что видит, как с каждым словом меняется Гришино лицо, сначала застывает улыбка, потом что-то происходит с глазами, они будто смотрят сквозь нее, а потом губы собираются в узкую щелочку и даже рука соскальзывает с Жениной талии.

— Он тоже едет? — спрашивает Гриша.

— Так я же говорю — да! — отвечает Женя, по-прежнему глядя на него изумленно, стараясь приглушить радость в голосе.

— Тогда ты будешь жить с ними, а не со мной.

— Да нет, почему? — Женя пожимает плечами. — Нам же дадут комнату.

— Да неважно! — говорит Гриша. — Ты все равно будешь с ними! Я никогда тебя не видел такой счастливой, как сегодня, даже удивился сначала, а теперь я понял — просто Владимир Николаевич тоже едет, вот и все.

— Да, и он, и Оля, и Валерка. — Женя все еще делает вид, будто не понимает, но с каждым словом злится все больше. — И что?

— А то, что ты любишь его, а не меня!

Гриша кричит, теперь они стоят друг напротив друга, Женя вздергивает остренький носик и снова повторяет:

— Ну и что? — на этот раз громче, резче, злее. — Тебе же это было неважно еще в среду?

— Было неважно, потому что он оставался здесь! А теперь — важно, потому что он будет с нами!

— При чем тут вообще Володя? — спрашивает Женя. — Оля — моя сестра, мы с ней вместе с тринадцати лет, ее мать меня спасла в войну, мы выросли вместе! У меня, может, вообще никого бли-



же Оли нет на свете! Конечно, я рада, что мы не расстанемся! Это, кстати, была ее идея! Они с Володей — моя семья, и если ты собираешься меня ревновать...

— Они — не твоя семья! — Гриша хватается ее за плечи. — Они — своя собственная семья, а ты, ты живешь у них как приживалка, как бедная родственница!

— Не смей так говорить! — Женя сбрасывает его руки. — Откуда ты только слов таких набрался! «Приживалка»! Идиот!

Они стоят молча, и Женя ждет, что Гриша опять закричит или скажет что-нибудь обидное, тогда она повернется и уйдет, да, уйдет сама, но Гриша вдруг отвечает ей тихо и очень ровно:

— Ты просто не понимаешь. Ты не видишь себя со стороны, а я, еще когда первый раз пришел к Владимиру Николаевичу, сразу понял. Ты когда на него смотришь — у тебя лицо меняется. Как будто внутри, я не знаю, лампочку включают. Не на его жену, не на их сына — на него. Если они поедут с тобой — ты никогда и никуда от них не денешься. Ты всю жизнь так и проживешь — их тенью.

— Но, может, я так и хочу? — говорит Женя. — Почему ты решаешь за меня, как мне жить?

— Потому что я не могу смотреть, как девушка, которую я люблю, гробит свою жизнь! — отвечает он. — И я не хочу ехать с тобой и смотреть на это каждый день.

— Значит, ты не хочешь ехать со мной? — спрашивает Женя.

— А ты — хочешь ехать со мной?

— Да! — говорит Женя. — Да, я — хочу!

— Тогда скажи им, чтоб они остались здесь!

Женя смеется:

— Ты с ума сошел! Они взрослые, самостоятельные люди, едут куда хотят! Как я скажу «оставайтесь»?

— А вот так, как я собирался завтра сказать «я не поеду в Казань».

— Собирался? — спрашивает Женя. — А теперь уже не собираешься?

— А теперь уже — нет, — говорит Гриша. — Если ты хочешь ехать с ними, поезжай без меня.

И когда он говорит эти слова, Женя понимает: все кончилось, все кончилось, не успев даже начаться, — новая прекрасная жизнь, жизнь, где она ходила обнявшись, целовалась на глазах у всех, где она была прекрасна, желанна и любима.

Она смотрит на Гришу и отвечает чужим голосом, холодным и спокойным:

— Значит, я поеду без тебя.

#### 4

Дорога домой — вязкая, асфальтовая, дымящаяся от жара — вела в гору. Над ней поднимался теплый воздух, от которого колебались городские дома на горизонте и кипарисы вдоль обочины. Папа говорил, что похоже устроен мираж в пустыне, вспомнил Валерка и тут же стал сам себе придумывать историю про отважных путешественников, караваны верблюдов и призрачные оазисы — сюжет, вполне подходящий и для такой

жары, и для того, чтобы дорога от моря не казалась долгой.

Валерка лизнул плечо — здорово, соленое по-прежнему. Ему нравилось, что, даже высохнув, он уносит с собой частичку моря, и поэтому он так не любил, когда тетя Женя загоняла его в ванную. Казалось, смывая соль, он предает море, избавляется от него. Если бы Валерка догадался рассказать об этом папе, Володя объяснил бы, что соль, смывая в душе, как раз возвращается в море, — самому Валерке эта мысль пришла в голову только через несколько лет, когда море интересовало его куда меньше медовокосой и круглопой Зиночки из дома напротив.

Валерка вошел в подъезд, от толстых обшарпанных стен дохнуло хоть и слабой, но прохладой. Между первым и вторым этажом он запустил руку в узкую щель под подоконником выходящего на улицу окна, подцепил головку ключа и вытащил его с ловкостью, давшей целым летом практики: еще весной Валерка догадался прятать ключ в подъезде, чтобы не таскать с собой на море. Если бы кто-нибудь узнал, Валерка объяснил бы, что боится потерять ключ или не хочет, чтобы его украли хулиганы, пока он будет плавать, но на самом деле ничего Валерка не боялся, а вот мысль, что у него есть собственный тайник, приятно грела — или, учитывая погоду, приятно охлаждала.

Вприпрыжку он взлетел еще на два этажа и, скользя ладонью по отполированным мальчишескими попами перилам, повернул на последний лестничный марш — и остановился.

На ступеньках перед их квартирой сидел незнакомец. Был он коротко, почти налысо пострижен, одет в великоватый, выдавший виды костюм и стоптанные, почти развалившиеся ботинки. Он сидел, широко расставив ноги и чуть наклонившись вперед, упираясь локтями в колени и переплетя пальцы.

Увидев эти пальцы, Валерка остановился. Они были страшные — корявые и покрытые коростой. Незнакомец посмотрел на мальчика из-под спутанных седых бровей, и Валерка увидел, что и глаза у него тоже страшные, совсем выцветшие, почти прозрачные и очень холодные.

— Проходи, не бойся, — сказал мужчина, и от этого «не бойся» у Валерки ледяной холодок заерзал туда-сюда вдоль позвоночника, не давая двинуться с места.

Валерка лихорадочно соображал, что делать: пройти мимо, будто он идет на другой этаж (а что потом? опять спускаться мимо страшного незнакомца?), или все-таки рискнуть и попробовать как ни в чем не бывало войти в квартиру, а потом запереться на замок, засов и цепочку и ждать папу. Мужчина, все так же глядя на Валерку, спросил:

— Ты не знаешь, мальчик, Владимир Дымов не в этой квартире живет?

— Я... я не знаю, — пролепетал Валерка и на всякий случай добавил: — Я не здесь живу, я подъездом ошибся!

Он бегом припустил вниз и остановился, только пробежав два пролета, — прислушаться, не гонится ли за ним незнакомец. На лестнице было тихо, лишь в ушах что-то грохотало. Валерка перевел дыхание и спустился во двор.

Во дворе было пусто, и Валерка, с опаской поглядывая на дверь подъезда, задумался, что же ему теперь делать. Мужчина — наверняка шпион; кем же еще мог быть такой страшный человек в приграничном городе? Высадился ночью на берег моря и теперь пришел, чтобы... чтобы что? Валерка еще раз лизнул плечо (все еще соленое) и сразу сообразил: чтобы похитить папу. Папа работает в институте и точно знает кучу секретов, которые шпион хочет у него выведать. Все бы у шпиона получилось, но он, Валерка, оказался начеку: сейчас он найдет милиционера, с ним вместе они арестуют шпиона, спасут папу, а Валерке даже дадут орден за бдительность и мужество.

Валерка уже собирался бежать на поиски милиционера, но тут сообразил: а что, если папа вернется домой, пока его не будет? Шпион застанет его врасплох! Значит, никуда бежать не надо, надо зайти, дождаться папу и предупредить. А дальше они вместе позовут на помощь.

Размышляя, положена ли ему будет медаль, если они поймут шпиона вместе с папой, Валерка спрятался за кустами жасмина, сел на корточки и стал ждать. Если бы незнакомец вышел, он бы не увидел Валерку, а самому Валерке в щелочку между густых, пряно пахнущих листьев хорошо были видны тяжелые, крашенные коричневой краской двери подъезда.

К счастью, папа появился совсем быстро. Валерка стрелой вылетел к нему из-за куста.

— О, кто это у нас тут? — сказал папа, но Валерка приложил палец к губам и зашептал:

— Говори тише, папа! У нас дома — засада!

— Какая еще засада? — Папа нагнулся к нему и сказал серьезно: — Ну, расскажи мне!

Валерка и рассказал: и про незнакомца, и что тот спрашивал о Владимире Дымове — *о тебе, папа!* — и о том, что надо бежать искать милиционера, арестовать этого человека, который наверняка шпион.

— Ну, ты напридумывал! — рассмеялся папа. — Пойдем теперь, посмотрим твоего шпиона.

— Ты что, без милиции нельзя! Вдруг он вооружен?

— Нет, в милицию мы не пойдем, — сказал папа. — Да и зачем? Мы же с тобой двое сильных мужчин, я вон почти всю войну прошел. Что мы, с одним каким-то хилым шпионом не справимся? — И он подмигнул.

Валерка предпочел бы все-таки поискать милиционера, но решил, что, если они задержат шпиона вдвоем, тогда им точно дадут по ордену.

Папа вошел в подъезд и начал подниматься, крепко взяв сына за руку. Валерке показалось, поднимались они целый час, если не дольше, но вот наконец третий этаж, еще один марш, и...

Незнакомец все сидел под дверью, даже позы не поменял. Но теперь, увидев папу, он поднялся («Сейчас как прыгнет!» — подумал Валерка), развел в стороны страшные руки и вдруг очень тихо сказал:

— Володька? Не узнаешь?

И тут папа сначала стиснул Валеркину руку, а потом, наоборот, отпустил и произнес каким-то незнакомым, почти механическим голосом: *Борька?.. Ты?* — а затем, отпихнув Валерку, бросился вверх.

Там он схватил незнакомца за плечи и еле слышно сказал:

— Живой! Борька, живой!

Еще девочкой Оля замечала, что мужчины на улице *смотрят* на нее иначе, чем на ее подруг. Оленька сжималась под этими липкими и зачарованными взглядами и поскорей спешила домой, но к своим двадцати восьми она привыкла к этим взглядам, даже обрела в них источник пьянящей бодрости. В легком платье проходя по южным, прокаленным солнцем улицам, она всей загорелой кожей впитывала струящийся вслед сладкий трепетный эфир невесомых мужских взглядов. Оля научилась распознавать тонкие вкусовые оттенки: когда она была с Володей, зависть, обращенная на него, приносила легкую нотку горечи; от толпы одиноких курортников несло адреналином охотничьего азарта, а сейчас, миновав двух стариков, сморщенных и почти дочерна высушенных временем и солнцем, Оля на мгновение ощутила слабый аромат увядающих цветов.

Год назад, чтобы не сидеть весь день дома, она пошла работать. Валерка подрос и уже не требовал постоянного присмотра, бытовые хлопоты по-прежнему брала на себя Женя, и Оля устроилась в регистратуру одного из приморских санаториев, где отдыхали красивые мужчины в форме и при погонах. Иногда Оля представляла: будь папа жив, она могла бы выйти замуж за одного из этих блистательных молодых офицеров. Это была приятная, дразнящая мысль, но все равно из всех мужчин Володя оставался для Оли самым желанным, самым умным и единственным — любимым.

В Грекополе Володя, казалось, обрел второе дыхание. Он как-то легко и почти незаметно защитил диссертацию, но главное, он не то чтобы нашел ответы на вопросы, которые когда-то его волновали, — как объяснить материал? как удерживать внимание аудитории? как спланировать курс? — но эти ответы вдруг стали неважны. Курс был сбалансирован, аудитория внимала, учебный материал сам ложился студентам в голову. Как Володя объяснил когда-то Жене, он не учил химии — он показывал, как устроено научное знание, как работает человеческое мышление. На его лекции стали приходить студенты с других факультетов; молодые коллеги, которых с каждым годом вокруг становилось все больше, все чаще обращались за советом. Володю выдвинули в методсовет института; он отказался, не желая разрушить волшебство своей работы грубым анализом. Увидев, что он не спешит делать карьеру, руководство политеха потеряло к нему интерес. Постепенно и сам Володя стал держаться с коллегами подчеркнуто вежливо, но отстраненно. Зато все студенты знали, что он никогда не отказывался быть научным руководителем ни на курсовых, ни на дипломах и делал эту неблагодарную работу на совесть, разбираясь в расчетах, указывая на теоретические огрехи и практические ошибки. Оля давно уже привыкла, что студенты и аспиранты ходят к ним без предупреждения: возвращаясь домой, она привычно прислушивалась, не раздастся ли чей-нибудь молодой голос, говорящий ее мужу непонятные слова на странном птичьем языке. Она быстро научилась распознавать в потоке речи от-



дельные термины — например, «катализатор» или «абсорбция», — но не пыталась понять, что они значат. Ей казалось, понимание разрушит волшебство, благодаря которому химические термины превращались в заклинания, а Володя возвышался до мага и кудесника.

Оля привыкла к неожиданным гостям, но сегодня, войдя в квартиру, остановилась в недоумении: на столе стояла початая бутылка, а Володин собеседник — крепкий жилистый старик с густыми бровями и седой щетиной — совсем не походил на студента. К тому же ее муж, обычно сдержанный и корректный, то и дело норовил хлопнуть старика по плечу и называл не иначе как Борькой. Увлеченные выпивкой и беседой мужчины не заметили Олиного появления, и, устав стоять в дверях, она в конце концов сказала: *Я пришла!* — постаравшись, чтобы это прозвучало саркастично и даже угрожающе: мол, я пришла, а вы что тут делаете?

Володя, однако, сарказма не заметил. Широко улыбаясь, он поднялся и, помахав Оле, представил ее:

— Это Оля, моя жена.

— Борис, — сказал старик, чуть приподнявшись.

— Очень приятно, — холодно ответила Оля.

— Это мой брат, — пояснил Володя, — он пока проживет у нас. Я думаю, положим его в Валеркиной комнате.

Оля заторможенно кивнула и пошла на кухню. Достала колбасу, нарезала и положила на тарелку. Некоторое время постояла неподвижно, а потом позвала Володю: мол, помоги мне здесь. Ког-

да он пришел, Оля заговорила тихим, шипящим шепотом:

— Ты с ума сошел? Какой еще брат? Я о нем вообще впервые слышу! Я с тобой десять лет живу, ты мне никогда ничего о своей семье не рассказываешь, и вдруг — нате! — это мой брат, он у нас поживет! А завтра у тебя сестра объявится или мама и тоже будут жить с нами?

— Нет у меня никакой сестры, — раздраженно ответил Володя, — а мама давно умерла. Через полгода после Бориного ареста.

Оля оцепенела.

— Так твой брат что, из этих? Из... репрессированных?

— Ну да, — сказал Володя, — я потому и не говорил.

И, подхватив тарелку с колбасой, направился в комнату.

Через час пришла Женя, и сразу оказалось, что в доме есть нормальная еда. Дымилась вареная картошка, сверкали свежевывмытыми боками помидоры, пупырчатые огурцы сами просились в рот.

— Похоже, я твоего пацана напугал немного, — сказал Борис. — Он, когда меня первый раз увидел, знаешь как стреканул!

— Он решил, что ты шпион, — пояснил Володя, — и собираешься меня похитить, чтобы выпытать Военную Тайну.

— Шпионом я уже был, — мрачно кивнул Борис. — Кажется, японским, сейчас и не помню.

— Расскажи лучше, как ты все-таки меня нашел? — спросил Володя. — Ты же не знал моей фамилии!

— О, хорошая история. — Борис хрустнул огурцом и одобрительно подмигнул Жене. — В тридцать девятом, после второй посадки, мне повезло: где-то на полгода я попал на шарашку. И там, в библиотеке, в каком-то журнале по органической химии увидел знакомую рожу. Победитель конкурса студенческих работ или что-то в этом роде. Тогда-то я и понял про мамину фамилию — это ты хорошо придумал!

Борис даже не захохотал, а страшновато заухал в ответ.

— А где шарашка была? — спросил Володя. — Под Казанью?

— Нет, в Тушино, — ответил Борис. — А что?

— Да знакомый у меня под Казанью был, Валя Глуховский, Валентин Иванович. Не встречал?

Борис задумался.

— Молодой такой, да? — сказал он. — В очках? Ему еще пальцы на следствии сломали.

— Точно! — Володя стукнул ладонью по столу.

Женя ясно, как будто не прошло стольких лет, увидела кривой уродливый палец Валентина Ивановича, вспомнила гадливую дрожь, пробегавшую вдоль позвоночника. Сломали на следствии... вот оно, значит, как.

— А ты, я гляжу, профессором стал, — сказал Борис, накладывая себе картошки. — Папа бы гордился, я тебе точно говорю!

— Ну, я пока не профессор, — ответил Володя, — только преподаватель. До профессора еще надо поработать немножко.

— А помню, когда ты мальчишкой был, — продолжил Борис, — ты все хотел строить новый мир.

Мировая революция и прочий троцкизм. Надо ставить крупные задачи! Стремиться к грандиозным целям!

Володя скривился:

— Молодой был, глупый. А знаешь, когда мне захотелось строить новый мир? В пять утра 14 марта 1933 года. Помнишь дату?

— Такое не забывается, — кивнул Борис. — Выпьем за нашу удачу! Как-никак, оба живы остались — большое дело по нашим временам.

— Я предпочитаю малые дела, — ответил Володя, — но за удачу — выпью.

Они выпили, и потом еще, и засиделись за полночь, так что Женя отправилась домой, а Валерка с Олей ушли спать. Водку братья допили, но все равно продолжали спорить.

— Малые дела, — говорил Володя, — вот что реально изменит мир. Достаточно революций, довольно террора. Только воспитание людей, только мелкие перемены. Шаг за шагом, медленно, но верно.

— А скажи мне, — усмехался в ответ Борис, кивая на трофейные *Selza* на запястье брата, — ты ведь был на фронте, правда? Не отсиживался за спиной товарищей, ходил в атаку, воевал, да?

— Все так, — кивал Володя, — и в атаку ходил, и воевал.

— Но ты же там, на фронте, не верил в мелкие перемены, шаг за шагом? Ты знал, что есть враг и нужно его уничтожить.

— Так то на фронте!

— Здесь то же самое. Мы знаем, что есть враг. И знаем, что это — наша война. Мы можем дезертировать, но нельзя говорить, что дезертировать —

это правильно. Если мы не сражаемся — это значит, мы струсили. Нас просто сломали.

Они говорят всю ночь, и всю ночь Валерка не спит, вслушиваясь в каждое слово. Он знает, это очень важный разговор, его надо запомнить на всю жизнь.

Наутро дядя Боря уже не казался Валерке страшным — может, потому, что надел папину рубашку с коротким рукавом и папины же полотняные штаны.

— Тебе, Борька, в твоём костюме нельзя здесь на улицу выходить, — сказал папа. — Люди шарахаться будут.

После завтрака тетя Женя сказала строгим тоном, как всегда не допускающим возражений:

— Валерка, отведи нашего гостя к морю, покажи ему, где ты с мальчишками купаешься, а мы потом вас догоним, у нас дела по дому.

Валерка покорно кивнул: он давно понял, что спорить с тетей Женей бесполезно, а до переходного возраста, когда захочется испытать это знание на прочность, оставалось еще года четыре.

И вот они вдвоем идут знакомой дорогой, море виднеется где-то вдалеке, между вершин кипарисов.

— Дядя Боря, — говорит Валерка, — а почему вы раньше к нам не приезжали?

— А я, Валера, жил очень далеко. Долго ехать было. И адреса не знал.

— А вы путешественник? — спрашивает Валерка с надеждой, потому что если дядя путешественник, то все становится на свои места: он побы-

вал в страшных переделках, сражался с дикарями и пиратами, и немудрено, что вчера Валерка немного напугался и даже принял родного дядю за шпиона.

— Можно и так сказать, — отвечает дядя. — Уж во всяком случае, поездил я по свету немало.

— А в Москве были?

— В Москве тоже был. Совсем недавно.

— Это как в песне, знаете? — И Валерка поет:

Я по свету немало похаживал,  
Жил в землянке, в окопах, в тайге,  
Похоронен был дважды заживо,  
Но всегда возвращался к Москве.

Из-под лохматых бровей дядя удивленно смотрит на Валерку:

— Откуда ты все знаешь? Это ж про меня песня! И про землянки, и про тайгу, и про два срока! В окопах только не довелось, но это твой папа за меня выполнил.

— А в Турции вы были?

— В Турции не был.

— А она совсем близко, вон там! — Валерка показывает в сторону моря. — Этот берег наш, а тот — турецкий.

— Да, близок локоть, да не укусишь, — загадочно говорит дядя.

— Почему не укусишь? — спрашивает Валерка. — Я могу!

Выгнув руку, он кусает себя за локоть — увы, никакой соли уже не осталось. Ну ничего, еще немного — и в море!

— А ты путешественником хочешь быть? — спрашивает дядя.

— Нет! Я хочу быть химиком, как папа! — Валерка выкрикивает это с гордостью и сразу жалеет: может, все-таки путешественником?

— Химиком — это хорошо, — кивает дядя, — а еще лучше знаешь кем?

— Летчиком? — пытается угадать Валерка. — Или моряком?

— Нет. — Дядя нагибается к Валеркиному уху. — Лучше всего быть врачом. Как твоя тетя.

— Врачо-ом... — разочарованно тянет Валерка. — Но это скучно.

— Нет, не говори, — уверенно отвечает дядя. — Врачи всегда нужны, где бы ты ни был. В землянках, в окопе, в тайге. В любом, как ты их называешь, путешествии.

— И какие у нас дела по дому, ради которых мы в субботу утром не пошли на море? — спросил Володя, когда Валерка и Борис ушли.

Женя посмотрела на него сурово. За три года жизни в Грекополе она окончательно утвердилась хозяйкой в доме, то есть стала человеком, который не только стирает, готовит и гладит, но и решает, *что и как мы будем делать*. В ее голосе появилась мягкая, бархатная уверенность, черты потеряли былую резкость, плечи, руки и колени округлились. Угловатую девушку-подростка сменила хорошенькая молодая женщина: похоже, в ее жизни, как и в жизни всей страны, голодные годы наконец сменились тучными, а может, просто помогли южное солнце, морской воздух и свежие

фрукты. Впрочем, волосы у нее так же стояли дыбом, растрепанные невидимым ветром.

— А ты как думаешь? — сказала она Володе. — Садись, рассказывай. Мы с тобой десять лет живем, а, выходит, ничего о тебе не знаем.

— Что рассказывать-то? — спросил Володя, но послушно сел, куда указала Женья. — Я ж вроде вчера все сказал.

— Все рассказывать. С самого начала. Где родился, кто родители были. Как когда анкету заполняешь — всю правду.

— Ну, в анкетах-то я правды отродясь не писал, — усмехнулся Володя, — но чего уж теперь...

И он рассказал — с самого начала.

Володя Карпов родился осенью 1917 года на Выборгской стороне в Петрограде. Его мать окончила Бестужевские курсы, преподавала в частных гимназиях математику и естествознание. Ее недоучившиеся ученики уходили в бомбисты, а Надежда продолжала верить, что долгожданные перемены принесет просвещение. Октябрь 1905 года, казалось, подтвердил ее правоту: на выборах в Государственную думу она голосовала за энесов и вместе с ними ратовала за общинные начала русской жизни и отвергала политический террор.

Третье июня 1907 года стало для нее ударом: вера в возможность мирных перемен была почти потеряна. Надя уволилась из гимназии, но после двух летних месяцев, прозрачных, как ее отчаяние, приняла решение. Августовским утром 1907 года она отправилась на Выборгскую сторону, в школу для детей рабочих Механического завода. Взрос-



лым, сказала она себе, уже ничем нельзя помочь. Остаются только дети.

Следующие семь лет каждое утро Надя приходила в трехэтажный дом на Нюстадской улице, открывала дверь в класс и рассказывала о тайнах математики и загадках естествознания. За ней следили десять-пятнадцать пар глаз — мальчишечьих и девчачьих. В огромные прямоугольные окна лился тусклый северный свет, конические плафоны покачивались на длинных проводах под высокими потолками.

Тут же, в рабочем поселке, Надя познакомится с молодым инженером Колей Карповым. Они поженятся в начале 1909 года, а в декабре у них родится сын Борис. Володя будет четвертым ребенком, но двое средних братьев умрут еще до его рождения, от них ему достанутся только расплывчатые дымные фотографии — как и от отца, всего через год после Володиного рождения ушедшего защищать новую власть. Пулеметная очередь на смерть прошьет Николая Карпова в одной из мелких стычек на юге Украины, он так и не узнает, что спустя восемь месяцев жена родит наконец дочку и что вскоре маленькая Маша умрет от «испанки».

— Возможно, это и к лучшему, что он погиб тогда, — объясняет Володя Жене с Олей. — Мама всегда говорила: отец был скорее анархистом, чем большевиком. Ему бы не понравилось, что получилось.

Итак, они остались втроем. Борис был старше на восемь лет, и именно он поселил в душе брата тоску по мировой революции. Вернувшись с московской

конференции КСМ, Борис с восторгом пересказывал шестилетнему Володе речь Троцкого:

— Наша задача — учиться и учить других! Мы должны объединить советский коллективизм и американскую технику! И вообще, надо ставить перед собой грандиозные цели, стремиться решать по-настоящему крупные задачи!

Борис был прирожденный агитатор — младший брат слушал как зачарованный. Через несколько лет Володя уже точно знал, кем хочет быть, когда вырастет: он вступит в комсомол, поедет делегатом на съезд, станет секретарем... одним словом, повторит путь Бориса. Едва научившись читать, Володя изучал Маркса, Ленина и Бухарина. С энергией и работоспособностью, хорошо знакомыми Жене, он имел все шансы сделать прекрасную карьеру и в двадцать лет сгинуть в мясорубке Большого Террора. Как мотылек на свет электрической лампы, Володя двигался навстречу своей судьбе, но в марте 1933 года молодой и подающий надежды выпускник Института красной профессуры Борис Карпов был арестован, обвинен в троцкизме и осужден на пять лет лагерей.

Шестнадцатилетний Володя был потрясен. Лестница, по которой он долго поднимался, вдруг оборвалась: под ногами больше не было ступенек, только пустота. Он не знал, куда идти, — оставалось только падать.

Неделю Володя сидел в углу комнаты — наверно, так же летом 1907 года сидела его мать, — и за эту неделю тревога на долгие годы утнездилась в его груди сжатой пружиной, которая и подсказала ему первое самостоятельное решение: он не повторит

ошибок брата. Не будет вступать в партию, не будет ставить грандиозных задач, не будет менять мир. Он выберет что-нибудь простое и надежное — такое, где существует правда и ложь, где вчерашние истины не могут сегодня оказаться преступными.

Наука выглядела подходящим решением. Математика казалась слишком далекой от реальности, биология и физика тоже не привлекали, и Володя выбрал химию.

Мать умерла через полгода после ареста старшего сына, но незадолго до смерти, вспомнив, как строится конспиративная работа, выправила себе и Володе новые паспорта, прибегнув к помощи одного из своих бывших учеников-рабочих. В этих паспортах они оба были записаны под ее девичьей фамилией — Дымовы.

— Это меня и спасло, — говорит Володя. — Когда в 1937-м забирали всех, кто хоть как-то был связан с троцкистами, меня было уже не найти, а то отправился бы я следом за Борькой. Но все равно все эти годы я боялся, что меня разоблачат, разорвал связи с Питером, переехал в Москву, даже вам не говорил... да и что бы я сказал? Я был уверен, что Бори уже нет. А он, гляди-ка, выжил...

Женя смотрит на Володю. Вот почему он не дал назвать сына Борей. Это имя было бы вечным напоминанием о брате — о том, что жизнь может измениться в один день.

— Знаешь, — говорит она, — я все эти годы часто вспоминала наш с тобой разговор, ну, еще в Москве. Я тогда спросила, всегда ли ты хотел заниматься наукой, а ты сказал, что хотел изменить мир, а теперь уже не хочешь.

Володя кивает:

— Да, я и Борьке то же самое вчера сказал. А потом подумал... вроде, получается, я и сейчас мир меняю.

— Это как? — удивляется Оля.

— Учу студентов, — говорит Володя, — уже десять лет скоро. Посчитай сама, сколько их у меня было. Может, когда-нибудь все вместе они изменят мир.

Женя кивает. Да, десять лет. Десять лет они вместе. Значит, Володе в этом году исполнится сорок. Женя смотрит на него и видит, как в Володином лице, словно на фотобумаге под струей проявителя, проступают черты старшего брата — проступают предсказанием, отпечатком грядущей старости.

Папа говорит, что камни на берегу круглые, потому что море обточило их, убрало все лишнее. Валерка скидывает сандалии и босыми пятками бежит по обжигающим камням. Вода у берега вскипает белой бархатной пеной.

— Дядя Боря, идите купаться! — зовет Валерка, по колено стоя в солоноватой, прохладной, счастливой воде Черного моря.

Борис неподвижно стоит там, где его оставил Валерка. У ног — скомканная майка и два сандалика, один упал кверху подошвой, другой боком.

— Иди, пацан, поплавай, — говорит Борис, — я тут посижу. Я моря четверть века не видел, тебе не понять.

Четверть века — это двадцать пять лет, считает Валерка, ныряя в зеленоватую прозрачную воду. Ого сколько!

Надо будет к этому привыкнуть, думает Борис. К тому, что сам решаешь, куда идти, когда ложиться и когда вставать. К солнцу. К теплу. К морю. К женщинам.

Он нагибается и аккуратно ставит сандалики друг к другу, складывает Валеркину майку и садится. Перед ним — Черное море, над ним — южное солнце, под ним — круглые камни, обточенные этим морем, прокаленные этим солнцем. Вокруг него — люди, и он чужой среди них. Единственный одетый на всем пляже. Дети бегают гольшом, мужчины — в одних черных сатиновых трусах. Девушки... девушки в купальниках, почти голые. Борис не знает, что через десять лет ткани станет еще меньше, загорелой женской кожи — еще больше... он и сейчас отводит глаза.

Нет, думает Борис, к женщинам невозможно будет привыкнуть. Как вчера старался не смотреть на Вовкину жену и эту, вторую, черненькую, красивую. Смотрел в стол, прятал глаза.

Ну да, любая испугается этого голодного взгляда.

Они отняли у меня не просто половину жизни, думает Борис, нет, они отняли девушек, которых я мог любить, жену, которой у меня не было, детей, которых у меня не будет.

Он смотрит на море — текучее, зеленое, голубое, покрытое рябью волн, гребешками пены. Валерка машет ему рукой, но на таком расстоянии Борис различает разве что черное пятно — голову купальщика.

Я выжил, потому что не думал об этом, говорит себе Борис. Потому что забыл, что на свете есть синее море, теплые камни, жаркое солнце.

Может, не стоило и вспоминать?

Когда Валерка вылезает на берег, Борис все так же сидит рядом с его одеждой, словно охраняя. Вытрясая воду из ушей, Валерка прыгает на одной ноге, потом на другой... и тут слышит знакомый голос:

— Эй, Валерка, а родители где?

Вот так штука: совсем рядом с Борисом сидит, разложив покрывало, дядя Ляня, Леонид Буровский, папин студент, много раз заходивший в гости и приносивший Валерке разные вкусности — то тянучую конфету, то сушку, то просто кусок сахара.

— Здравствуйте, дядя Ляня. — Валерка опускается рядом с Буровским. — Родители еще дома.

— Сколько раз говорил тебе — зови меня просто Ляня. В крайнем случае — Леонид, как спартанского царя.

— Хорошо, — кивает Валерка, с трудом сдерживаясь, чтобы не добавить «дядя Ляня». — А вы уже плавали сегодня? Море — отличное!

— Плавал, плавал. — Буровский кивает. — Я сегодня, как Эдмон Дантес, проплыл от замка Иф до острова Монте-Кристо.

— Расскажите! — просит Валерка, устраиваясь поудобней.

Как-то раз Буровский пересказывал ему «Остров сокровищ», а в этот раз принимается за изрядно забытого «Графа Монте-Кристо», которого читал лет пятнадцать назад, еще в эвакуации.

Классно дядя Ляня рассказывает, думает Валерка, куда интересней, чем всякая тягомотина, которую тетя Женя читает вслух по вечерам. Классика! Фу!

Слушая, Валерка складывает башню из камешков-голышей. Пусть это будет замок Иф, решает

он, а там, внутри, сидят Эдмон Дантес и аббат Фариа.

Валерка мог бы слушать Буровского без конца, но тут над ухом раздается голос тети Жени.

— Ну-ка быстро в тень, — командует она. — Ты что, тепловой удар хочешь получить?

Надо же, все уже пришли, а он и не заметил! Валерка неохотно — чем же дело-то кончилось? — уходит. Поздоровавшись — *Добрый день, Владимир Николаевич.* — *Добрый день, Леня!* — Буровский с разбега прыгает в море.

Володя садится рядом с братом.

— Искупался? — спрашивает он.

— Неа. Слушал, как тот парень твоему пацану заливал. Кто он будет?

— Этот? Мой студент, Леня Буровский.

— Годный парень, — одобрительно кивает Борис. — Складно лепит. Если сразу не убьют, в лагере романы будет тискать.

\* \* \*

Через несколько дней Борис уедет обратно в Сибирь. Володя будет просить брата остаться, но тот откажется — мол, у вас слишком жарко, я от такого отвык.

В следующий раз Валерка увидит дядю через девять лет. К тому времени они переберутся в Энск, крупный город на юге Сибири: Володе неожиданно предложат кафедру в недавно открывшемся там университете...

После солнечного Грекополя холодный Энск не понравился Валерке. Два выпускных класса он

провел, изучая с местными пацанами различные техники уличных драк, и к середине десятого класса наконец добился их уважения, но не хороших отметок в аттестате.

Глухим зимним вечером, когда фонари не могут рассеять тьму за окном, Володя в последний раз попробовал поговорить с сыном.

— Ты же понимаешь, что никуда не сможешь поступить? — поинтересовался он.

Валерка закатил глаза к блочному потолку — шов разрезал комнату ровно пополам:

— Я-то все понимаю, — сказал он устало, — но есть такие вещи, папа, которые вот ты никогда не сможешь понять.

— Какие же? — спросил Володя, не в силах сопротивляться неумолимой логике беседы отца и сына-подростка.

— Например, то, что не всем людям нужно высшее образование. — Валерка кинул на отца быстрый взгляд и, недовольный результатом своих слов, добавил: — Я понимаю, ты не можешь это принять, потому что тогда твоя жизнь полностью потеряет смысл.

На этот раз должный эффект был произведен: Владимир Николаевич вышел, хлопнув дверью.

Позже, когда он пересказал этот разговор Жене, она вдруг разрыдалась. Володя растерялся: они сидели в молодежном кафе «Интеграл», полупустом в это время, но было ясно, что уже завтра весь университет станет судачить, что завкафедрой Дымов довел до слез какую-то женщину, наверное, брошенную любовницу.

Он потянулся через стол и похлопал Женю по руке.



— Ладно, успокойся, — сказал он. — Чего ты, в самом деле?

— Так Валерка же в армию пойдет! — всхлипнула Женя. — Ты об этом подумал?

— В армию — так в армию, — пожал плечами Володя. — Войны, слава богу, нет, пусть послужит, может, научится чему-нибудь. У меня на кафедре полно отслуживших ребят, ничего в этом нет зорного.

Женя вытерла салфеткой глаза — тушь немного размазалась по щеке — и сказала:

— Что ты говоришь? Это ведь наш Валерка, а не какие-нибудь ребята с кафедры! — Помолчав, добавила: — Но ты же его сможешь устроить в университет?

Внезапно Володя почувствовал: не хватает воздуха, что-то легло на грудь незримой, невыносимой тяжестью. Может, это годы, нелепо подумал он, тяжелые годы, все пятьдесят без малого. Он судорожно вдохнул и с трудом поднес ко рту чашку с горьким кофе, черным как жизнь, лишенная надежды.

Володя молчал. Звериное чутье, подпитываемое все эти годы тайной тревогой, никогда не обманывало: вот и сейчас он знал — у него нет выбора. Много лет назад он попался на приманку покоя и счастья, которые обещала юная Оленька, попался — и полюбил ее, а потом сам не заметил, как оказался в ловушке, стал мужчиной, который отвечает не за себя, а за двух женщин и ребенка, и уже много лет главная Володина тревога — не о себе, а о них, уже много лет именно страх за этих троих раз за разом заводит его часовой механизм,

и теперь одна из этих женщин сидит напротив и говорит, что он должен сделать, чтобы спасти их ребенка, но Володя ничего не может для них сделать, поскольку — и он понял это лишь сейчас — за годы преподавания в его жизни появилось что-то, кроме страха и тревоги.

Он сделал глоток — и горечь кофе обожгла губы.

— Я не смогу, — сказал он. — То есть, наверно, я и административно не могу, но главное, если я так поступлю, я больше не смогу преподавать. Никогда.

— Ну и что? — шепотом сказала Женя, нагибаясь к столу. — Почему ты считаешь, что это мне важно? Я восемнадцать лет растила этого ребенка. Не ты, не Оля — я его растила! Кормила из соски, следила, чтобы не заболел, и сидела рядом всю ночь, когда он все-таки болел, делала с ним уроки, когда он не справлялся, от всех нас выбирала подарки на день рождения и Новый год, и ты думаешь, мне важно, сможешь ли ты преподавать, если он отправится в армию? Так вот, мне неважно, можешь потом хоть уйти из университета, но сначала спаси моего сына.

Володя внимательно, словно впервые за много лет, посмотрел на Женю. Морщины пролегли в уголках ее глаз, кожа потеряла молодую упругость, седина тронула корни волос, словно серый иней. За последние годы Женя расплнела, но сейчас черты лица вновь заострились; как когда-то в молодости, она опять походила на птицу, на этот раз — не на взъерошенного воробья, скорее на ворона, готового клюнуть.

— Это и мой сын, — сказал Володя, — и неужели ты не знаешь, что я сделаю для него все возможное?

— «Все возможное» — это мало, — прошептала Женя. — Сделай больше, чем можешь.

Володя покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Прости меня, Женя, но все-таки — нет.

Они больше никогда не возвращались к этому разговору и ничего не сказали о нем ни Оле, ни Валерке, тем более он через неделю попросил Олю передать отцу — последний месяц они не разговаривали, — чтобы тот и не надеялся помочь сыну с поступлением в свой университет. Валерка все равно не подаст туда документы; попробует попасть в какой-нибудь другой институт, а провалится — ну, пойдет в армию.

Вот и хорошо, подумал Володя с облегчением, на смену которому тут же пришел стыд, говоривший с Володей чужими, бессмысленными словами: *будь я хороший отец, все было бы иначе.*

Но жене Володя ответил только:

— Ну, значит, пойдет в армию.

Так и получилось. И вот через полгода Валера Дымов сидит за большим столом вместе с другими призывниками. Они навеселе, но еще не пьяны. Кто-то берет гитару и поет:

Этап на Север — срока огромные,

Кого не спросишь — у всех «Указ».

Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,

Взгляни, быть может, в последний раз.

Борис, у которого, вероятно, с этой песней связаны собственные воспоминания, мрачно смотрит из-под седых бровей, все таких же густых. За про-

шедшие годы он еще больше высох, отрастил волосы и бороду. Волосы не доставали даже до плеч, зато с бородой, косматой и спутанной, он стал похож на лешего из сибирских лесов. В Энск он приехал с маленькой худощавой девушкой, черноволосой и узкоглазой. Они были женаты уже шесть лет, ее звали Алла, но в письмах, которые Борис несколько раз в год аккуратно писал брату, он ничего о ней не рассказывал. Володя даже не знал, сколько Алле лет, но, увидев, подумал, что она, должно быть, моложе Бориса раза в два.

В Энске у Аллы жила мать, с которой она, как заключил Володя, почти не общалась: во всяком случае, за два года Алла появилась в Энске впервые только сейчас, когда мать умерла. Борис приехал с женой и невольно оказался на проводах племянника.

Мебель сдвинули к стенам, достали проигрыватель, начались танцы. Все медляки Валера танцевал с полногрудой, рано созревшей шатенкой. Отличница и школьный комсорг, Наташа только что поступила в Энский университет, тот самый, где преподавал Володя, и все не могла взять в толк, как может загреметь в армию мальчик «из такой семьи». Вероятно, именно это любопытство, смешавшись в нужной пропорции с Валериной славой хулигана и Валериным юным напором, запустило реакцию, естественную для восемнадцати лет: две недели тому назад Наташа поняла, что втюрилась в Валеру по уши. Но у влюбленных оставалось слишком мало времени, и хотя они доводили себя до изнурения поцелуями и ласками, последний Наташин бастион оставался неприступен.

Ночью, когда почти все призывники уже не держались на ногах, Валера затащил Наташу в пустую комнату и предпринял последний решительный бросок, оказавшийся столь же бесплодным, как и все предыдущие.

— Давай сначала поженимся, — проговорила Наташа.

— Уже не успеем, — отвечал Валера, тиская ее сквозь платье.

— Я тебя дождусь, — сказала Наташа, — обещаю.

Борис наблюдал эту беззвучную для него сцену с балкона: он вышел покурить и не успел вовремя вернуться.

При прощании Оля разрыдалась, Женя стояла с окаменевшим, заострившимся лицом, бесильно уронив руки. Володя, успевший все-таки помириться с сыном, обнял Валеру на прощание и вдруг вспомнил, как много лет назад такие же мальчишки прощались с родными, уходя на фронт.

— Береги себя, — попросил он, сам чувствуя нелепость своих слов.

— Да ладно, пап, — ответил Валера, — все будет нормально, через три года вернусь.

Зря он так, внезапно подумал Борис, никто не знает, когда вернется.

Наташа бросилась Валере на шею, стиснула в объятиях, а потом закричала вслед:

— Я буду тебя ждать! — и это прозвучало так театрально и напыщенно, что почти никто не удивится, когда следующим летом Наташа выйдет замуж за своего однокурсника, мальчика из хорошей академической семьи.

Валера узнает об этом последним — даже не от Наташи, а от приятеля, которого успел завести в Энске. Валера проплачет всю ночь и еще неделю будет обдумывать, как украдет автомат и не то застрелится, не то убежит, чтобы добраться до Энска и восстановить справедливость. Потом его злость найдет новую мишень — он вспомнит, как Наташа удивлялась, что папа не поступил его к себе. Валера уже забудет, что сам отказался подавать документы в университет, и потому в его глазах родители станут единственными виновниками его бедствий.

Женя знала, что Валера не вернется в Энск. Они оба не любили этот город — холодный, вымерзший, чужой. Она никому не говорила, но знала: после армии Валера отправится куда угодно, только не домой. А раз так, говорила она себе, то и мне здесь нечего делать.

Женя была хорошим врачом и не сомневалась, что легко устроится педиатром где-нибудь на юге, в том же Грекополе, через несколько лет получит квартиру, обживется, а потом и Валере напишет, пусть, мол, приезжает, если хочет. С каждым днем этот план нравился ей все больше, и потому через полгода после проводов Валеры она написала в грекопольскую больницу, где когда-то работала. Через несколько месяцев бывшая начальница ответила, что после Нового года у них освобождается ставка и для Жени даже есть небольшая ведомственная квартира, так что, если она в самом деле хочет вернуться, пусть поскорее подтвердит.

Теперь, когда она действительно могла уехать, Женя засомневалась. Попросила у грекопольцев

еще неделю: надо хотя бы поговорить с главврачом поликлиники, где работает.

А еще надо сказать Оле и Володе.

Женя знала, что будет тянуть до последнего: ведь она уезжала не из города, она уезжала от них, уезжала, потому что злилась на Володю — впервые за все эти годы. Женя была уверена, что, если бы не Володино глупое упрямство, Валера не пошел бы ни в какую армию, остался бы в Энке, может, женился бы на своей Наташе, даже, небось, нарожал им внуков. После той беседы в «Интеграле» Женя больше никогда не заговаривала с Володей о Валере, в отличие от Оли, которая не скрывала, что считает мужа виноватым в том, что их сын на три года загремел в армию, и не упустила случая об этом напомнить.

Очередной случай представился в конце недели, которую Женя положила для принятия окончательного решения. Они ужинали на кухне, и Володя с возмущением рассказывал, что коллега с другой кафедры попросил его поставить зачет своему племяннику, который ни разу за семестр даже не появился в лаборатории.

— И что ты? — спросила Оля.

— Конечно, отказал, — ответил Володя. — В резкой форме.

— Ну и дурак. — Оля пожала плечами. — Тебе жалко, что ли? Может, он в какой-нибудь другой химии гений, а не в твоей органике?

— Бездельник он и лодырь, а не гений. — Володя зло блеснул глазами.

— Впрочем, — продолжала Оля все так же спокойно, — ты ведь и родному сыну не помог, что уж там — чужой племянник.

Внезапно Володя стукнул кулаком по столу. Брякнули приборы, и несколько капель борща багровыми кляксами шлепнулись на скатерть.

Женя изумленно посмотрела на Володю:

— Это еще что такое?

— Извини, — сказал Володя своим обычным сдержанным тоном, — я просто совсем устал от этих разговоров. Давайте я вам последний раз объясню, и мы больше никогда не будем об этом говорить.

— Ну хорошо, — согласилась Оля, — объясни. Если тебе есть что сказать нового.

Вот и все, подумала Женя, вот он объяснит, и я скажу, что уезжаю.

Володя пожал плечами:

— Не знаю, нового или старого... вы просто послушайте. Я преподаю в университете. Это — моя работа, как у Жени — лечить детей. Если я буду считать, что не имеет никакого значения, кто поступает в университет или за что студенты получают зачет, я не смогу преподавать. Я мог бы сказать, что для того, чтобы Валера к нам поступил, нам пришлось бы не брать какого-то другого абитуриента, который лучше его, — но дело даже не в этом. Просто, если отметки, зачеты или поступление не связаны со знаниями, не имеет смысла ни учиться, ни учить. Поставить зачет по знакомству — значит оскорбить всех, кто нормально готовился к этому зачету. Это значит признать: все, чем я занимаюсь, — какое-то надувательство, обман, фальшь. И мне надо немедленно уволиться, а лучше — пойти и утопиться.

— Это просто значит, что тебе дороже твоя работа, чем наш сын, — ответила Оля. — Вот и всё.



Я, собственно, так и считала, ничего нового ты не сказал.

Володя снова пожал плечами, поднялся и вышел из кухни.

— Я его просила, — сказала Женя после долгой паузы. — Еще до того, как Валера отказался поступать в университет.

— Я тоже, — кивнула Оля, — так что у нас обоих не получилось.

Ну, вот сейчас, подумала Женя и, решительно вздохнув, начала:

— Знаешь, я хочу уехать из Энска. Нечего мне тут делать. Меня вот в Грекополь зовут... вернуться... квартиру обещают.

Оля посмотрела куда-то в сторону и попросила:

— Не оставляй меня.

Один раз ты уже не дала мне уйти, с неожиданной злостью подумала Женя, если бы не ты, у меня был бы свой ребенок и свой муж.

— У тебя есть Володя, — сказала она.

— Я тоже должна тебе сказать одну вещь. — И Оля, перегнувшись через стол, шепотом добавила: — У меня, наверное, рак.

Женя замерла:

— Где?

— Там. — Оля указала рукой куда-то под стол. — Опухоль яичника. Моя гинеколог обнаружила, почти случайно.

— А она уверена, что это рак?

— Нет, — покачала головой Оля, — но я почти уверена. У меня такое чувство, что я скоро умру.

— Не валяй дурака, — отрезала Женя. — Если это ранняя стадия, тебя прооперируют, и все будет хо-

рошо. И к тому же, возможно, это вовсе доброкачественная опухоль.

— Я в это не верю, — сказала Оля, — но ты, главное, Володе не говори. И Валере не говори. И не уезжай.

И Женя осталась.

Через два года Женя убедится, что не ошиблась насчет Валеры. На третьем году службы он перестанет злиться на родителей, но после дембеля так и не сможет придумать, зачем ему возвращаться в Энск. Если б они жили в Грекополе, он бы приехал, но в Энск? Что он там забыл?

Борис оказался прав: никто не знает, когда вернется.

Валера пришлет отцу телеграмму: «уезжаю Москву зпт поступать инст физ тчк», а через месяц вдогонку другую, в одно слово: «поступил».

Месяц Володя будет ходить гордый, рассказывая всем, что его Валерка теперь учится на физика в Москве. Потом придет долгожданное письмо, и Володя поймет: его сын стал студентом не института физики, а института физкультуры.

## 5

Спустя много лет, таким же дымным, жарким летом, в предсмертном бреду Ире будет казаться, что она снова в родительской квартире, на поскрипывающем бордовом диване, потная, уставшая, счастливая... размыкает объятия, открывает глаза, глядит поверх мужского плеча в окно — и вместо

синего неба видит серую мглу и теряющийся в ней алый зрачок солнца.

А начиналось все в июне, дыма еще не было, но карминовый столбик в термометре за окном уже поднялся выше цифры тридцать. «В Москве всегда так жарко летом?» — спрашивала Ира отца, и тот, торопливо допивая утренний кефир, бурчал в ответ что-то про рекордную жару и антициклон. *Ты что, телевизор не смотришь, что ли?* Ну да, точно, кивала Ира, с нетерпением ожидая, когда же наконец уйдут родители и можно будет выйти на балкон, достать запрятанную пачку «Явы» и сделать первую утреннюю затяжку.

Вот так она и стояла над знойной горячей столницей — худая, в цветастом халате на голое тело, с дымящейся сигаретой между длинными пальцами, копной нечесанных с ночи светлых волос... красивая, молодая, семнадцатилетняя, вся в ожидании чудес, которые должно было принести ей первое московское лето.

Впрочем, Москва сама по себе была чудом, живой картинкой из телевизора, ожившей открыткой, точнее, открытками, которые вдруг оказались пригнанными друг к другу, разложенными одна к одной, словно карты в пасьянсе. Оказалось, Красная площадь и Большой театр совсем рядом, а до Большого Каменного моста, откуда так хорошо виден Кремль, еще идти и идти, глядя по дороге на старые торжественные здания, которые почему-то никогда не попадали в телеобъектив, а может, просто не запомнились Ире. И конечно, чудом было метро — мозаики, колонны, барельефы...

В вестибюле Ира долго изучала схему, водила пальцем по карте, отслеживая пересадки... сегодня она впервые едет одна. На ней серое кримпленовое платье с огромными ромашками, новые мамини туфли на платформе, розовая, в цветах, панама от солнца. Может, снять в метро? А куда деть? В руках держать глупо, в сумку — помнется. Ира решает оставить все как есть, но в поезде снимает и начинает обмахиваться — жарко. Надевает только на выходе из метро и жалеет, что нет зеркальца, — проверить, насколько красиво выбиваются из-под панамы светлые густые волосы, от которых так жарко этим летом, но не стричь же их, правда?

Потом они спускаются к реке, и она понимает, что, когда вчера Валера сказал *давай на пляж сходим, искупаемся*, он не шутил: набережная Москвы-реки заполнена людьми — толстые женщины, суетливые дети, мужчины, прикрывшие головы газетой. Валера достает из сумки подстилку, с трудом находит свободное место, расстилает и вопросительно глядит на Иру:

— Ну чего ты? Раздевайся!

Она стягивает платье через голову (панاما, конечно, падает), еле заметно поправляет верх от купальника на крошечной груди и садится. Валера складывает рядом брюки и рубашку, смотрит на девушку сверху, весь освещенный жарким солнцем, и Ира внезапно замирает, как замирала на Красной площади или у Большого театра: перед ней, *над ней* — еще одна ожившая картинка, еще одна музейная статуя. Широкие плечи, рельефный живот, мускулистые руки, длинные крепкие ноги.

— Купаться пойдем? — говорит Валера.

— Купаться... — повторяет растерянно Ира.

Она обводит глазами берег: кабинок для переодевания нигде нет. Что же ей, так и идти домой в мокром купальнике? Надеть сверху платье и... она так и представляет два небольших темных влажных пятна спереди и одно, побольше, сзади... и в таком виде идти по Москве?

— Нет, мне не хочется, — говорит она, — я лучше просто позагораю.

— Ну а я окунусь. — Валера пожимает плечами... пожимает широкими, сильными, будто высеченными из камня... Ира все еще подбирает про себя эпитет, а Валера уже бежит к реке и с плеском врывается в воду, поднимает фонтан брызг и плывет, ровно взмахивая руками и то и дело, как профессиональный пловец, опуская в воду голову.

Ира поднимает панаму и водружает ее поверх растрепанных волос. Она распрямляет плечи и старается, как учила мама, выставить грудь вперед — хотя чего уж там выставлять с ее размерами?

Потом они сидят рядом, и мокрый Валера на глазах высыхает — стремительно, как все, что он делает. Он достает пачку «Космоса», Ира просит у него сигарету и с независимым видом выдыхает в жаркое, плотное небо струйку горького сизого дыма.

— А куда ты пойдешь после института? — спрашивает она.

— Не знаю. — Валера пожимает плечами, для которых Ира так и не подобрала определения. — Я уже было договорился пойти в одну классную школу, да там разогнали всех.

— Как «разогнали»? — удивляется Ира.

— Обыкновенно. Прислали две комиссии, потом еще четыре, потом еще восемь. Уволили сначала директора, потом всех учителей. Ну, или наоборот, я не помню уже.

— А как же дети?

— Детей пока оставили. — Валера криво усмехается. — Хотя они теперь, небось, сами разбегутся. Они туда со всего города ездили, это была специальная физико-математическая школа, для самых умных. Будущие академики и все такое.

— А почему же там всех... разогнали?

— Для того и разогнали, чтобы не были самые умные, — отвечает Валера. — Непонятно разве? Умные нынче не нужны, они не те мысли думают, вредные.

Ира хочет спросить, что значит «вредные мысли», но лишь кивает, мол, да, конечно, я все поняла, зачем я вообще такую глупость брякнула?

Потом Ира спрашивает, ходил ли Валера на конкурс балета, видел ли Надю Павлову, говорят, она потрясающе танцует, хотя ей всего пятнадцать! Нет, на балет Валера не ходил и даже по телевизору не смотрел, а вот Олимпиаду в августе точно будет смотреть, интересно, кто кого, мы американцев или они нас? «Конечно мы!» — уверенно говорит Ира, а Валера в ответ принимается рассказывать про Спасского и Фишера, которые вот-вот должны начать матч в Рейкьявике.

Неудивительно, что он так много знает о спорте, догадывается Ира, он же учится в Институте физкультуры. Интересно, зачем он туда поступил? Хотя с такой-то фигурой — конечно, только спортом и заниматься.

И она снова и снова рассматривает Валеру, будто он — еще одна московская достопримечательность, и замечает, что в его движениях есть что-то хищное, и даже думает — *что-то волчье*, — но это Иру не пугает, ей скорее нравится.

Через несколько часов они проголодаются, Ира снова наденет платье — да, можно было и искупаться: купальник бы сто раз высох, вот я дура! — Валера засунет в сумку подстилку, и они пойдут на запах шашлыка к прилавкам, где толпятся другие голодные граждане. Потом Ира будет объедать горячее мясо с шампура, и струйка бараньего сока оставит жирную дорожку на сером кримплене платья, Ира всплеснет руками — ой, что теперь делать! — Валера предложит постирать прямо в реке, а Ира скажет, что лучше уж дома, с мылом, как следует, и тогда Валера поедет ее провожать, поднимется с ней в квартиру, почти пустую после недавнего переезда, и там, когда Ира снимет платье, чтобы застирать, все наконец и случится.

Только в Москве Валера по-настоящему понял, кем был его отец. Ему всегда казалось, что папа — неудачник, скучный преподаватель, сутками пропадающий на работе, вечно занятый проверкой курсовых и дипломов. Конечно, Валера его любил, но не уважал, не восхищался. В отце не было энергии, задора, риска... не было даже энтузиазма и страстной веры в науку, знакомой Валере по фильмам вроде «Девяти дней одного года». Даже не ученый — так, преподаватель, ничего интересного.

Но в свой первый институтский год Валера обнаружил, что Москва полна бывшими отцовскими

студентами. Откуда они узнали, что сын Владимира Николаевича учится в Институте физкультуры, Валера так и не понял: на прямые вопросы никто не отвечал, только пожимали плечами или отшучивались: мол, по радио передавали, ты что, не слышал?

Как правило, они оставляли сообщение на вахте общаги, обычно имя, адрес и время. Валера надевал свою лучшую рубашку, широкие клешеные брюки и отправлялся куда-нибудь в район метро «Университет» или, наоборот, в Сокольники, где его принимали как почетного гостя, усаживали за стол и расспрашивали про учебу так, словно он в самом деле изучал какие-нибудь науки, а не зубрил сто лет как устаревшие нормативы ГТО. Потом они начинали его кормить – ужин по будням, обед по выходным, но, в общем, одно и то же: борщ, картошечка, иногда – куриная ножка или крылышко, неизменно – немного водочки, грамм по сто на брата. Первый год Валера говорил себе, что ходит к отцовым студентам только ради еды, – все-таки на стипендию не разгуляешься, да студенту и положено быть бедным и голодным, – но потом наострился разгружать вагоны, с деньгами стало полегче, однако Валера уже привык к этим людям, иногда почти ровесникам отца, а иногда – чуть старше самого Валеры. Он уносил от них бледно-голубые номера «Нового мира», переплетенные подшивки старой «Юности» и «Иностранки», узнавал о тех редких фильмах, которые надо было увидеть, или выставках, куда нужно было пойти. Там, в фойе кинотеатров и в музейных очередях, он знакомился с молодыми людьми, такими же студентами, только учившимися в университе-



те, МАИ или физтехе, и с девушками, изучавшими иностранные языки, филологию и другие вещи, ненужные в реальной жизни. Постепенно у него появились новые друзья, компании, где его считали «своим», хотя и посмеивались над его будущей профессией, впрочем, вполне беззлобно. Вслед за журналами пришел черед перепечатанных на машинке стихов, а потом — с опаской передаваемых папок с лагерными воспоминаниями. Читая их, Валера каждый раз вспоминал дядю Бориса и думал, что надо узнать у отца его адрес и написать, но все время забывал, да и неудивительно: домой он писал редко, дай бог чтобы пару раз в год. Он почти не вспоминал детство и оставленную в Энске семью, лишь иногда ему снилась пыльная дорога от моря до их грекопольского дома, и тогда он просыпался счастливый, со вкусом морской соли на губах.

Впрочем, Валера был счастлив и безо всяких снов: кажется, впервые за много лет он жил той самой жизнью, о которой мечтал мальчишкой, — в окружении необычных людей и красивых девушек, в вечном ожидании новых приключений и с легкой будоражащей дрожью риска, мурашками пробегавшей вдоль спины, когда вечером он возвращался в общагу с очередной запретной папкой. Он почти не вспоминал дом, но помнил, что по большому счету всем этим обязан отцовским студентам, и, хотя теперь заходил к ним все реже, сразу откликнулся на звонок неизвестного Игоря, пригласившего в гости «когда-нибудь после сессии».

Игорь учился у отца еще в Куйбышеве и окончил институт вскоре после Валеркиного рождения. Он успел жениться, родить дочь, объездить полстра-

ны и вот недавно получил место в Москве — довольно неплохое, судя по тому, что ему сразу дали отдельную квартиру. Валера ничего не ждал от этого вечера и, в сущности, не ошибся. Все, что он запомнил, — капли пота на намечающейся лысине Игоря: в Москве стояло удивительно жаркое лето, а до появления кондиционеров оставалось не одно десятилетие, так что хозяева дома мучились от жары, а Валера утешал себя воспоминаниями о грекопольском лете. Диван, на котором они сидели, при каждом движении поскрипывал, Игорь что-то рассказывал о тяготах переезда и потерянных по дороге вещах, его жена Даша, замученная разборкой вещей, духотой и готовкой, почти не принимала участия в беседе. Дочь, насупившись, сидела в углу, она была такая худая и угловатая, что Валера сначала принял ее за школьницу-подростка и только потом, когда Игорь сказал, что этим летом они решили никуда документы не подавать, а годик осмотреться, сообразил, что ей, наверно, лет семнадцать.

— Может быть, вы покажете Ире Москву? — спросил Игорь уже в прихожей, и Валера вежливо согласился, но, вместо того чтобы вести девушку в Третьяковку или Пушкинский музей, сказал:

— Давай на пляж сходим? Искупаемся!

Так они оказались сначала на Ленинских горах, потом — на Андреевской набережной, а в конце концов — на поскрипывающем диване, где Валера два дня назад просидел за ужином весь вечер.

Позже они много раз обсуждали, как это случилось. Ира раздевалась, и Валере показалось, что она улыbnулась, прямо перед тем как ее светлые

волосы исчезли внутри платья, снимаемого через голову, — и поэтому он подхватил ее на руки и понес в комнату, а потом уже все получилось само... но Ира говорила, что вовсе она не улыбалась, просто снимала платье, а когда сняла, уже так растерялась, что ее куда-то несут, что, кажется, поцеловала Валеру первой еще до того, как он стащил с нее верх от купальника, а может, и после. Конечно, все попытки восстановить ход событий приводили к тому, что они опять начинали целоваться или пытались, как в театре, разыграть ту сцену снова и в результате то и дело даже не доходили до комнаты, а оказывались где-то на полу, едва ли не в прихожей — там было жестко, зато ничего не скрипело.

Конечно, за время учебы у Валеры было несколько романов, все — с однокурсницами: художницы, переводчицы и филологини нравились ему, но почему-то с ними он робел решительных действий. Бывает, юная девушка в окружении взрослых и опытных мужчин приписывает все знаки внимания своей молодости и красоте, тогда как ей хочется признания себя достойной собеседницей и мыслящим существом. Так и Валера, бодро беседовавший с молодыми физиками и математиками о Кафке и Булгакове, смущался заговорить с какой-нибудь инязочкой, у которой за душой не было даже хорошего произношения, не говоря уже о настоящем понимании литературы.

Однокурсницы-спортсменки были покладистыми и деловитыми, Валера знал, что им не в новинку ни его атлетическая фигура, ни физическая сила — они и раньше в основном спали со студентами

Института физкультуры. Конечно, с этими девочками было особо не о чем говорить, и потому Валера довольствовался совместными физкультурными упражнениями, не включенными ни в какую программу, — вероятно, потому, что здесь природа и юность были лучшими преподавателями.

Его подружки были крепкими, сильными и выносливыми; Ира — слабой и хрупкой. Рассмотрев ее первый раз обнаженной, Валера даже испугался: вот сейчас обнимет чуть крепче — и что-нибудь поломается. Но слабость была обманчива — на втором свидании Ира оказалась резкой, неутомимой и жадной. Он хорошо запомнил ее силуэт на фоне окна: встав с дивана, она курила, выпуская дым в открытую форточку.

— Не показывалась бы ты голая соседям, — сказал Валера, потный и уставший, как после часовой тренировки.

— Они примут меня за мальчика, — ответила Ира, показывая на свою грудь, в самом деле почти мальчишечью.

— А волосы?

— Так сейчас у всех такие. — И она засмеялась.

Впрочем, скоро Валера перестал бояться, что ее увидят: густой дым заполнил Москву, из Ириноного окна нельзя было различить соседнего дома, а значит, и оттуда никто не разглядел бы Иру.

Этим летом они встречались почти каждый день. Валера приезжал через час после того, как Ирины родители уходили на работу, — в распоряжении влюбленных было часов восемь, и в конце августа Валера настолько обжился в Ириной квартире, что, когда началась Олимпиада, стал вклю-

чать телевизор — все-таки в цвете все выглядело совсем иначе.

— Ты меня любить приходишь или свой спорт смотреть? — смеялась Ира.

Она вообще много смеялась тем летом — возможно, больше, чем за все годы, что они прожили вместе. Так же, смеясь, она сказала Валере, что у нее задержка.

В тот день Марк Спитц как раз получил седьмую золотую медаль, поэтому Валера не сразу понял, что Ира имеет в виду.

— Что? — переспросил он.

— Я беременна, — сказала Ира.

Валера отвернулся от телевизора и посмотрел на нее. Она улыбалась, и он улыбнулся в ответ.

— Вот и хорошо, — сказал он, хотя и сам не знал, хорошо это или плохо.

\* \* \*

Жене казалось, она ясно помнит эту квартиру, большую и светлую, но теперь стены проросли ненужными вещами, старыми и дряхлыми уже в момент своего появления, отъедающими пространство, источающими пыль и запах неизбежной смерти. Квартира съежилась, иссохла, словно кусок кожи в старом французском романе, стала тесной и маленькой: Женя дважды споткнулась по дороге от прихожей до своей бывшей комнаты — теперь спальни тети Маши.

И хозяйку квартиры Женя тоже не узнала: в постели, укрытая под самый подбородок, лежала сухая морщинистая старушка. Редкие седые волосы,

глубоко запавшие серые глаза, слабый шелестящий голос, такой тихий, что Женя нагнулась, пытаясь разобрать хоть слово.

— Ты приехала, — шепчет тетя Маша, — Оля, доченька.

Женя замирает, склонившись над ней, медлит секунду и говорит:

— Это я, Женя. — И потом добавляет: — Извините.

Когда тетя Маша засыпает, Женя выходит на кухню. Те же ненужные старушечьи вещи, столь неуместные в конструктивистском интерьере, тот же запах тлена и распада. Это как человек, думает Женя. Пухлый, весь в перетяжках младенец пахнет мамой и молоком, в нем нет ничего лишнего, он совершенен, а потом жизнь иссушает его тело, покрывает морщинами кожу, забивает воспоминаниями мозг... столько лишнего! И в конце концов это использованное жизнью тело забывает запах материнского молока и пахнет так же, как эта квартира, — невозвратностью, неизбежностью, скорым завершением.

Тетя Маша уже в конце пути, думает Женя, да и я сама — сколько уже прошла?

Стоя в дверях кухни, она вспоминает, как впервые увидела здесь Володю: круглая голова, темный силуэт, зимний законный свет.

А потом он поднял голову и улыбнулся.

Четверть века прошло, считай, вся жизнь.

Как всегда, Женя ошибается в своих оценках: двадцать пять лет — это не вся жизнь, в ее случае — даже не половина, так, меньше трети.

Но пока Женя этого не знает. Она подходит к телефону, достает из кармана записную книжку и набирает номер. Сначала — длинные гудки, потом — резкий женский голос:

— Аллэ!

— Добрый день, — здоровается Женя, — будьте добры, позовите, пожалуйста, Валеру.

— Щас!

В трубке тишина, далекие шорохи. С каждой секундой Женя все больше боится услышать Валерин голос. Все-таки семь лет прошло, был мальчик, а сейчас уже стал мужчина. Вдруг и его не узнает, как не узнала тетю Машу? Замерев, Женя стоит перед черным телефонным аппаратом и, чтобы не смотреть на рассыхающуюся кухню, закрывает глаза.

И тут из темноты раздается: *Аллэ!* — и Женя сразу улыбается: да, конечно, как она могла подумать, этот-то голос она узнает всегда!

— Валерка, — говорит она, — сынок, это я, тетя Женя, узнаешь меня?

Так первый и последний раз Женя назвала Валеру сыном, но, кажется, он даже не заметил, а изумленно спросил в ответ:

— Тетя Женя, вы где? Всё в порядке?

Стоит Жене войти в прихожую, она сразу чувствует знакомый запах, не сразу даже догадывается, откуда он так знаком, а потом понимает: это запах счастья и молодости.

Валерка выходит ей навстречу: ух какой стал красавец! не узнать! Хотя нет, конечно же, узнать! Всюду, везде Женя узнает своего мальчика!

А он обнимает, ведет на кухню... какая большая, метров восемь, наверное, будет!.. Уже и стол накрыт, а за столом — молодая блондинка, это, конечно, Ирочка, а рядом с ней... батюшки-светы!

— Игорь!

— Женька!

Они обнимаются, хотя, конечно, удивительно, что Женя его узнала: постарел, полысел, потолстел.

— А вы знакомы? — изумляется Валерка.

— Конечно. Игорь же Володин студент.

Валерка хлопает себя по лбу: да, как я мог забыть! — и тут же наливает себе и Игорю водки, а Жене — красного вина.

— Мне тоже налей немножко, — капризно говорит Ира.

Валерка достает еще бокал, наливает едва ли четверть.

— Ну, за встречу!

Чокаются, выпивают.

— Ну, Игорь, расскажи — сам ты как?

— А ты не видишь, Женька? — он поводит рукой. — Отлично все. Хватит, наездился по всяким медвежьим углам, наподнимал советскую науку. Я уже лет пять как по партийно-хозяйственной линии пошел. Видишь, в Москву перевели, квартиру дали... а я и детям еще кооператив купил! Пусть живут в своем доме, верно? Что им со стариками?

Ух ты! Женя восторженно оглядывается.

— Да Валерка не рассказывает ничего, — говорит она. — Не пишет, не звонит. Я только знала, что жену Ира зовут, а что она твоя дочка, не говоря уже про квартиру...



Женя машет рукой, Игорь смеется, Ира молча выходит из кухни.

— А как Гриша? — спрашивает Женя.

Она надеется, что голос ее не выдает. Сразу хотела спросить, первым же делом, ничего ведь о нем не слышала с того самого дня, как они расстались в Куйбышеве.

— Гришка? — переспрашивает Игорь. — Ну, нормально так. Инженер на заводе в Казани, даже, наверное, главный инженер. Женился, конечно... попозже меня, но все равно — давно. Двое детей, а у меня, кстати, только одна, тут он меня обскакал, паршивец. Девчонка и пацан у него... или два пацана? Не помню.

Игорь задумывается, и, словно воспользовавшись паузой, Валерка тоже выскальзывает из кухни.

— А, не, два пацана, точно! — восклицает Игорь. — Евгений и Игорь. Я думаю, в нашу с тобой честь.

Игорь смеется, Женя пытается улыбнуться в ответ, не получается. Да, в самом деле, в их честь. Значит, где-то в Казани живет мальчик Женя, Евгений Григорьевич, живая память о давней любви его отца.

Это мог быть мой сын, думает она.

— А вот внуков у Гришки нет, — продолжает Игорь. — Тут я его сделал, первый дедом стал, здорово, правда?

Женя механически кивает и тут же смотрит изумленно:

— И давно?

— Ну, как давно? — Игорь пожимает плечами. — Две недели уже. Только не говори, что тебе Валер-

ка не написал. Ты ведь внучатого племянника посмотреть приехала?

Запах, понимает Женя. Это не запах молодости и счастья, это просто младенческий запах. Как во многих счастливых молодых семьях.

Она поворачивается к двери: на пороге стоит Валерка, Ира прижимается к его плечу, а в руках у него сверток, и оттуда раздается тоненький писк, жалобный и беззащитный, и Женя сразу вспоминает — двор горбольницы, теплая и шершавая Володина ладонь в ее руке, Оля в окне второго этажа, сверток у нее на руках — и такой же слабый, трогательный младенческий голос из глубины свертка.

Женя переводит взгляд на Иру. Та стоит, прижавшись к Валеркиному плечу, уставшая и сонная...

— Ну, тетушка, возьмите племянника! — говорит Игорь, и Ира почему-то смеется. Валера протягивает сверток Жене, а та медлит и только спрашивает:

— Как вы его назвали?

— Андрей, — отвечает Валера, но в ушах у Жени все раздается Ирин смех, неуловимо знакомый, молодой Оленькин смех.

Женя берет младенца из рук Валеры и краем глаза видит, как Ира обхватывает мужа руками и снова смеется.

В такой же позе они стоят на единственной сохранившейся у Андрея родительской фотографии, только мама в свадебном платье, а папа — в неловко сидящем костюме. Андрей найдет ее, разбирая вещи после смерти матери, и оставит себе. Он очень любит этот черно-белый снимок, любитель-

ский, чуть недодержанный, где вокруг новобрачных все словно залито прозрачным молочно-белым светом, светом молодости, любви и счастья... Он будет часто рассматривать старое фото, но все это — спустя много лет, а сейчас Женя прижимает к себе маленькое тельце и беззвучно повторяет: все уже случилось, все снова случилось само.

Теперь у меня опять есть ребенок.

Она смотрит в красное сморщенное личико, слушает Ирин смех, думает: из Иры такая же мать, как из Оли. Такая же, если не хуже.

И на этот раз не ошибается: через два с половиной года Ира уйдет к знаменитому футболисту, оставив Андрея мужу. В самом деле, кому нужна молодая жена с ребенком? Ира еще не раз выйдет замуж и не раз разведется, но детей у нее больше не будет, Андрей останется единственным.

— Хорошее имя, — говорит Женя и повторяет: — Андрей... или Андрейка?.. Андрюша?..

Не обращая на нее внимания, Валера целует Иру, и только Игорь смотрит на Женю, неожиданно трезво и грустно.

\* \* \*

Сначала Валера не узнал голос — возможно, потому, что Андрейка за спиной заливался на руках у Иры нервическим смехом, грозящим вот-вот перейти в повизгивающие рыдания. *Простите, кто говорит?* — спросил Валера, вжимая в ухо красный динамик телефонной трубки. Мембрана вздрогнула в ответ, сквозь аккуратные дырочки обдав знакомым хохотом.

— Дядя Леня?

— Какой я тебе дядя! — довольно засмеялся Буровский. — Я еще в Грекополе тебе говорил: зови меня просто Леонид...

— Как спартанского царя, — закончил Валера.

Он улыбнулся. Из трубки словно повеяло утренним бризом, захотелось даже лизнуть микрофон, как когда-то собственное плечо, — вдруг на красной пластмассе VEFA проступит морская соль из грекопольского детства?

И пока Буровский рассказывал, как он, совсем случайно, узнал, что Валера, оказывается, давным-давно в Москве, тот так и стоял, улыбаясь, — и тут Андрей наконец разрыдался на руках у Иры.

— Ты это с кем? — спросила она, неприязненно глядя на телефон.

Валера обернулся: всем видом жена показывала, что он мог бы и взять орущего ребенка вместо того, чтобы трепаться. Похоже, Буровский услышал крик, потому что резко оборвал фразу — словно порвалась пленка, натянутая между двумя бобинами «Яузы».

— Запиши мой номер, — сказал он. — А хочешь, просто приходи в пятницу вечером, я тебя заодно со всеми нашими познакомлю.

— Ага, — сказал Валера и потянулся за карандашом, — давай сразу адрес, я приеду.

На кухне у Буровских накурено так, что, входя, хочется руками раздвинуть колышущиеся занавеси табачного сизого дыма, словно задние кулисы в студенческом театре. Сходство усиливают аплодисменты, которыми встречают Валеру. Он огля-

дывается смущенно — может, надо раскланяться? — и с облегчением замечает сидящего на широком подоконнике рыжеволосого бородач с гитарой — тот, судя по всему, только что допел. Слава богу, хлопали не мне, думает Валера.

Большеносая женщина с черной челкой и быстрыми глазами вскакивает, говорит «Садитесь!», Валера отказывается, но Буровский, обхватив за плечи, приземляет его на табуретку.

— Это Мила, моя жена, — шепчет он.

Бородач поет следующую песню. Сначала Валера смотрит, как бьют по струнам длинные сильные пальцы, чуть тронутые рыжеватым пушком, и только потом начинает вслушиваться в слова: одинокий мужчина с рюкзаком идет от деревни к деревне, в каждой деревне видит нищету и запустение. «Куда я иду, и долго ли мне идти?» — спрашивает он в припеве. «А чего пошел, если не знаешь куда?» — думает Валера, который не любит ни туристов, ни походную песню, но тут рыжеволосый добирается до деревни, посреди которой стоит заброшенная церковь. Он входит в распахнутые двери и слышит звон давно исчезнувшего колокола.

— Я опускаюсь на колени, — ударяет по струнам бородач, — я долго шел... и я пришел домой!

Все снова аплодируют, Валера тоже хлопает несколько раз. Ему неловко: шел в гости к старому знакомому, а попал на концерт.

— Ох, Марик, как я люблю эту твою песню, — говорит певцу Мила. — Прямо вот за сердце берет, особенно в конце.

— На самом деле я тут ничего не придумал, — отвечает Марик, — все вот так и было. Только я не

один, конечно, был, это когда мы с ребятами в прошлом году в Карелию ходили...

— Но это, наверное, все равно такая аллегория? — спрашивает невысокий мужчина лет сорока, сидящий справа от Валеры.

— Ну конечно, Витя, это аллегория, — вздыхает Мила. — Это же песня о поиске веры...

— Это я понял. — Витя пожимает плечами. — Я просто все время забываю, что есть люди, которым надо *искать веру*. Для меня вера — самая естественная вещь на свете.

— Ну, Витьке повезло. — Певец откладывает гитару. — Он у нас вообще как птичка небесная — не пашет, не сеет...

— Так ведь и было завещано. — Витя чуть заметно улыбается.

Мила разливает чай, ставит на стол вазочку с сушками. Валера рассматривает гостей: все они старше него, да и, пожалуй, чуть постарше Буровского. Одеты в вязаные свитера и ношенные ковбойки, человек, наверное, десять-двенадцать, мужчины и женщины. Заметив Валерин взгляд, Буровский, спохватившись, представляет его гостям: *это сын моего любимого институтского научного руководителя, профессора Дымова, я вам о нем рассказывал.*

Гости называют свои имена, выясняется, что большая часть работает с Буровским в одном институте или где-то еще занимается химией; протягивая руку, они докладывают Валере о сфере своих научных интересов, решив, видимо, что он ученый, как и его отец. Только Витя молча стискивает Валерину кисть.

— А вы чем занимаетесь? — спрашивает Марик.

— Я — учитель физкультуры, — отвечает Валера, чуть дернув подбородком. Он думает, что это выглядит немного высокомерно, такой жест был бы уместен после слов «я — космонавт» или «я — академик», поэтому добавляет, пожав плечами: — В обычной школе, ничего такого.

— Как интересно! — восклицает Наташа, округлая розовощекая блондинка. — Я всегда хотела работать в школе!

— Это советская школа, — перебивает ее Витя, — в ней слишком много лжи.

— Даже на физкультуре?

— Ну, в партию-то все равно надо вступать, — отвечает Витя, затягиваясь.

— Я пока не вступил, — говорит Валера, — но вообще-то в партию приходится вступать, где бы ты ни работал.

— А я нигде официально не работаю, — сообщает Витя. — Я считаю, это единственный способ не участвовать в преступлениях нашей безбожной власти.

— А хлеб в булочной ты тоже не покупаешь? — спрашивает Буровский.

— При чем тут хлеб?

— А он такой дешевый, потому что большевики ограбили крестьянство и продолжают грабить сегодня.

— Ну, в любом случае я не покупаю хлеб, — отвечает Витя. — Мне его обычно приносят другие люди.

— Ты так живешь просто потому, что у тебя нет детей, — говорит Мила.

— Если бы у меня были дети, — возражает Витя, — Бог дал бы мне денег и на них. Но вообще, тот, кто действительно хочет идти путем праведника, должен уметь отказываться от всего лишнего. В том числе — от детей.

— И от женщин? — спрашивает Наташа, и ее розовые щеки становятся алыми.

— И от женщин, — твердо говорит Витя. — Если есть стремление к подлинной жизни, от всего можно отказаться.

Валера пожимает плечами: его жизнь и так достаточно подлинная, ни от чего отказываться он не собирается. Он забудет Витины слова и вспомнит только через полгода — неожиданно для самого себя.

В те выходные Андрейка, как всегда, будет у тети Жени, и Валера с Ирой останутся дома вдвоем. Проснувшись, Валера увидит, что жены нет в постели, окликнет, не услышит ответа, встанет и, выйдя на кухню, увидит Иру: она будет сидеть за столом, уронив голову на скрещенные руки. Валера поцелует ее в трогательно выступающий на худой шее позвонок и уже было скользнет рукой к груди, но тут Ира встряхнет головой, сбрасывая его поцелуй, как назойливого слепня, обернется и посмотрит на него красными, сухими глазами.

— Что случилось? — спросит Валера, а она ответит незнакомым голосом, чужим и дрожащим:

— Ничего. Разумеется, ничего не случилось. Всё как всегда. Ты даже не замечаешь, что я за эти два года постарела на десять лет!

— Ну что ты! — Валера попытается ее обнять, но Ира ударит его в грудь крепко сжатым худым кулачком:



— Ты мне ни одной новой вещи не купил за все это время! Я так и хожу в обносках! И от тебя — никакой благодарности, ты меня только лапать горазд! А ты даже не представляешь, от чего я ради тебя отказалась!

И вот тут-то Валера и скажет: *ну, если любишь — от всего можно отказаться!* — скажет даже быстрее, чем поймет, что переиначивает вроде бы давно забытые Витины слова. Услышав это, Ира застынет, и Валера сразу пожалеет, что так сказал, — еще до того, как Ира разрыдается.

Пройдет месяц, прежде чем она заведет первого любовника, и полгода — прежде чем уйдет от мужа. Но Валера всегда будет помнить: их развод начался тем самым воскресным утром, начался со слов «от всего можно отказаться».

\* \* \*

Будильник, как всегда, звонит в семь. По привычке Валера тянет руку к изголовью, где должна быть тумбочка, — рука проваливается в пустоту и уже у самого пола прерывает механическую трель. Ну да, опять забыл, что спит не в своей кровати, а в кухне на раскладушке.

Валера включает электрическую плиту — пусть нагреется — и идет в душ. Хорошо, что Алла не встает так рано, можно спокойно ходить по квартире в одних трусах, как привык, а иначе было бы неловко, вдруг подумает, что он хочет ее соблазнить?

Валера горько усмехается — Ира оставила его полгода назад, и он даже ни разу не подкатывал

к другим девушкам. Живет в полном воздержании, почти как в армии.

Валера ставит на плиту сковородку, разбивает два яйца. Вот и завтрак — дешево и сердито. А пообедал, как всегда, в школе.

Ставит грязную тарелку в раковину, заливает водой... думает: *помою вечером*, хотя, конечно, знает: когда вернется, все уже будет вымыто.

Алла вообще сразу навела в доме порядок. То есть Валере *казалось*, что у него и так был порядок, но выяснилось, что мужской и женский порядок различаются, как *инь* и *ян*.

Про *инь* и *ян* Валера прочитал в очередной машинописи, которую дал ему Буровский: приезжая из своего Чертанова, он каждый раз привозил несколько папок с самиздатом; в этот раз вместо уже поднадоевших книг о сталинских репрессиях он принес полученную от розовощекой Наташи темно-синюю папку с несколькими ксероксами и слепой копией переведенной с английского книги про восточную мистику, которую Валера полистал в первый вечер, а потом отодвинул до лучших времен... впрочем, кое-что ему запомнилось. Как минимум он узнал новые слова: вот, скажем, *инь* и *ян*.

Валера входит в школьный двор, весь усыпанный оранжевыми и желтыми листьями. Пожалуй, золотая осень — самое любимое время года в Москве, этом бессмысленном городе без моря. Иногда Валера спрашивал себя: почему я не уезжаю в Грекополь? Там наверняка тоже нужны учителя физкультуры. Но вообще-то он знал ответ: слишком много

друзей живет в Москве, вряд ли в провинциальном южном городе можно найти им замену.

Осеннее солнце косыми лучами пробивается сквозь ало-желтую листву, Валера взбегаёт на крыльцо и почти сразу же останавливается: на вершине лестницы возвышается Александра Петровна Воронцова – несокрушимая, словно дозорная башня.

– Добрый день, Александра Петровна.

Валера делает ещё шаг ей навстречу. Ноги предательски дрожат, будто он – школьник, опаздывающий на первый урок.

– Здравствуйте, Валерий Владимирович, – отвечает Воронцова. – Вы ведь вчера опять не были на собрании?

– Так я же не член партии, – пытается улыбнуться Валера. – Я разве должен?..

Серые глаза Воронцовой, увеличенные линзами очков, смотрят на него сверху, прозрачно и холодно:

– Должны, конечно. Это общее собрание. Вы ведёте себя вызывающе и неуважительно, постоянно прогуливая общественно значимые мероприятия, и мы поэтому решили поручить вам к следующему разу подготовить доклад о международном положении.

Он поднимается ещё на ступень – теперь они с Воронцовой стоят почти вровень. Он видит, как луч солнца на мгновение вспыхивает в стеклах очков, словно собеседница ему подмигнула.

– Боюсь, я опять не смогу прийти, – говорит Валера. – У меня очень много работы. Надо изучить новые методические указания, вы же понимаете? Нормативы, все такое...

Воронцова уже не смотрит на него; задрав тройной подбородок, озирает окрестности, выискивая новую жертву. Валера проскакивает в дверь за ее спиной.

По дороге в спортзал Валера заходит в учительскую — поздороваться с коллегами. Ему нравится, что он работает в хорошей английской спецшколе, и, хотя дети иногда попадаются излишне заносчивые, он рад, что на перемене всегда можно перекинуться с другими учителями парой слов про последний фильм Тарковского, обменяться впечатлениями от выставки на Малой Грузинской или обсудить, как Давид Тухманов использует на своей модной пластинке стихи полузапретных Волошина и Ахматовой. Сегодня Валера пришел рано — в учительской только «англичанин» Константин Миронович Грановский, один из немногих мужчин в школе.

Они здороваются, и Грановский говорит:

— Давно хотел вас спросить, Валерий Владимирович, как вам «Дом на набережной»?

Роман Трифонова про Дом Правительства напротив Кремля вышел еще в январе, номер «Дружбы народов» был нарасхват, и многие прочитали его только недавно. Валере, впрочем, еще в марте принесли ксерокс, так что сейчас он уже успел его подзабыть.

— Хорошая книжка, — говорит он, — но вы же сами понимаете, в этой теме есть писатели и сильнее.

— Вот-вот, — кивает Грановский, — я то же самое сказал. Но сам факт, что это напечатали... по-моему, это положительная тенденция. Если вы понимаете, о чем идет речь.

Валера тоже кивает. Конечно, интеллигентные люди понимают друг друга без слов.

Во время уроков Валера нет-нет да вспоминает: Алла уезжает завтра. Все-таки за три недели он привык к ней, хотя и соскучился без Андрейки.

Она позвонила в тот вечер, когда Буровский принес от Наташи папку с переводным самиздатом. Валера с Леной пили водку и говорили о Солженицыне.

— Жить не по лжи — прекрасный лозунг, — объяснял Буровский, — но он никогда не будет работать. Это не цель, а попытка самоутешения. Мы все знаем, что бывает ложь во спасение, значит, можно жить и по лжи, и не по лжи. Главное — знать, для чего ты живешь, а потом уже решать — как. А если человек не знает «зачем?», никакому «не по лжи» он следовать не будет. Все это — в пользу бедных, хотя, конечно, очень привлекательно.

Валера хотел возразить, что если «зачем?» требует лгать, то это какое-то странное «зачем?», но тут как раз зазвонил телефон, и, услышав в трубке незнакомый женский голос, Валера не сразу сообразил, что говорит с дядиной вдовой. Алла собиралась в Москву и спрашивала, нельзя ли остановиться у Валеры. Тот ответил «конечно», а наутро сам себя ругал: зачем мне в доме посторонняя женщина? Я даже не помню ее толком: виделись-то всего раз, на проводах в армию. Кажется, она была намного моложе дяди Бориса, а юная девушка и старик всегда вызывали в памяти картину «Неравный брак», где богатый седой сановник с прямой спиной покровительственно

смотрит на невесту, с трудом держащую в руках горящую свечу. Впрочем, сообразил Валера, вышедший из лагеря дядя был гол как сокол, поэтому вряд ли Алла польстилась на его деньги.

Так или иначе, делать было нечего: на эти три недели Андрей переехал к тете Жене, Алла поселилась в спальне, а Валера — на кухне. Как-нибудь перетерплю, сказал он себе, а вот терпеть и не пришлось, и теперь Валера жалеет даже, что Алла уезжает завтра: она оказалась отличной соседкой, и не только потому, что сразу навела в квартире женский порядок, — вдобавок Алла обладала удивительным даром деликатности. Когда Валера хотел побыть один, Алла исчезала, но стоило ему подумать «что-то давно ее не видно», она появлялась — то с полной сумкой неведомо где купленных огромных спелых яблок, то с билетами в ближайший кинотеатр.

Ей было лет тридцать пять, и, значит, когда она вышла замуж, дядя Борис был старше ее почти в два раза. Он умер три года назад, и Алла приехала в Москву, надеясь добыть из недр КГБ дело реабилитированного мужа, — то самое, на котором должно быть написано «хранить вечно». Валера сразу сказал, что шансов фактически нет, но Алла ответила: ну и ладно, почему бы ей не провести часть отпуска в приемных и архивах?

Отпуск заканчивался через два дня, и, разумеется, никакого дела Алле так и не выдали. Ну, главное, чтобы ее саму не арестовали, говорила по этому поводу тетя Женя, подобно всем людям ее поколения, боявшаяся, «как бы чего не вышло».

Сама Женя жила в квартире на Усачева, куда после смерти Марии Михайловны помог ей пропи-

саться Игорь Станиславович. После Валериного развода она сильно помогала ему с Андрейкой.

— Я думал, ты вернешься в Энск, к папе и маме, — сказал ей однажды Валера, но тетя Женя только пожала плечами: мол, с чего ты взял, мне и тут хорошо.

Этот жест остался у Валеры в памяти, и только вечером, уже засыпая, он понял, в чем дело: пожатие плеч получилось у Жени каким-то деланным, ненастоящим. Эта фальшь так удивила Валеру, что о родителях он с Женей больше не заговаривал.

Сама она тоже никогда не упоминала Володю и Олю.

В прихожей Валера сразу чувствует пряный запах — Алла готовит. Все это время он удивляется, как из самых обычных продуктов, которые есть в любом магазине, можно готовить все эти яства — не то восточные, не то южные. Алла говорит, весь секрет в специях, которые она привезла с собой, но Валера думает, что она просто знает какие-то тайные бурятские рецепты.

Так и есть: на кухонном столе — десяток глубоких тарелок, нежные облачка пара дрожат в воздухе. Алла достает из холодильника «Столичную» и сдирает крышечку.

— О, мы сегодня выпиваем? — говорит Валера.

— Последний день, — отвечает Алла, — как же без этого?

Выпивают по первой, Валера тащит в рот кусок... кстати, кусок чего?

— Это курица? — спрашивает он.

— Не скажу.

Алла часто улыбается, но это слабая, еле заметная улыбка: губы чуть-чуть растягиваются, а глаза становятся еще уже.

— Спасибо, что приютили меня, — говорит она.

— Жалко, что у вас ничего не вышло, — вздыхает Валера. — Но я предупреждал: гэбэшники секретами не делятся.

— Я была к этому готова, — отвечает Алла. — Зато хорошо провела время, посмотрела Москву.

Валера кивает.

— Дядя Борис был для меня очень важным человеком. Когда первый раз его встретил, сначала испугался... принял за шпиона.

— Не вы первый, — без улыбки замечает Алла. — Его уже принимали за шпиона. Кажется, за японского. Я не запомнила, а в дело заглянуть не удалось. Там-то наверняка все написано.

«Не курица. И не утка. Может быть, свинина? Или рыба? Есть ли вообще в Бурятии рыба?» — спрашивает себя Валера и продолжает вспоминать:

— А потом я услышал его разговор с отцом, и Борис сказал: где бы мы ни оказались, мы должны бороться. Не надеяться на медленные перемены, как мой папа, а сражаться, как на фронте. Я был мальчишка, мне это очень запомнилось. Наверное, я тогда и решил, что не должен идти, ну, проторенными тропами, — и не стал учиться ни на химика, ни на врача, чтобы не быть похожим ни на папу, ни на тетю Женю. Сейчас иногда думаю, что это все какая-то глупость.

— Ну, зато ваши тропы — только ваши, — улыбается Алла, — и они вполне нехоженые. А если гово-



ритель про борьбу — надо знать, за что бороться или хотя бы против чего.

— Для меня, — отвечает Валера, — это прежде всего внутренняя борьба. Я пару раз читал «Хронику текущих событий», и вот вся эта война с советской властью... нет, это не для меня. Много чести этой власти, чтобы я с ней воевал. Я предпочитаю ее не замечать.

— Борис считал иначе, — отвечает Алла, — но у вас же свой путь. И если он проходит так, что вы можете не замечать советскую власть, то вам очень повезло. Но, боюсь, если вы работаете в школе, вам это недолго будет удаваться.

— Я всего-навсего учитель физкультуры, — пожимает плечами Валера. — Кому я нужен?

— Всем тем, кто замечает советскую власть. Рано или поздно они захотят, чтобы вы ее тоже заметили.

— Я отобьюсь, — усмехается Валера.

— На то, чтобы отбиться, уходит очень много сил, — говорит Алла. — И в любой битве страдает слишком много невинных.

Валера кивает:

— Да, мой тесть тоже так говорил. Мол, за твое желание жить не по лжи платит твое начальство, которое должно тебя прикрывать. Поэтому лучше вступить в партию и вообще играть по правилам.

Алла качает головой:

— Лучше уйти, не вступая в битву.

— А куда уйти-то? — пожимает плечами Валера. — Помню, один парень говорил, что не участвует в преступлениях советской власти, пото-

му что нигде не работает. А Буровский его спросил: а хлеб, мол, ты тоже не покупаешь? Потому что...

— Уйти надо не для того, чтобы не участвовать, — перебивает его Алла, — а чтобы идти своей личной дорогой. Главное только знать — куда.

Вот о том же и Буровский говорил, вспоминает Валера. Пока не знаешь, зачем живешь, не имеет смысла обсуждать — как.

— Я как-то не спрашивал себя, куда иду, — произносит он. — Думаю, если я избежал легкого пути и не участвую во лжи, которая всюду вокруг, это уже хороший результат.

— Это хороший результат, — соглашается Алла. — Хороший промежуточный результат.

Она поднимает рюмку и говорит:

— Ну, за то, чтобы мы знали, чего хотим, и знали, как этого достичь!

Выпив, Валера цепляет вилкой что-то бордовое и желеобразное, отправляет в рот и тут же сгибается вдвое, кашляя и едва не плача. Рот пылает, словно туда влили стакан кипятка.

Алла смеется — тихим и шелестящим смехом:

— Простите, надо было предупредить. О, у вас даже слезы выступили! Это очень хорошо для вашего организма, хотя немножко больно.

— Немножко? — Валера с трудом переводит дыхание.

— Я сейчас вам помогу. — Алла встает и, обойдя стол, подходит к Валере. Положив ладони ему на щеки, она наклоняется совсем близко и, закрыв глаза, целует Валеру в полуоткрытые губы, пылающие от приправ.

Гольий, Валера идет на кухню и, нагнувшись над раковиной, делает несколько глотков холодной воды. Обернувшись, видит Аллу на пороге. Ее груди смотрят на него сосками, как второй парой глаз.

— Что это было? — спрашивает Валера хрипло.

— Кажется, теперь это называют словом «секс», — отвечает Алла.

— Тогда я не уверен, что раньше занимался сексом.

— Вы ни в чем не уверены, — говорит Алла, — потому что не знаете, чего хотите и куда идете. Вы хороший человек, но нельзя прожить всю жизнь, стараясь только избегать чужих дорог. Надо найти свою.

— А это связано с тем, чем мы занимались?

Алла, раздвинув ноги, садится на табуретку. Валера отводит глаза.

— Все связано со всем, — говорит она. — Вот посмотрите. Последние десять лет вы работали со своим телом: тренировали его в армии и в институте, а сейчас поддерживаете в хорошей форме...

— Ну, это моя работа.

— И вместе с тем, — продолжает Алла, — вы ходите на выставки, читаете книги, смотрите фильмы... и про все это то и дело думаете и говорите. И эти две части вашей жизни никак между собой не связаны.

— А должны?

— Конечно. Вот когда вы занимаетесь сексом — что это? Это про тело, про знание или про душу? Или про все сразу?

— Мне кажется, и тело, и душа участвовали, когда мы были с Ирой, — отвечает Валера. — Это потому, что я ее любил.

— Я не уверена, что вы любили свою жену, — замечает Алла. — Вы думали, что любите, но на самом деле любили девушку, которую сами себе сочинили. Вам показалось, что она веселая и хрупкая, потому что она так себя вела и так выглядела. Но, возможно, она была грустная и прочная, а вы не заметили. И возможно, поэтому она от вас и ушла.

— Она ушла, потому что хотела денег и легкой жизни. И не хотела заниматься ребенком.

— Может быть, — кивает Алла. — А может быть, нет. Я же ее никогда не видела, что я могу вам сказать?

Валера допивает остатки водки. В голове шумит.

— Вы раньше развивали свое тело, — говорит Алла, — а теперь должны слить с ним свой дух. Ваш друг принес вам много книг, часть — ерунда, но часть стоит прочесть. Там есть неплохие упражнения.

— Я не люблю всякую восточную мистику, — отвечает Валера, — я западный человек. А вы, напротив, — с Востока.

Алла смеется:

— Вы думаете, это меня мудрые старики буряты научили? Да я никогда не жила с бурятами, я родилась в ссылке. Мой отец, с которым я выросла, был из Петербурга, а мать-бурятка умерла, когда я была совсем маленькой. Все это я узнала от других ссыльных, они были вполне западные люди — москвичи, петербуржцы. Просто они до революции читали не те книги, что читают сегодня, — и не забыли их, и пересказывали мне. Вот и все, никакой восточной мистики.

— Хорошо, — кивает Валера. — Я почитаю, что там принес Леня.

— Потом почитаете, а теперь лучше идите ко мне: по-моему, вы уже отдохнули.

Они лежат, обнявшись, Валера глядит за окно: восходящее солнце понемногу золотит осенние листья маленькой рощи.

— Светает, — говорит он, — как жаль.

— Я люблю рассвет. Мое бурятское имя Алтантуя, Золотая Заря.

— Мне жаль, что ты уезжаешь, — говорит Валера.

— Это хорошо, что я уезжаю, — отвечает Алла. — Так я останусь для тебя загадкой. А у меня просто своя жизнь, и в ней свой смысл, о котором ты ничего не знаешь. Может, если бы ты узнал меня по-настоящему, ты бы понял, что я обычная, такая же, как все.

— Но я же вижу — ты не такая, как все.

— Я просто читала хорошие книги, и у меня были хорошие учителя, — отвечает Алла и, помолчав, добавляет: — Поэтому я могу помочь тебе.

Валера целует ее в губы — и тут на кухне звонит будильник.

После уроков Грановский заглянул в тренерскую.

— Есть минутка, Валерий Владимирович?

— Конечно! — Валера снял с шеи свисток и повесил в шкафчик.

— Я по поводу вашего доклада на собрании... на той неделе.

Валера посмотрел на Грановского с изумлением:

— Я не собираюсь туда идти.

Тяжело вздохнув, Грановский опустил на скамейку.

— Послушайте, Валера, — начал он. — Я вам скажу, как человек старше и опытней вас. Вы неправильно себя ведете. Нельзя противопоставлять себя всему коллективу, да еще так вызываясь. В конце концов, мы отчитываемся о посещаемости этих бессмысленных мероприятий...

— Пусть поставят за меня крестик.

— То есть вы лично не хотите врать, но предлагаете это делать другим? Так сказать, взять на себя ваш грех?

Не спавший этой ночью Валера вдруг услышал голос Аллы, повторявший вчерашнее «в любой битве страдает слишком много невинных», и, вспомнив прошедшую ночь, на миг забыл и про Грановского, и про будущее собрание.

— Так что, Валера, не валяйте дурака. Приготовьте доклад, расскажите нам про визит Каддафи к Бокассе или еще про что-нибудь, а лучше — просто вступайте в партию, будьте как все.

— То же самое мне говорил мой тесть, — вспомнил Валера. — Точнее, бывший тесть, хотя это и неважно.

— Похоже, ваш бывший тесть умный человек, — сказал Грановский, вставая. — Подумайте над его словами и сделайте правильный выбор... — На пороге он обернулся и добавил с улыбкой: — Вы же понимаете, о чем идет речь.

Квартира непривычно пуста. Ее чистота еще хранит память об Алле, но Валера знает — день за днем эта память будет стираться. Раскладушка убрана

в коридор, кровать застелена, на кухонном столе — связка ключей и раскрытая темно-синяя папка. Валера садится и переворачивает листки, почти не глядя. Похоже на сборник упражнений по гимнастике.

Звонит телефон.

«Может, Алла?» — думает Валера, хотя знает: ее поезд ушел три часа назад.

— Валера, привет! — Он даже не сразу узнает голос тестя. — Ирка тебе не звонила?

— На прошлой неделе, кажется, — отвечает Валера. — А что, опять сбежала куда-то?

Игорь вздыхает:

— Да, уже два дня ни слуху ни духу.

— Не волнуйтесь, Игорь Станиславович, — успокаивает Валера. — Найдется, как в прошлый раз, где-нибудь в Сочи...

— Да звонил я уже в Сочи!

— Ну, не в Сочи, так в Коктебеле. Это же не первый раз она так... чудит.

— Как мы ее с Дашей упустили, ума не приложу, — снова вздыхает Игорь Станиславович. — Такая была хорошая девочка, а выросла какая-то ..., прости за грубое слово.

«Ничего страшного», — хочет сказать Валера, но, спохватившись, отвечает:

— Ну зачем вы так, Игорь Станиславович. — И вдруг неожиданно для самого себя выпаливает: — А я увольняюсь из школы.

— Вот те на! — В голосе тестя — искреннее изумление. — Тебе же так нравилось!

— Хорошая работа, — соглашается Валера. — Но помните, вы мне говорили, что за мое чистоплюй-

ство отдуваются другие? Я этот разговор хорошо запомнил.

— Валер, ну я же ровно в другом смысле! — возмущается Игорь Станиславович. — Ты меня не понял, что ли?

— Конечно, я вас понял, Игорь Станиславович, — отвечает Валера, продолжая листать папку. — Но я вот решил ровно в этом смысле.

Пожалуй, стоит разобраться, думает он, рассматривая схематичные изображения человеческих тел, с трудом различимые на слабом ксероксе.

— И чем же ты будешь заниматься? — спрашивает Игорь Станиславович.

— Что-нибудь придумаю, — отвечает Валера, — пока не знаю еще.

Но на самом деле он уже *знает*, только не может выразить словами.

## 6

Женя не слышала этот смех уже много лет, но теперь, переливчатый и журчащий, он то и дело вспыхивал резкими, высокими нотами, словно позаимствованными у тети Маши. И все равно это был Олин смех — тот самый, который Женя услышала, едва войдя в квартиру.. в тот день, когда Володя впервые пришел к ним, давным-давно, двадцать пять, нет, двадцать шесть лет назад.

Казалось, Оля навсегда утратила свой смех после рождения Валерки, но вот сейчас рассмеялась один раз, потом другой, снова и снова. Что ее так насмешило? Неужели дурацкий Костин анекдот?



Костя Мищенко был белобрысый, невысокий, улыбчивый. Очки придавали ему сходство с Шуриком из «Кавказской пленницы», а розовые, круглые торчащие уши — с трогательной пластмассовой зверюшкой из детского магазина. Он учился на четвертом курсе, собирался писать диплом у Владимира Николаевича и часто заходил в гости по вечерам — не то обсудить будущую тему, не то утолить студенческий голод нажористым профессорским ужином. Иногда Володя доставал мерцающий множеством граней графин со спиртовой настойкой. После первой же рюмки Костя краснел, и смешные уши вспыхивали, словно кто-то его за них оттаскал, как в детстве. В такие минуты он не знал, о чем говорить, и потому принимался натужно, неумело шутить или рассказывал анекдоты, мучительно подбирая приличные, избегая политических тем и боясь затронуть даже Хрущева, давно уже отчавившего со страниц газет и учебников. Чукчи оказались последним его пристанищем, хотя анекдоты про них были неумными и неумелыми, а Жене вдобавок казалось пошлым и неправильным рассказывать анекдоты про национальности, будь то чукчи, евреи или грузины. Она отлично помнила: несколько лет назад у Володи был аспирант с Чукотки, нормальный парень, даже и поумнее Кости, если присмотреться.

А Оле анекдот показался смешным — и она рассмеялась, легко и переливисто. Володя только раздвинул уголки губ.

— Смешно, — ровно сказал он, — хотя, конечно, несправедливо. У меня вот лет пять назад был аспирант...

Теперь улыбнулась Женя — когда им с Володей приходили в голову одни и те же мысли, она всегда думала, что не зря всю жизнь прожила рядом с ним: человека ближе она никогда не встречала. Всего один раз они не сошлись во мнениях — из-за Валерки, семь лет назад, но, может, Володя и был прав: вроде Валера в Москве и пишет, что все у него хорошо — институт закончил, женился...

— Не занудствуй, — сказала Оля и надула губки позабытой гримаской, отрепетированной четверть века назад. — В самом деле ведь смешно. — И снова хихикнула.

Костя выскочил Жене навстречу, тяжелая дверь подъезда хлопнула за его спиной, и розоватая краска разлилась по щекам, точно звуковая волна от хлопка визуализировалась на лице нелепым румянцем.

— Здравсте, Евгения Александровна, — буркнул он и поспешил прочь, не дожидаясь ответного приветствия.

Стоя на ступеньках подъезда, Женя долго смотрела ему вслед: на побеленном снегом тротуаре их следы переплетались, как две пунктирные линии, проведенные дрожащей — вероятно, от смущения — рукой. Костя удалялся поспешным, торопливым шагом, и по спине его было видно, что он изо всех сил пытается не оглянуться, опасаясь увидеть, как она, Женя, глядит ему вслед. Когда он исчез в арке, Женя вошла в подъезд и поднялась на третий этаж, стараясь не думать, что означает эта неожиданная встреча.

Утром Оля позвонила ей в поликлинику. Она получила телеграмму из Москвы, от одной из подруг

тети Маши — еще довоенной и потому знавшей, что у той где-то есть дочь.

— Пишет, что мама больна, — сказала Оля. — Сильно больна.

Голос ее почти не дрожал, но Женя все равно отпросилась после обеда с работы, чтобы поехать к сестре. Перед уходом из поликлиники она позвонила, но Оля не сняла трубку. Наверное, вышла в магазин, подумала Женя и усомнилась: может, зря я так? — но главврач уже отпустил, и было бы глупо возвращаться в кабинет: ее больных все равно перенаправили к Ритке на третий этаж.

Женя открыла дверь своим ключом, крикнула: *Эй! Это я!* — и, не дождавшись ответа, повесила на вешалку тяжелое влажное пальто, сняла разбухшие сапоги и пошла в комнату.

Оля выскочила ей навстречу — точь-в-точь как Костя несколько минут назад. От нее пахло детским мылом, распаренным женским телом и еще какой-то трудноуловимой, почти незнакомой сладостью. Оля стояла на пороге ванной в облаке свежего тумана, в блекло-голубом, в крупных цветах халате, распахнутом, накинутом на голое тело.

— Ой! — сказала она, увидев Женю, и запахла медленно и томно.

А потом рассмеялась переливчато.

— Ты меня напугала, — сказала она, улыбаясь. — Я вот в душ сходилa, а тут ты...

Женя стояла перед ней — с растрепанными, как всегда, волосами, в темно-синем кримпленовом платье, в чесучих шерстяных рейтузах, в сношенных гостевых тапках. Внезапно ей стало жарко,

пот выступил под мышками, тонкой струйкой спустился по спине.

— Костя, — шепотом сказала она. — Костя был у тебя.

Женя думала, что Оля начнет запираться, как в детстве, передернет плечами, скажет: *ты что? с чего ты взяла?* — и смотрела ей прямо в глаза, чтобы сразу распознать предательский блеск лжи в глубине зрачка, и Оля действительно передернула плечами, но потом снова улыбнулась и сказала:

— Ну да. А что?

Несколько лет назад они втроем ходили в парк аттракционов, где гигантские качели с каждым колебанием все выше возносили к небесам отдыхающих, и те взвизгивали то ли от счастья, то ли от головокружения. Когда горизонт стал дыбом, Женя зажмурилась — и сейчас тоже на мгновение прикрыла глаза, потому что коридор внезапно качнулся... она попятилась, вспотевшей ладонью нащупала стену и прошептала:

— А как же Володя?

Оля шагнула ей навстречу. Женя снова ощутила непривычный сладкий запах и вдруг поняла: это запах счастья, запах удовлетворенной, довольной женщины.

— Глупая, — сказала Оля, — при чем тут Володя? Володя сейчас на работе, он ничего не узнает.

Обхватив сестру за плечи, Оля повела ее в комнату, и Женя шла, как сквозь сон, как через туман, сотканный из пара ванной и испарений талого апрельского снега. Продолжая обнимать, Оля усадила Женю на диван. На столике стояли два бока-

ла — на дне сладкие и вязкие лужицы, на краю одного — ярко-красные отпечатки. Женя смотрела на следы помады, наслаивающиеся друг на друга, и это было единственное яркое пятно в тумане, из которого доносился Олин голос, говоривший, что каждая женщина, между прочим, имеет право на счастье, а она все-таки женщина, хотя ей и вырезали яичник, и кто-кто, а Женя прекрасно знает, как она тяжело болела и как тяжело переживает из-за операции, а еще ей скоро сорок пять, и она, между прочим, могла бы быть актрисой, а вместо этого всю жизнь промоталась в какой-то провинции, и, между прочим, иметь молодого любовника — это нормально, вот, кстати, знаешь анекдот? женщина идет, подняв голову, потому что имеет любовника, женщина идет, опустив голову, потому что имеет любовника, и вообще, если женщина имеет голову, она имеет любовника — и Оля снова рассмеялась, и в этом смехе стали еще слышнее резкие взвинченные нотки ее матери. Женя вспомнила, как тетя Маша говорила Володе: «Мне скоро сорок, и мы с вами почти сверстники, но вы — молодой мужчина, а я — женщина на излете». А теперь Володе пятьдесят пять, Оля нет и сорока пяти, а тетя Маша — Женя вдруг ясно это поняла — тетя Маша умирает в Москве, в той самой квартире, где Женя когда-то встретила Володю.

— А как же Володя? — повторила она. — Ты совсем его не любишь?

— Дурашка, — сказала Оля, — почему не люблю? Люблю, конечно... ну, как любят мужа. А Костя... Костя — это другое.

Оленька полуприкрыла глаза. Блуждающая, мечтательная улыбка скользнула по ее лицу слабым проблеском счастья.

— Но так же нельзя... — проговорила Женя.

— Почему нельзя? — ответила Оля. — Можно. Все можно, если любишь.

Женя отпихнула сестру и сказала с неожиданной злостью:

— Нельзя — потому что это предательство.

— Ах, вот как? — с досадой спросила Оля. — Предательство? Да ты просто ничего не понимаешь в любви. У тебя ведь и мужчины никогда не было, правда? Старой девой жила — старой девой умрешь. Ты, наверное, и не любила никого — только себя.

Внезапно туман рассеялся, словно кто-то навел Женин взгляд на резкость. Безжалостно и четко она увидела комнату во всех деталях: обои в мелкий цветочек, отходящие от стен по швам, тусклая лакированная дверца шкафа, исчерченная царапинами, скрипучий паркет, истоптанный поколениями Володиных студентов, серо-зеленоватый, уже теряющий форму диван... немолодая женщина с покрасневшим носом, редующими волосами, морщинами, разбегающимися от уголков рта и глаз, словно паутина, норовящая захлестнуть все лицо.

Женя улыбнулась, дико и торжествующе.

— Это я никого не любила?! — воскликнула она. — Да я всю жизнь люблю одного мужчину! Всю жизнь живу с ним! Это же всем понятно, только ты, как всегда, не в курсе.

Стоя под горячими струями воды, смывая запах своего любовника, Оля сохраняла то мурлычу-

щее, сонное, счастливое тепло, что пригрелось в глубине ее тела. Даже выйдя из ванной и нос к носу столкнувшись с незваной гостьей, она до последнего надеялась не расплескать это непривычное чувство — и, даже обнимая сестру и говоря милые глупости, которые слабые люди всегда говорят в свое оправдание, она то и дело примурлыкивала, словно хотела поделиться с Женей своей сытой кошачьей радостью. Оля была распаренная, расслабленная, разнеженная, и потому неосторожные Женины слова вошли в нее легко — так нож, соскользнувший при резке овощей, отхватывает кусок пальца нерадивой зазевавшейся хозяйке. Женины слова полоснули Олю, хотя она и не сразу сообразила, где надрез, откуда сочится внезапная острая боль *понимания*, от которой двадцать пять лет жизни скользят куда-то во тьму, словно посуда с накренившегося подноса в руках у нерадивого официанта. Тарелки, бокалы, стаканы еще не оторвались от мельхиоровой поверхности, но уже нет никакой надежды их спасти, через мгновение они превратятся в груды осколков и черепков, можно уже бежать за веником, чтобы смести их в кучу, вынести на помойку.

Вся моя жизнь, думала Оля, вся моя жизнь была ложью. С того самого момента, как эта сука пришла в мой дом, пришла отобрать у меня мать, отобрать у меня мужа... ненавижу ее, всегда ее ненавидела... ноги ее больше здесь не будет.

Сквозь боль и ярость Оля все же заставила себя улыбаться. Протянула руку, похлопала по плечу сестру, окаменевшую от собственных слов.

— Ну, если так, Женечка, — сказала она, — нам надо что-то придумать. Ты же понимаешь, оно так больше продолжаться не будет.

Что было дальше — хорошо известно. Через три дня Женя уедет в Москву, ухаживать за умирающей Олиной матерью. Она ведь спасла меня в войну, скажет она Володе, но не упомянет, что они с Олей договорились: Женя постарается прописаться в теткиной квартире, унаследует ее и останется в Москве навсегда.

Про Олину измену Женя тоже не скажет ни слова.

Так Женя переехала в Москву.

В поезде, который увозил ее из Энска, она, сжав сухие губы, поклялась себе ни о чем не жалеть. Много лет назад она решила быть рядом с Володей — и рядом с ним она была счастлива все эти годы и никогда не жалела о том, как сложилась ее судьба. И вот теперь, когда она, возможно, навсегда с ним разлучена, Женя сказала себе, что двадцать шесть лет счастья — это гораздо больше, чем выпадает на долю обычного человека. Жизнь ее была озарена теплым, мягким светом любви. Его слабого отблеска, который сохранит память, хватит, чтобы осветить сумерки Жениной жизни. Этого достаточно, большего не надо.

Но Женя знала: в конце концов она предала свою любовь — и потому она запрещала себе даже думать о возвращении в Энск. И в Москве, увидев маленького Андрея, Женя поняла: это знак, это благословение. Взамен мужчины, которого она потеряла, судьба посылает ребенка, о котором она



должна заботиться. Возможно, Женя так верила, что Андрей — еще один ее ребенок, что невольно вытолкнула Иру с того места, которое мать должна была бы занимать в жизни сына: из мамы Ира превратилась в бабушку — именно она баловала мальчика и не брала на себя никакой ответственности за его жизнь, превратив их редкие встречи в праздники непослушания. Впрочем, Женя никогда об этом не задумывалась.

Что же касается Володи и Оли, то она трижды в год — на День Победы, октябрьские праздники и Новый год — посылала им поздравительные открытки со стандартными, словно чужими пожеланиями здоровья и счастья. Лишь в тех двух-трех строчках, где она писала про маленького Андрейку, звучал ее голос — немного уставший, счастливый, полный любви.

После смерти тети Маши Женя осталась жить на улице Усачева. Вокруг еще сохранились довоенные дома, напоминавшие Жене о молодости. Ближайшая детская поликлиника охотно взяла на полставки опытного педиатра. Новая станция «Спортивная» была в пяти шагах от Жениного дома, до новостройки, где жил Валера, Женя доезжала меньше чем за полчаса. Одним словом, рядом были и работа, и Андрейка, а если у Жени оставалось свободное время, она шла гулять по берегу Новодевичьего пруда.

Женя глядела на колыхавшуюся воду, на бело-красные стены монастыря, на золотые купола, увенчанные крестами. Покой окутывал ее сердце, словно оно, как птенец, выпало из гнезда, а теперь его подняли с земли и положили в теплую, добрую

ладонь, которая ласково убаюкивает, обнимает, покачивается в такт движениям облаков в небе. Но даже в этой ладони, исполненной мира и покоя, птенец помнит, что он разлучен со своим гнездом, разлучен навсегда.

Где у Жени гнездо? Здесь, в Москве, в ее одинокой квартире? Или за тысячи километров, в Энске, где остались те, кого она любила? Каждый раз, когда она вспоминала о Володе и Оле, ей становилось мучительно, непереносимо стыдно. Жене казалось, что, признавшись Оле в своей любви, она предала себя и предала Володю, — наверняка Оля все поняла неправильно и теперь уверена, что Володя изменял ей, как она — ему. И эта измена была вторым слоем стыда: Женя должна была сказать Володе про Костю, но промолчала. Все-таки Оля — ее сестра, они прожили вместе всю жизнь, и предать ее... предать ее тоже было невозможно.

Оля изменила мужу, а Женя предала свою любовь и предала Володю — и эти три предательства сливались в памяти в один липкий, постыдный ком, уже не разберешь, кому принадлежит та или другая вина, и потому все угрызения достались Жене.

Лучше бы я уехала, когда Валерка пошел в армию, думала Женя. Не дала бы Оле напугать меня своим раком, который при ближайшем рассмотрении оказался запущенной фибромой. Тогда я бы не предала Володю и могла бы вспоминать его с радостью, безо всякой вины.

«Неужели только вину я и заслужила за двадцать шесть лет нашей общей жизни?» — иногда спрашивала она во время одиноких прогулок вдоль бере-

га Новодевичьего пруда. Лишь здесь Женя и могла задать себе этот вопрос — почему-то здесь боль и стыд воспоминаний чуть-чуть отступали.

Однажды светлым весенним днем, в ту пору, когда снег только сошел, а на деревьях тут и там раскрывались ярко-зеленые почки, Женя зашла во двор бывшего монастыря. Ей нравилось думать о монашках, когда-то живших здесь, — их судьба была ей близка. Возможно, оттого, что они, как и Женя, заранее отказались от семьи и детей, заживо заточив себя ради любви? Но, в отличие от Жени, у монашек не было сомнений в ответной Божественной любви, а она так и не знала, любил ли ее Володя хоть когда-нибудь.

Не спеша Женя вышла к воротам красно-белого Успенского храма и с изумлением поняла, что хочет войти. Женя не ходила в церковь ни в Куйбышеве, ни в Грекополе, ни в Эנסке; дома они никогда не отмечали ни Пасху, ни Рождество, ни Троицу... но сегодня, ясным весенним днем, Женя не могла противиться.

Она толкнула дверь и вступила в церковный полумрак. Было тихо и пусто, Женя прошла к алтарю и вспомнила, как когда-то считала, будто в церковь ходят только старые, еще дореволюционные люди. А теперь она сама довольно старая — хоть и не дореволюционная, но все-таки довоенная.

Женя оглянулась — она по-прежнему была одна. Торопливо Женя опустилась на колени перед алтарем. «А дальше что?» — спросила она себя, и тут же с губ сами сорвались слова: *Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса роди-*

*ла еси душ наших...* «Откуда я все это знаю? — удивляется Женя. — Прочитала у Толстого или еще в каком-нибудь классическом русском романе?»

Нет, при чем тут Толстой? Наверно, все-таки давным-давно, задолго до войны, бабушка брала меня в церковь, и я запомнила эту молитву. Бабушка Марина, папина мама, которую я совсем не помню, наверняка была верующей. А может, она даже крестила меня тайком от родителей?» — думает Женя, и от этой мысли птенец в груди благодарно затихает, будто наконец вернулся в родное гнездо.

\* \* \*

Когда Валерка был маленький, Женя всегда помнила, что он ей не сын. Но для Андрея — Андрейки, Андрюши — она стала бабушкой. Тем более что настоящей своей бабушки мальчик никогда не видел: в Энск Валера не собирался. Он говорил: *если уж ехать, то в Грекополь, там море, там хорошо... вот поднакопим денег и съездим с Андрюшей в отпуск!* — но денег накопить никак не удавалось, и каждое лето они проводили в Москве. Женя гуляла с Андрейкой по большому парку у метро «Проспект Вернадского», гуляла и радовалась — так здорово, когда в десяти минутах от дома зелень и свежий воздух!

Спустя много лет, соблазняемый ностальгией, Андрей зайдет в парк, сохранивший название «Парк пятидесятилетия Октября», словно в память о советском детстве целого поколения мальчишек и девчонок. Боюсь, подумает Андрей, сегодняшним детям это название кажется бессмысленным: октябрь бывает каждый год, как может быть

«пятидесятилетие Октября»? А что с большой буквы, так никто и не заметит, подумают — написали в подражание Америке: в английском-то все месяцы с большой буквы.

Он увидит, что молодые люди, гуляющие в парке, прямо из горлышка пьют «Клинское» и «Балтику», и подумает, что в годы его детства их называли бы алкашами. Потом он сядет на влажную распаренную землю и будет заторможенно смотреть, как солнце пробивается сквозь изумрудную листву, как трава полыхает яркой краткосрочной зеленью, обреченной пожухнуть от загазованного московского воздуха.

Андрей так и не поймет, словил ли он трепет узнавания, догнал ли, подобно герою не читанного им Пруста, утраченное время, но зато внезапно перед его глазами возникнет позабытая сцена из детства, яркая и отчетливая, хотя вовсе не связанная с этим парком.

Обычно папа будил его, чтобы отвести в детский сад, но в тот день Андрей проснулся сам. В папиной кровати было пусто, и Андрей, вдев ноги в тапки, пошел на кухню. Наверное, дело было поздней весной — утреннее солнце ярко освещало кухню, так что даже по оконной стене плясали зайчики, отразившиеся не то от кастрюль, не то от стенного зеркала. По меркам семидесятых кухня была огромной — между обеденным столом и плитой метра два.

Сейчас на этих двух метрах был расстелен коврик, а на коврике стоял на голове папа. Как обычно по утрам, на нем были только тренировочные

штаны, и маленький Андрей видел напряженные мышцы пресса. Папины ноги были вытянуты к потолку, руки сцеплены за головой, борода опрокинута на лицо, почти дотягиваясь до носа. Длинные волосы разлетелись по коврику, словно тонкие лепестки огромного цветка, из которого папа вырастал гигантской перевернутой Дюймовочкой или огромной ракетой, готовой к запуску в космос.

Спустя много лет, вспомнив в парке эту картину, Андрей подумает: *это же фаллический символ!* — и некоторое время будет размышлять, можно ли считать этот случай *первичной сценой*, — в прошлом месяце он сдал в один модный гляцевый журнал статью про Лакана и все никак не отойдет от психоаналитических ассоциаций, которые даже ему кажутся пошловатыми и устаревшими.

К счастью, тем майским утром Андрей ничего не знал о Фрейде, не говоря уже о Лакане, поэтому только прошептал зачарованно «ух ты!» — и папа сразу перевернулся, встал и сказал: *что-то ты рано сегодня, брат!* — после чего отправился готовить глазунью, а Андрей еще долго гордился, что его папа умеет стоять на голове, хотя осмотрительно не рассказывал об этом ребятам в детсаду: все равно бы никто не поверил.

Через несколько лет Андрей пошел в школу и там никому не рассказывал о папиных упражнениях уже по другой причине: он перестал удивляться. К тому же выяснилось, что папа умеет не только стоять на голове, но может, поджав ноги к груди, удержать равновесие на руках, да и вообще принимать самые необычные позы — *асаны*, — названные в честь животных и индийских богов.

В глубине души мальчик считал, что все родители именно так проводят время по утрам, — до тех пор, пока не принес домой дневник с записью *хулиганил на уроке физкультуры*.

— Я не хулиганил, папа! — оправдывался он. — Я только хотел показать им «собаку мордой вниз»!

Валера расписался в дневнике — мол, с замечанием ознакомлен, приму меры — и задумчиво поглядел на сына.

— Ты вообще знаешь, Андрюш, что про йогу не надо рассказывать профанам? — спросил он. («Кто такие...» — начал мальчик.) — Ну, то есть непосвященным. Тем, кто не собирается ее изучать. Короче, не надо об этом говорить в школе. У них своя физкультура, у нас — своя.

Андрей кивнул.

Это был первый урок конспирации в его жизни.

В многочисленных интервью, которые Валера давал в пору своей славы, он охотно рассказывал историю своей первой подпольной группы, но ни интервьюеры, ни ученики, ни даже Андрей не знали, что случилось с Валерой снежной февральской ночью в 1977 году.

Валера не соврал Игорю: он в самом деле уволился из школы. Алла рассказала ему притчу про мастера боевых единоборств. Когда его спросили, что он будет делать, если враг за километр прицелится в него из ружья с оптическим прицелом, он ответил: *я не появлюсь в этом прицеле*. Так и надо жить, пояснила Алла, надо уметь просто исчезать.

И Валера решил исчезнуть, затеряться, скрыться с глаз тех, кто мог потребовать от него участия

в партийной или любой другой общественной жизни. Он знал, что волка ноги кормят, а в городе крепкий мужик всегда найдет работу, и, действительно, через неделю устроился грузчиком на полставки в соседний магазин. Валера таскал огромные фляги с еще не разбавленной сметаной, разгружал грузовики, привозившие картофель и капусту с соседней овощебазы, и развешивал на крюках в холодильнике замороженные мясные туши, невиданные в стране повального дефицита.

Уложив сына, Валера перелистывал на кухне желтоватые страницы, вчитываясь в тусклые — четвертая копия — буквы. По утрам он стал подниматься на два часа раньше, чтобы выполнить ежедневный набор упражнений (в йоге они назывались асаны) и оставить время для медитации, которая никак ему не давалась. Узнав об этом, Буровский посоветовал Валере поговорить с Наташей — она дольше всех его знакомых увлекалась эзотерическим самиздатом.

Наташа была мать-одиночка и вдвоем с десятилетней Зоей жила в однокомнатной у метро «Калужская». Валера захватил с собой бутылку «Киндзмараули», российского сыра, палку финского сервелата и — венец всего! — свежую говяжью вырезку. Все это было побочным результатом работы в магазине, неписаной премией, которой Валера частенько пренебрегал. Когда он выложил дары на кухонный стол, розовые Наташины щеки залились малиновым: она вообще легко краснела, и, глядя, как девушка прикрывает пухлыми ладошками внезапную улыбку, Валера понял, что у него будет еще много возможностей увидеть ее румянец.



Той зимой они встречались несколько раз в неделю — вопреки обещаниям Буровского, познания Наташи оказались невелики, зато у нее был весь базовый набор самиздатовской эзотерики, от самоучителей по йоге до переводов Рамачаракки, Ошо, Гурджиева и Блаватской. Вскоре Валера познакомился с Наташиными друзьями, которые, как и он сам, перебивались случайными заработками. Новые знакомые принесли новую музыку и новый облик: вместо катушек Окуджавы и Визбора на полках у Валеры появились поскрипывающие записи «Битлз» и «Роллинг Стоунз», а к Новому году он отрастил длинную бороду и забрал волосы в конский хвост, отчего стал похож на рок-звезду, восточного гуру или главного героя рок-оперы «Джизус Крайст Суперстар».

Валера сразу понял, что Наташины друзья прочли в десятки раз больше него. Они без запинки объясняли, чем отличается хатха-йога от раджа-йоги, и могли часами спорить об Атлантиде или о влиянии индийской философии на раннее христианство, но в том, что касалось физических упражнений, были совершенно беспомощны. Обычная утренняя зарядка требовала от них предельного напряжения моральных и физических сил — неудивительно, что простейшие асаны они выполняли с трудом, отдуваясь и пыхтя.

В конце 1976-го Валера, чередуя упражнения и медитацию, практиковался по пять-шесть часов в день и понемногу стал ощущать в теле новую, необычную легкость, какой не давали старые физические нагрузки. Он научился удерживать концентрацию и знал наизусть дюжину мантр, но мистические

состояния духа, о которых он так много читал в полустершихся машинописных копиях, так и не приходили. Временами Валере казалось, что его усилия пропадут впустую, — он навсегда останется обычным крепким парнем с дипломом Института физкультуры и неоправданными амбициями йога, но потом на смену отчаянию приходили злость и азарт. Они только подстегивали Валеру, и после Нового года он увеличил время ежедневной медитации на час, а физических упражнений — на полтора.

— Я верю, что рано или поздно у меня все получится, — однажды сказал он Наташе.

Поздним январским вечером они сидели на ее маленькой кухне, через тонкую стену слабо доносилось сонное Зоино сопение. Наташа вздохнула.

— А у меня ничего не получается, — сказала она. — Хотела актрисой стать, поступала во ВГИК пять раз — не приняли, Зойкин отец меня бросил, Витя вот тоже уехал куда-то... в Сибирь. Все потому, что я — жирная корова и даже голодать не могу себя заставить.

— Зачем тебе голодать? — спросил Валера. — Если хочешь похудеть, лучше бегать по утрам. Вон, у тебя лес рядом. Хотя, по-моему, ты и так красивая женщина.

Наташа ожидаемо зарделась.

— Да нет, при чем тут бегать, — сказала она. — Ученые же установили, что голодание — вообще лучшее лекарство.

— От чего лекарство? — спросил Валера.

— От всего, — обиженно ответила Наташа. — Что ты, в самом деле, придуриваешься? Ты что, Брэга не читал?

Валера покачал головой, и Наташа принесла очередную папку — на этот раз зеленую, — в которой лежал самиздатовский перевод «Чуда голодания». Валера прочел книгу за одну ночь и уже на следующей неделе попробовал сначала суточное, а потом и тридцатичасовое голодание. Утром второго дня во время медитации ему впервые показалось, что он парит в воздухе. Чувство было непривычным и кратковременным, и потому Валера решил попробовать десятидневный пост.

Огромные хлопья летели вниз из черной выси. Невидимые в непроницаемой небесной тьме, они на несколько мгновений появлялись в желтых конусах фонарного света, а потом опять исчезали, поглощались огромными бесформенными сугробами или сливались с заснеженной дорогой, скрипящей под подметками прохудившихся зимних ботинок. Поднимавшийся от земли холод, от которого не спасали даже две пары шерстяных носков, щекотал стопы, и поэтому Валера шел быстро, так что еще немного — и он бы уже побежал. Через несколько десятилетий именно этот способ физической нагрузки будет считаться самым здоровым, оставив позади «бег от инфаркта», джоггинг и велотренажеры, но сейчас Валеру подгоняет ночной февральский холод, обостренный восьмидневным голодом.

Конечно, думает Валера, надо было остаться дома. Позвонить Наташке, извиниться и никуда не ходить. А то вот ведь что получилось — сидели, как обычно, разговаривали то про всякую ерунду, то про Андрейку с Зоей, то про Витю с Ирккой и не заметили даже, что уже полвторого, метро закры-

лось, на такси жалко денег, а до дома всего час быстрым шагом, считай, приятная прогулка, почему бы не пойти, тем более что Наташка так смотрит, краснеет и вздыхает, если оставаться, придется в самом деле *оставаться*, а Валера откуда-то знает, что вот этого сейчас совсем не надо, не для того он голодал целую неделю. Так что короткое прощание, тесная прихожая, модное двубортное пальто, прохудившиеся кожаные ботинки — и вперед. Нормальная должна была получиться прогулка, не будь, конечно, так холодно.

А ведь это не холод, думает Валера, это — голод. Обычно-то я зимой не мерзну, а сейчас — прямо дрожь пробирает. Да и то, что почти до двух ночи засиделись, — это тоже неспроста, значит, что-то происходит с темпоральным чувством, время, выходит, то сжимается, как пружина, то тянется, как резиновый жгут. Кажется, я иду уже целый час, а не прошел даже половины дороги. Зато понимаешь, как устроено время... примерно как мышца — растягивается и сжимается, этим и производит работу... работу чего? Наверно, работу пространства. Пространство — тело, а время — мышца, приводящее его в движение. Все очень просто.

Дует ветер, кружатся недолетевшие до земли хлопья, носятся туда-сюда в свете фонаря, словно огромные молекулы в космическом броуновском движении. Валера вспоминает школьную физику и улыбается. Папа бы порадовался, что я еще не все забыл, да. Хотя зачем мне физика и химия, мне нужна метафизика и алхимия, подлинные, настоящие науки о человеке. Этот летящий снег, он ведь не как гигантские молекулы, он как люди, как все

мы. Нас тоже носит ветром истории... или нет, ветром наших желаний и страстей, что не дает нам ни пристать к земле, ни взлететь к небесам.

Люди — те же молекулы! В хаотическом движении они образуют единую общность — Игорь, Ира, Алла, Наташа, Витя, Буровский — вот такой космический хоровод моей жизни. И конечно, мама, и папа, и тетя Женья, и Андрей — мы все связаны друг с другом и не можем расцепиться, а в конце концов упадем, сольемся с землей, исчезнем.

Но на самом деле — нет, мы останемся частью бесконечного круговорота. Как снежинки растворяются в сутробе, чтоб вместе с ним растаять весной и снова вознестись к небесам, превратившись в пар, так и мы будем вечно падать, распадаться и опять возгоняться ввысь.

На мгновение Валере кажется, что он и сам взлетает над землей, словно подхваченный вертикальным порывом ветра. С космических высот он видит светящуюся пунктиром фонарей натянутую нитку улицы Обручева, видит перекрестки, вышитые крестиками на белой, снежной ткани города, видит ползущие огни редких машин, видит одиноких черных муравьев — замерзших прохожих, спешащих по домам. Один из них — он сам, неподвижно стоит, запрокинув голову в черную непроницаемую небесную высь, откуда на него смотрит его собственный, отделившийся от тела взгляд.

Теперь Валера понимает Витины слова: *от всего можно отказаться* — это значит, не только от женщины или ребенка, это значит — можно отказаться от собственного тела, от туловища, головы, рук и ног. Можно взлететь ввысь, свободно и независимо, от-

казавшись от земного притяжения, отказавшись от еды, отказавшись в конце концов от себя самого.

Это и есть путь аскезы, думает Валера. Воздержание, пост и отказ. Аскету не нужно ничего, кроме его Пути: ни имя, ни деньги, ни одежда. Замерзшими руками Валера пытается расстегнуть пальто — долой покровы, долой уродливые одеяния, которые все равно не спасают от холода и ветра. Надо убрать все барьеры, слиться с морозным ночным воздухом, стать его частью, раствориться, как снежинка в придорожном сугробе, но пальцы не слушаются, пуговицы не поддаются, мир вокруг внезапно снова становится таким же чужим, каким был всегда, — бесконечным, холодным, враждебным.

Валерино тело, вновь ставшее Валерой, бьет крупная дрожь. Он понимает, что неподвижно стоял уже несколько минут, — часов? дней? — и, оглядевшись, волчьей рысью бежит к дому, все быстрее и быстрее, все больше согреваясь, пронзая ночную мглу теплой человеческой стрелой.

Никогда Валера не будет больше держать недельный пост; никогда не захочет ментальных потрясений; никогда не призовет откровений и озарений. Он навсегда запомнил снежную февральскую ночь, когда он чуть было не потерял себя в безбрежной космической тьме.

Он будет объяснять своим ученикам, что цель их занятий — не безумие, не взлом блейковских врат восприятия, нет, напротив, они должны стремиться к успокоению ума, и потому их цель — не экзальтация и экстаз, а умиротворение и покой.

— А если вы хотите потрясений, ищите себе другого учителя, уходите отсюда! — будет говорить им

Валера строго и сурово, чтобы не осталось сомнений: он все всерьез, все это очень важно. Но, сказав «уходите отсюда!», он вдруг улыбнется, лишь на мгновение, — и, увидев его открытую, унаследованную от отца улыбку, ни один ученик не покинет зал.

Зимой 1977 года снежная ночь говорила с Валерой. Ее предостережение было услышано — а Валерины ученики услышат и запомнят его предостережения.

Возможно, потому за двадцать без малого лет Валера ни разу не столкнется с ученическими психозами, самоубийствами и безумием, проклятыми спутниками всех наставников, начинавших свою работу в глухом советском подполье.

Уже весной Валера начал помогать Наташиным друзьям с практическими занятиями. Он оказался отличным учителем: то ли пригодились институтские педагогические навыки, то ли помогла отцовская наследственность, но вскоре желающие уже не умещались у Валеры в квартире. Осенью кто-то из восторженных учеников договорился с ЖЭКом, готовым несколько раз в неделю предоставлять помещение под занятия «восточной гимнастикой». Официально все было бесплатно, но председатель ЖЭКа раз в месяц должен был получать небольшую мзду, так что ученики начали скидываться, и скоро Валера смог покинуть бригаду грузчиков: у него появилась новая работа.

Однажды на исходе второго месяца этой работы Валера вместе с Буровским возвращался после занятий. В тот день в классе было трое новичков: рыжеволосая девушка с белой прозрачной кожей, словно

испачканной веснушками, полный мужчина лет сорока пяти и худенький мальчик, дай бог чтобы лет восемнадцати, — увидев его, Валера еще подумал, что скоро придется ввести ограничения по возрасту. Ну, для начала посмотрим, как этот пацан будет заниматься. Толстяк, небось, не задержится, а рыжая... хорошо бы, чтоб снова пришла. Красавица.

На занятии Валера то и дело поглядывал на девушку: она оказалась гибкой, с хорошей, почти как у гимнастки, растяжкой. Валера надеялся, что она подойдет к нему в конце, но девушка ушла одной из первых, даже ничего не сказав на прощание. Больше не придет, с грустью думал Валера, мрачно глядя себе под ноги. Буровский пнул его в бок:

— Выше нос, звезда московского андерграунда.

— Какой еще, на фиг, андерграунд? — ответил Валера, оторвавшись от созерцания грязного снега. — В андерграунде у нас кто? Поэты, художники, диссиденты. В крайнем случае — катакомбные христиане или еврей-отказники, у нас в бригаде был такой один. А я — простой безработный учитель физкультуры, который помогает друзьям.

Буровский рассмеялся:

— Люди андерграунда живут так, будто советской власти не существует, и занимаются чем хотят — как ты.

— Ладно дразниться, — сказал Валера. — Ты тоже занимаешься чем хочешь, скажешь, нет?

Сумерки сгущались вокруг. Новостройки-дома, неотличимые друг от друга, были разбросаны по микрорайону, словно гигантские кубики.

— В общем, да, — согласился Буровский. — Просто я хочу заниматься химией ароматических со-



единений, а это невозможно без лаборатории. Но к лаборатории прилагается партком, собрания, политинформации и прочее.

— Не ходи на собрания, — предложил Валера.

— Не могу, — вздохнул Буровский. — Парторг — нормальный парень, что я его подводить буду? Ему кворум нужен.

В вечернем небе пронеслась невидимая в сумерках стая ворон; их выдавало только карканье, звучавшее эхом слова «кворум».

Валера подумал: когда я ушел из школы, я не знал, чем буду заниматься и на что жить. Может, уйди Буровский из своего НИИ, он бы через год выяснил, что любит не только ароматические соединения? Но вслух сказал только:

— Да не завидуй ты: мне просто повезло.

Буровский снова вздохнул. Красная буква «М» горела впереди, указывая им путь, хотя они и так знали дорогу.

Валера подумал: *эх, жалко, рыженькая больше не придет!* — но ошибся: она вернулась на следующей неделе и прилежно ходила по средам и пятницам.

Ей Валера первой и предложил индивидуальные занятия по его собственной, специально разработанной программе, которая через несколько лет прославит его даже больше, чем курсы йоги. Но прежде эта программа изменит жизнь его сына Андрея.

Воспитанием Андрея занимались папа и бабушка Женя: маму Иру, бабушку Дашу и дедушку Игоря он видел не очень часто. С папой было интересно и весело — жаль только, папа все время был занят. Бабушка учила с Андреем буквы и цифры, расска-

зывала древние мифы и читала вслух сложные, непонятные стихи Лермонтова и Пушкина. Она не была похожа на обычную бабушку — не дарила подарков, не покупала сладостей и вовсе не баловала. По большому счету Андрея не баловал никто — до тех пор, пока в доме одна за другой не стали появляться девушки, красотой напоминавшие фей или других сказочных — а возможно даже, ни в каких сказках не описанных — существ. Вообще-то девушки приходили к папе, но папа иногда отправлял то одну, то другую погулять с Андреем, и эти прогулки запоминались надолго. Девушки кормили Андрея желтоватым, оставлявшим на подбородке сладкие потеки мороженым; вместе с Андреем пускали по талой воде хлипкие бумажные кораблики, осенью собирали разноцветные осенние листья, а зимой катали из влажного липкого снега большие шары, годившиеся и на крепость, и на снеговика. Они изо всех сил старались понравиться Андрею, но менялись слишком часто, и мальчик их не запомнил. В памяти осталась только высокая худая брюнетка с острыми чертами лица, которая однажды схватила его и принялась целовать. От нее пахло неестественной сладостью духов, маленький Андрей испуганно замер и вдруг увидел прозрачные шарики слез, застывшие на длинных, густо покрытых тушью ресницах. Он вырвался и убежал, девушка нагнала его, взяла за руку и сказала странным, словно простуженным голосом:

— Извини, пожалуйста. — А потом добавила: — Только папе не говори, хорошо?

Андрей, конечно, ничего не сказал ни тогда, ни много лет спустя, когда, уже в девяностые, они си-

дели у отца в квартире. Валера хвастался недавно купленным «Панасоником».

— Смотри, — говорил он сыну, тыча в инструкцию. — Семьдесят восемь сантиметров в диагонали и небывалая яркость цветов.

Он щелкнул пультом, и реклама тут же пообещала им вечернее ток-шоу, посвященное сексуальной революции в России.

Валера хмыкнул:

— Это у вашего поколения сексуальная революция?

Андрей смущенно кивнул.

— Ну тогда скажи мне, революционер, сколько у тебя было женщин?

Андрей, сдерживая гордость, назвал двузначное число, совсем немного завышенное за счет нескольких особо интенсивных петтингов.

Отец рассмеялся:

— Ну, у меня больше, намного больше. И скажу тебе — хотя это и нельзя проверить, — наш секс был еще и гораздо лучше.

Андрей пожал плечами и поймал себя на том, что пытается сосчитать, сколько лет родители прожили вместе.

— Ты вот «Камасутру» читал? — спросил Валера.

— По диагонали. Не очень интересно.

— А зря! Там, например, расписан целый месяц, от новолуния до новолуния. Кто из вас готов подчинить двадцать восемь дней своей жизни распоряжениям древнего индийского трактата? А я делал это как минимум дважды! Потому что секс в стране, где нет секса, требует полной самоотдачи. Не как сейчас — трахнулись-разбежались,

нет, оба партнера стремились доказать друг другу, что в самом деле чего-то стоят, что мы не такие, как обычные советские граждане. Мы занимались сексом всерьез, как сегодня не занимаются даже бизнесом.

Андрей взял завернутый в хрустящий полиэтилен пульт и перещелкнул программу.

— В самом деле, небывалая яркость цветов, — заметил он.

Некоторое время они молча смотрели на экран, потом Валера сказал:

— Зря ты так. Я же не просто с ними трахался — у меня с каждой была любовь. Хоть маленькая, но любовь.

\* \* \*

За несколько лет Валера стал известен в московском эзотерическом подполье под прозвищем «гуру Вал». Людей приходило все больше, и комната ЖЭКа давно перестала вмещать желающих: Валера теперь принимал новых клиентов только по предварительной договоренности или если внезапно освобождалось место.

Сегодня без записи пришел крепкий спортивный мужчина. Валере такие нравились: он и сам закончил физкультурный институт, поэтому обрадовался, когда выяснилось, что для новичка нашлось место — не пришел один из учеников.

На тренировке мужчина прилежно исполнял команды, после долго укладывал форму, помыл руки и снова начал перепаковывать сумку, дожидаясь, пока они с Валерой останутся вдвоем.

— Интересное у вас занятие, Валерий Владимирович, — сказал он.

— Спасибо, — ответил Валера, пытаясь вспомнить имя новичка.

Тот заметил Валерино замешательство и представился:

— Если что, меня зовут Геннадий Николаевич, — и тут же вынул из кармана бордовую книжицу размером со студбилет. Раскрыв, показал Валере и убрал так быстро, что пришлось пояснить: — Комитет государственной безопасности.

Валера приподнял бровь. Сердце учащенно забилось. Если придут с обыском, подумал он, мне кранты. Но ведь они не домой пришли, а сюда, на тренировку...

— Давайте побеседуем, — сказал Геннадий Николаевич. — Присаживайтесь.

Валера вспомнил недавнюю распечатку, где учили, что не надо вести с гэбэшниками бесед: хотят допросить — пусть вызывают повесткой. Отказаться от разговора? Но что тогда подумает о нем этот Геннадий? Вдруг он ничего серьезного и не спросит? Зачем же сразу нарываться, тем более когда дома самиздата килограмм пять как минимум. Пусть не самая махровая антисоветчина, но все равно — легко дадут по году за кило. Нет, надо быть поговорчивей.

И Валера сел, куда указали.

Назавтра в одиннадцать утра Валера вызвал Леню с проходной. Буровский вышел через пять минут.

— Ну, чего случилось? — спросил он.

— Пойдем, в сквере поговорим.

Они сели на влажную, пахнущую затяжными осенними дождями скамейку, и Валера стал рассказывать о вчерашнем разговоре.

— Он сказал, что прямо сейчас может меня посадить за извлечение нетрудовых доходов, но вообще-то они ничего не имеют против йоги и, как он выразился, «прочей китайской премудрости». Но они не хотят, чтобы это происходило бесконтрольно, подпольно.

Буровский кивал: Валерина история его не изумила и не напугала — все-таки в НИИ был свой первый отдел, и Лене регулярно приходилось беседовать с коллегами вчерашнего Геннадия.

— И что хочет твой крокодил Гена?

Грозовые тучи, темные, как мысли о неведомом, напоздали на небо. Валера фыркнул:

— Крокодил! Тоже скажешь!

— А чего? — усмехнулся Буровский. — Крокодил Гена — вполне гэбэшный тип. Кожаное пальто и работает в зоопарке, то есть в пенитенциарной системе.

Валера посмотрел на Буровского. Тому было уже за сорок, за последние годы он отяжелел, в густых «брежневских» бровях появилась седина, но иногда в шуточках проглядывал молоденький студент, который на грекопольском пляже пересказывал маленькому Валерке «Графа Монте-Кристо».

— Он хочет, чтобы я был официально оформлен и вел секцию в каком-нибудь вузе.

Наверху громыхнуло, словно предложение Геннадия заслуживало небесной одачи.

— Секцию йоги? — спросил Буровский.

— Зачем? Восточной гимнастики. Как-нибудь еще можно назвать.

— А что взамен? — спросил Буровский, раскрывая большой черный зонт.

— Ничего, — сказал Валера. — Как я понимаю, они просто хотят за нами приглядывать. Но мы не собираемся ничего антисоветского делать, мы же не диссиденты.

Капли дождя выбивали дробь у них над головой. Буровский кивнул:

— И ты согласился?

— Сказал, что подумаю. Это ведь ты считаешь, что я — звезда московского андерграунда.

— Да-да. А ты простой учитель физкультуры, которому повезло не замечать советскую власть.

Где-то над домами сверкнула молния, вскоре донесся раскат грома. Левый рукав куртки уже промок, и Валера придвинулся ближе к Буровскому.

— Ну вот, пришлось заметить.

— Знаешь, — сказал Буровский, — если согласишься, мы с тобой будем в одинаковом положении. В обмен на несколько часов сидения на собрании я получаю оборудование и лаборантов, а ты в обмен на отказ от неофициального статуса получишь гарантии безопасности и просторное помещение. Сдается мне, это хорошая сделка: возможность заниматься любимым делом в обмен на выполнение каких-то смешных ритуалов.

— В обмен на участие во лжи, — ответил Валера.

— Ну, это зависит от того, как широко ты понимаешь ложь, — сказал Буровский. — И знаешь, мне, конечно, хочется жить не по лжи, но заниматься любимым делом хочется больше.

Под черным куполом зонта они сидели, прижавшись друг к другу, почти обнявшись. Стена небес

ной воды отделяла их от голых мокрых деревьев. Капли срывались с веток, как перезрелые ягоды, которым пришел срок. Каждый из нас делает свой выбор, подумал Валера и проговорил:

— Если йога — это про гармонию тела и души, то, отравляя душу, ложь отравит и тело.

— Или тело очистит душу от лжи, — ответил Буровский. — Если хочешь делать свое дело, жить не по лжи ты не сможешь. По крайней мере у нас, в Союзе. Можно, конечно, уехать, но кто поручится, что там не ждет другая ложь? Война во Вьетнаме уж точно не лучше разгрома Пражской весны.

Валера кивнул: что-что, а уезжать он не собирался.

— Помнишь, — продолжил Буровский, — ты говорил, что тебе просто повезло? Ну а теперь перестало везти. Будешь жить как все, ничего страшного.

Не как все, подумал Валера. Йога — это не химия ароматических соединений. Ради химии я бы на компромисс не пошел.

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Буровский сложил зонт, они поднялись и молча направились к проходной. Они шли рядом и казались зеркальными отражениями друг друга: у Валеры промок левый рукав, у Буровского — правый. Когда они прощались, выглянуло солнце. Хорошая примета, подумал Валера, но, подняв глаза, увидел тусклый осенний диск. Он не сулил никаких перемен к лучшему в ближайшие четыре месяца, до весны.

Когда-то Алла научила меня, что можно не сражаться, а уйти, избежав битвы, подумал Валера. Однажды я так и поступил, но должен ли я снова и снова бросать все и начинать сначала?



Троллейбус, подойдя к остановке, обдал Валеру фонтаном брызг: теперь промок и правый рукав.

Когда придет настоящий дождь, от него не спрячешься под зонтом, подумал Валера и грустно улыбнулся.

А еще Алла говорила, что главное — знать, куда идешь. Тогда Валера не знал, а теперь знает. И, может, когда понимаешь это, все остальное не так уж важно?

В подъезде он вытащил из почтового ящика телеграмму. Прочитал ее в лифте и, войдя домой, бросился к телефону, даже не сняв ботинок: мокрые следы отпечатались на паркете, а пока он говорил, с плаща натекала лужица дождевой воды, мутной и непрозрачной, как будущее.

Заслышав телефонный звонок, Женя отложила «Каштанку». В трубке она услышала Валерин голос, но, не разобрав слова, переспросила:

— Кто приезжает на Ярославский?

— Мама и папа, я же говорю. Только что получил телеграмму. Послезавтра в три двадцать, поездом из Энска.

Положив трубку, Женя опустилась в кресло.

— Бабушка, что дальше было? — спросил Андрей.

Женя не сразу ответила: на нее обрушились мысли, которые она шесть лет запрещала себе думать. В голове они превратились в хрупкие зубчатые шары — перекатывались, цеплялись друг за дружку, раскалываясь с треском. Ни одну мысль нельзя было ни вычленивать, ни додумать до конца. Женя махнула рукой, из последних сил выдавила: *я вечером почитаю, иди поиграй*, — и в голове стало меньше хотя бы на одну мысль («что дальше было?»).

Зачем они приезжают? Надолго? Где будут жить? Если у меня, то почему телеграмму прислали Валере, а если у него — у него они просто не поместятся. Что я скажу Оле? А Володя... узнал ли он про Костю? Или после Кости были другие? Что я скажу Володе? А Валера... он ведь их не видел... сколько лет?... тринадцать! А вот Андрюша — никогда... но Андрюшу я заберу к себе, если будут жить у Валеры, а если у меня, то почему не прислали мне телеграмму? Неужели Оля до сих пор злится? Что она Володе наговорила?

И вообще — что теперь будет?

Через два дня они втроем стоят на Ярославском вокзале, у начала платформы, куда прибывает энский поезд. Валера бурчит под нос: *почему нельзя было сообщить номер вагона?* Андрей крепко держит Женю за руку, оглядывается растерянно, в голове почему-то вертится песенка про нерадивого ученика: *даром преподаватели время со мною тратили* — и тут состав, гроыхающий змей, пахнувший нагретым железом, медленно и неотвратно приближается, шипит тормозами, останавливается, и Женя видит в окне машиниста — молодого, черноволосого, с бессонными мешками под глазами.

Кто-то бежит по перрону, машет руками, кричит: *я тут, я тут!* — открываются двери, поезд высыпает пассажиров, словно грибы из опрокинутого лукошка. Чемоданы, узлы, рюкзаки, снующие тут и там носильщики, радостные крики, чей-то счастливый визг, объятия, поцелуи, голоса: *давай я понесу!* — *нет, я сам, я сам!* — детский смех, возмущенный возглас: *пропустите!* Толпа чуть не сминает Женю

и Андрея, Валера едва успеваает оттащить их в сторону, закрывая широкой спиной, обхватив руками.

Схлынула первая суетливая волна, на перроне остались те, кто поспокойней, поуверенней, кто не привык торопиться, кого не встречают крикливые родственники. Женя всматривается в людей, идущих навстречу, нет, она не видит ни Володи, ни Оли. Думает с облегчением: *может, это была шутка?* — и тут замечает.

Они идут вдвоем, поддерживая друг друга, носильщик катит перед ними тележку, багаж навален в три слоя, поэтому Женя их и не увидела сразу, да и сейчас чемоданы и узлы не дают разглядеть... но к ним уже бежит Валера, отталкивает тележку, раскидывает руки и, кажется, кричит: *Мама! Папа!* — и Женя переводит взгляд с Володи на Олю, с Оли на Володю.

Володя совсем поседел; белые, коротко стриженные волосы, да еще очки, теперь он похож не то на постаревшего циркового медведя, не то на профессора, не настоящего, а из растрепанной детской книжки — добрый доктор Айболит, ну или какие бывают в детских книжках профессора-химики? Но улыбка... улыбка все та же. А Оля... Оля располнела, еще больше располнела, даже идет с трудом, наверно, ноги больные, бедная... куда делись фарфоровая кукольная стройность и кошачья гибкость? Ничего не осталось, ничего... и тут Женя понимает, что уже не злится на сестру, а лишь стоит растерянная, всклокоченная, стоит, не в силах склеить в единый образ тонкую летящую девочку с перетянутой осиной талией и эту немолодую грузную женщину, от од-

ного вида которой першит в горле и перехватывает дыхание.

И тут Андрей дергает Женю за руку и спрашивает:  
— А это — моя третья бабушка?

— Игорь Станиславович, — обиженно говорит Валера, — но хотя бы мне вы могли сказать? По-родственному, а?

По большому счету они не родственники уже четыре года, с тех пор, как Ира пустилась во все тяжкие, бросив и ребенка, и мужа. Игорь Станиславович тогда сказал, что подаренная на свадьбу квартира должна остаться Андрею, а значит, и его отцу, раз мать который год шляется не пойми где. Валера был так благодарен и смущен, что боялся лишний раз позвонить бывшему тестю: вдруг подумает, будто Валере что-то от него нужно? Бабушка Даша иногда еще заезжала поиграть с ребенком, а вот Игоря Валера видел раз в год, на день рождения Андрея, потому и не узнал, что Игорь по просьбе Валериного отца организовал обмен энской двушки на однокомнатную в Москве.

— Я же на пенсию вышел, — объяснил Владимир Николаевич. — Что мне в Энске делать? Да и Оля замучила, все говорит — вернемся в Москву, вернемся в Москву. Вот и вернулись, спасибо Игорю.

Пока не приехали вещи, квартира выглядит пустой, гулкое эхо перекатывается из комнаты на кухню и обратно. Из мебели — только кровать, табуретки и кухонный стол, на котором нарезанный кружочками финский сервелат из продуктового заказа Игоря, спешно наструганный салат, «Кубанская» и «Киндзмараули».

— Ну, за встречу! — говорит Владимир Николаевич. — Или сразу уж и с новосельем?

— Ну нет, — смеется Игорь, — новоселье зажать не удастся. Знаете, сколько ваших студентов к вам придет? Человек двадцать как минимум, если не все пятьдесят!

— Точно-точно, — вторит Валера. — Ты, пап, не представляешь, сколько здесь твоих студентов! Они меня в Москве десять лет опекают!

— Плохо опекают, — говорит Владимир Николаевич. — Занимаешься черт знает чем!

— Вот и нет, — отвечает Валера. — Я на той неделе выхожу на работу. Буду вести секцию восточной гимнастики в одном из лучших московских институтов.

— Ну, тогда молодец, что тут сказать!

Выпили за встречу, закусили финским деликатесом, мужчины вышли покурить на балкон.

— Тепло у вас здесь, — говорит Владимир Николаевич, глядя на желтый шар солнца и прислушиваясь к перестуку талой воды, капля за каплей падающей на жестяной отвес.

— Так весна уже, — усмехается Игорь. — И это тебе Москва, а не Сибирь!

Он возвращается в комнату, и Валера впервые за день остается вдвоем с отцом.

— Здорово, пап, что ты приехал, — говорит он. — Я скучал по вам с мамой.

— А чего не писал, обормот? — спрашивает Владимир Николаевич.

— Так я же не писатель, — смеется Валера. — Я физкультурник, ты же знаешь.

«А чего я не писал, в самом деле?» — думает Валера. Сначала обиделся как дурак, а потом было

неловко. Что тут напишешь? Прости, папа, что я тебе толком не писал? Хочешь, расскажу тебе про йогу и Блаватскую? Про то, как у меня гостила вдова твоего брата? Про тренировки в ЖЭКе и дружелюбного гэбэшника? Или лучше уж сразу — про тренинги восточного секса и девчонок, которые записываются ко мне в очередь?

Нечего было писать-то.

— Здорово, что ты приехал, — повторяет Валера.

Случайная весенняя капля падает на кончик сигареты, и та гаснет с легким шипением.

Ольга Аркадьевна не узнавала Москвы. Конечно, что-то осталось на своих местах, например, Большой театр или Красная площадь, несколько старых станций метро — «Парк культуры», «Кропоткинская», «Проспект Маркса», — но сам город изменился, стал чужим. Почему-то все эти годы ей казалось, что стоит вернуться — и она снова окажется хрупкой принцессой в голодной полуразрушенной послевоенной Москве. Но Москва отстроилась, выросла вширь и ввысь, снесла бараки, прорубила широкие проспекты, протянула метро на далекие окраины, а Оленька... а Ольга Аркадьевна росла только вширь, с каждым годом набирала понемножку и за тридцать лет раздулась, как дирижабль, только, ох, без его летящей легкости.

Она давно уже потеряла след своих школьных подруг, знала только, что Люся закончила пед, Люба осталась на кафедре английского в инязе, а Света... кажется, лет пять назад Оля увидела ее на первой странице «Правды», сбоку на фотографии с визита Брежнева в одну из западных стран. Све-

та стояла рядом с высоким подтянутым мужчиной, точь-в-точь артист Ножкин из «Судьбы резидента». И главное, Света совсем — ну, почти совсем — не изменилась... насколько, конечно, можно судить по фотографии, размытой тусклой газетной печатью. Но не потолстела, это точно.

Ольга Аркадьевна поднимается по эскалатору. Метро «Спортивная»! Надо же! Назвали в честь стадиона в Лужниках, а до стадиона этого — идти и идти. Вот улица Десятилетия Октября, почти не изменилась, только половину домов снесли. Но дорога все равно знакомая, пять минут — и дома. Хотя нет, не пять, все десять медленным старческим шагом.

Когда-то меня здесь все знали, думает Ольга Аркадьевна, а сейчас меня все забыли. Я должна была прожить свою жизнь здесь, а я поругалась с мамой и уехала неведомо куда. Всю жизнь провела по чужим городам, как бродяга. Я обещала папе, что буду счастливой, а прожила скучную, заурядную жизнь. Я должна была стать актрисой, а кем я стала? Неопрятной, никому не нужной старухой.

Оля знает, что врет сама себе, но не может остановиться. Она бы никогда не стала актрисой, это была всего лишь девичья фантазия, нежная, как ночной цветок, сгорающий под первыми лучами солнца. Да и жизнь она прожила счастливую — благополучную, сытую, без сумы и тюрьмы, рядом с человеком, который любил ее, с человеком, которого уважали всюду, где бы он ни жил, и уважали так, что отсвет этого уважения падал и на нее, жену профессора Дымова. А что касается Люси, Любы и Светы, возможно, увиденные вблизи, их жизни вовсе не показались бы такими безоблачными.

Ольга Аркадьевна поднимается на третий этаж, некоторое время молча стоит у знакомой двери. Обивку, конечно, давно сменили, но все равно — под слоем дерматина и ваты прячется память о звонком хлопке, с которым маленькая Оленька, прекрасная мама принцесса, когда-то закрывала тяжелую дверь.

Она нажимает кнопку звонка — надо же, тот самый звук! Слышен шелест шагов, потом скрипит замок, дверь открывается.

— Заходи, — говорит Женя.

Ольга Аркадьевна заходит. Квартира, где она прожила все свое детство. Квартира, которая помнит папу. Квартира, где умерла мама.

Краем глаза Оля видит: в комнате все по-другому. Она идет на кухню — да, вот здесь почти ничего не изменилось, встроенная мебель вся на местах. Она садится за стол, смотрит вокруг помутневшим взглядом.

— Все как было, — говорит она, — как когда-то. Помнишь?

— Конечно, — отвечает Женя и осторожно садится рядом. — Я почти ничего здесь не меняла после смерти твоей мамы.

— Ты никогда не писала мне, как она умерла.

— Во сне, — отвечает Женя, — легко, без мучений.

Только Женя знает, правда это или нет, — и только Жене решать, рассказывать ли правду сестре.

— Я должна была быть с ней, — говорит Оля, — но мне не хотелось уезжать из Энска. Мне было там хорошо в тот год.

Тень знакомой улыбки пробегает по ее лицу, и Женя сразу вспоминает дурной сладкий запах



чужого счастья. Она выходит в соседнюю комнату и возвращается с поблекшим мужским портретом в рамке. Оленька протягивает к нему руку — как непривычно видеть его без черного банта! — осторожно гладит стекло, пытается вспомнить широкие папины плечи, синее небо над головой, красные лозунги в этом небе...

— Если что, — говорит ей Женя, — это твоя квартира. Я записала на себя, как ты просила, но если хочешь...

— Зачем? Нам есть где жить. Все равно я не хочу больше сюда возвращаться, — отвечает Оля, а про себя добавляет: потому что никуда нельзя вернуться. Потому что мне не восемнадцать, а пятьдесят, потому что жизнь прошла — и прошла не так, как я хотела, когда жила здесь.

Женя накрывает ладонью Олину руку, и они сидят молча. Оля рассматривает сестру — волосы поседели, но все так же стоят дыбом, как хохолок у птички. Оля вздыхает и произносит:

— Все равно — спасибо, что предложила. И конечно, приходи к нам в любое время, как раньше.

— Значит, мир? — спрашивает Женя.

Оля поворачивается и смотрит сестре в глаза.

— Дура ты все-таки, Женька, — говорит она внезапно помолодевшим голосом. — Конечно, мир. Почти всю жизнь вместе прожили, что нам остается на старости лет, кроме мира?

— Я так рада, — улыбается Женя, а потом замирает, словно собираясь с силами, и продолжает: — Я только хотела... потому что мне это важно... просто чтобы ты знала... я никогда не спала с Володи́ей.

И тогда Оля передергивает плечами, строит позабытую детскую гримаску и говорит:

— Ну и дура.

Она умрет через девять месяцев, в конце декабря. В их доме поломается лифт, и, возвращаясь из магазина, Ольга Аркадьевна решит подняться пешком. На последнем марше ей станет плохо, но, хватая ртом воздух и цепляясь за стену, она все-таки дойдет до двери, все-таки успеет позвонить. Володя и Женя перенесут ее в кровать; телевизор на кухне сообщит о вводе в Афганистан ограниченного контингента, а они вдвоем будут сидеть рядом с Олей, держать ее за руки, звать по имени, просить дождаться врача.

Но Оля не услышит. Голоса — как сквозь снег, сквозь густой снег, падающий на город, на площади, переулки и улицы. Снег падает на город, а по городу идет хрупкая юная девушка, послевоенная принцесса, летящая Снегурочка — приталенное пальто с меховым воротником, бархатная муфточка, светлый локон из-под шерстяного платка, иней на ресницах. Оленька идет, не зная куда, но знает, что там, впереди, ждут те, кто любит ее... там, впереди, ждет прекрасная, неведомая, счастливая жизнь.

## 7

На похоронах Валера не плакал. Разумеется, не потому, что в результате многолетних практик изжил в себе земные привязанности, — он знал, что с привязанностями у него все без особых изменений.

Скорее, его смущала однозначность предписанной ему роли. Людей было немного — папа, тетя Женя, несколько бывших папиных студентов да три мамы одноклассницы, о которых Валера даже не слышал никогда, но все они, казалось, глядели на него, ожидая, когда наконец он проявит свою скорбь. Он вспомнил роман Камю, которого никогда не любил, устыдился своего сходства с Мерсо, но заплакать все равно не смог.

Возвращаясь домой, Валера смотрел в окно троллейбуса. Москва в ожидании Нового года была пышно иллюминирована, над улицей сверкали пятиконечные звезды, кое-где у метро высились огромные елки, все в лампочках гирлянд. Валера ехал сквозь тьму, глаза его были горячи и сухи, в зрачках отражались вспышки праздничного света. Он думал, что его мама сейчас затеряна во тьме еще глуше, и огни, являющиеся там, скорее вызовут у нее страх или отвращение, чем вселят надежду.

Валера знал, что существуют священные тексты, которые надо читать над телом умершего, но мама не была ни буддисткой, ни христианкой, и потому ни Тибетская книга мертвых, ни Псалтирь ей бы не помогли. Во что она верила? Верила ли она хоть во что-то?

Валера не знал.

«Почему я не поговорил с ней, пока она была жива?» — думал он. У меня было девять месяцев. За это время я успеваю обучить чужих людей так, что вся их жизнь меняется, но даже не попробовал объяснить хоть что-нибудь собственной матери. Почему? Смущался? Считал, что сыну не пристало учить мать? Боялся, что она не поймет?

Он вышел на остановке и быстрым волчьим шагом пошел мимо темных спящих прямоугольных домов, где на каждом этаже горело одно-два окна. *Вот еще окно, где опять не спят*, вспомнил Валера. Каждый из нас должен давать свет, быть как маяк в ночи. Если в жизни будешь таким светом для близких, возможно, после смерти они узнают свет божественной любви и не испугаются его в своих мытарствах — пусть ничего и не знали о Боге при жизни.

Я — плохой светильник, сказал себе Валера. Даже ученикам я даю лишь малую толику света — и ничего не даю ни Андрею, ни тете Жене, ни отцу. И я не сумел ничего дать своей матери. Писем не писал, слов не сказал. Ничего.

Он входит в подъезд, нажимает кнопку лифта. В шахте тихо, никакого движения. Вздохнув, Валера направляется к лестнице. На последнем пролете перед квартирой темно — перегорела лампочка. Вот так и мама поднималась, думает Валера, вступая во тьму. Будь я рядом, я бы помог, хотя бы сумки донес. Ничего не надо было спрашивать, ни о чем не надо было говорить, ничем не надо было светить, вдруг понимает он, просто помочь донести тяжелые сумки из магазина, вот и все.

И тут, не дойдя полмарша до своего этажа, Валера останавливается, садится на ступеньку, закрывает лицо руками и в спасительной темноте, никем не видимый, одинокий, осиротевший, плачет.

Когда на вокзале Женя поняла, что Володя и Оля приехали в Москву не в отпуск, а жить, она не обрадовалась и не испугалась... она оторопела. Теплый весенний воздух, наполненный предчувствием пер-

вой зелени и запахом талого снега, стусился вокруг нее плотным и вязким желе, прозрачным, но не дающим пошевелиться. Маленький Андрейка дергал за руку, Валера что-то возбужденно и беззвучно говорил, а Женя стояла, не в силах пошевелиться, и глядела на Володину улыбку — ту самую, давнюю, полузабытую, незабвенную.

Этого она не ожидала.

Прошло шесть лет с тех пор, как Женя покинула дом мужчины, которого любила всю жизнь, с которым бок о бок прожила четверть века. Она запретила себе думать о возвращении в Энск, но теплый свет давних воспоминаний озарял ее жизнь, как она и надеялась когда-то. Четверть века они жили втроем — Володя, Оля и Женя. Это была счастливая жизнь, но она закончилась и больше никогда не повторится — даже если они и увидятся снова. Так бывший студент, с ностальгией вспоминая годы молодости, знает, что эти годы не вернутся, даже если он снова придет в свой институт. Вот и Женя была уверена, что никогда уже не будет жить с Володей и Олей в одном городе, и потому, оправившись от первого потрясения и услышав от Оли «приходи к нам в любое время, как раньше», она не сразу смогла заставить себя приезжать к ним домой. Неделю за неделей Женя сокращала дистанцию, словно дрессировщик, приручающий недавно пойманного дикого зверя, — только она сама была и зверем, и дрессировщиком. Сначала приходила лишь вместе с Валерой и Андреем, потом — с одним Андреем, потом стала забегать «на минутку» (но не чаще раза в неделю), потом однажды осмелела и просидела у них целый вечер.

Женя словно боялась, что Оля опять прогонит ее, и потому не обсуждала с ними, как расставить привезенные из Энска вещи (каждая отзывалась в Жене острой болью воспоминания), не помогала в поисках дефицитной кухонной мебели (эту проблему без особых усилий решил Игорь Станиславович) и вообще старалась не вмешиваться в обустройство московского жилья семьи Дымовых. Все прежние квартиры — в Куйбышеве, Грекополе и Энске — Женя сама превращала в уютный дом, куда ей всегда было приятно приходить. Дом, который она построила, Женя покинула шесть лет назад — и теперь боялась построить новый, боялась привыкнуть к нему, боялась нового изгнания.

Потребовалось почти девять месяцев, чтобы установилось некое подобие графика: Женя приходила раз в неделю, немного помогала Оле по хозяйству, вместе с ней готовила ужин, втроем они садились за стол, а после того, как была помыта последняя тарелка, Женя прощалась и уезжала, немного гордясь, что возвращается к себе задолго до последнего поезда метро, не засидевшись до неприличия.

В новом доме Володи и Оли Женя хотела оставаться гостьей: она боялась, что снова захочет там жить, снова захочет вернуть прошлое, повторить ушедшее. Воспоминание о чужой измене и о собственной лжи девять месяцев удерживало Женю в стороне, и теперь, после Олиной смерти, растерянность снова парализовала ее, как в первый день на перроне Ярославского вокзала.

Накануне похорон Валера остался с отцом, а Женя заночевала в Валериной квартире (она бы

забрала Андрея к себе, но мальчику нужно было утром в школу). Лежа без сна в непривычной кровати, Женя вдруг испугалась: почти никогда она не оставалась с Володей вдвоем — даже если они бывали наедине, в их мыслях и разговорах незримо присутствовала Оля. И вот теперь Оли нет — сможет ли Женя говорить с Володей, сможет ли снова быть с ним вместе?

Фары проезжавших машин расчерчивали световыми конусами блочный потолок шестнадцатизэтажки. Женя удивлялась, что не может думать об умершей. В той части сознания, где всю Женину жизнь помещался образ сестры, теперь возникла подрагивающая пустота, Женины мысли скользили мимо этой пульсации, не проникая внутрь. Так иногда на краю зрения появляется какое-то тревожное пятно... человек все время ощущает его присутствие, но стоит повернуть голову или скосить глаза, как оно ускользает. Это пятно невозможно увидеть — и точно так же невозможно поверить, что Оли больше нет.

И потому всю неделю после Олиной смерти Женя не чувствовала скорби, печали или грусти — только растерянность. Второй раз за год она спрашивала себя: как же я буду жить?

Теперь ничто не разделяло ее и Володю, но Женя боялась к нему приблизиться.

Валера навещал отца почти каждый день: все сорок дней после Олиной смерти он не работал, благо они совпали с сессией и каникулами. Женя радовалась близости, наконец-то возникшей между Володей и его сыном, но понимала, что рано или поздно Валера выйдет на работу и ежеднев-

ные встречи прекратятся. Она попыталась завести разговор об обмене — может, вам лучше съехаться, что ты будешь жить один? а так сможешь с Андрейкой... — но Володя резко ответил: никуда я отсюда не поеду, не так уж долго мне осталось, наездился уже!

Женя не решилась сказать, что в случае Володиной смерти они просто потеряют его квартиру, хотя и подумала, что этот довод мог бы поколебать его решимость. Она думала, не сказать ли все-таки Володе об этом, но через несколько дней он сам предложил Валере прописать у него Андрея — чтобы жилплощадь не пропала, если что.

Так Жене стало ясно, что Володя не хочет уезжать из квартиры, где умерла Оля. Возможно, он хочет побыть один, говорила она себе, но все равно не могла не думать о том, что мужчины совершенно не способны к ведению домашнего хозяйства (взять хотя бы Валерку!), так что Володе, конечно, нужна помощь, и поэтому Женя стала заезжать к нему раз в несколько дней, привозила полные сумки продуктов и готовила еду. Она не знала, рад ли ей Володя: говорил он мало, а если что и обсуждал, то только новости, услышанные по телевизору, — благо той зимой было что обсуждать. Однажды Женя спросила Володю, как они с Олей жили эти шесть лет, без нее и без Валерки.

— Ну, мы скучали, — ответил Володя, — но у меня были студенты. Они к нам заходили и вообще... помогали.

Он стал называть имена и фамилии, и Женя, услышав «Костя Мищенко», с горечью подумала,



что никогда не узнает, сколько среди их помощников и гостей было Олиных любовников.

Она ни о чем больше не спрашивала, но продолжала приезжать и к лету поняла, что бывает у Володи почти каждый день, как когда-то в Грекополе или Энске.

Спустя много лет, поселившись в опустевшей квартире, Андрей примется за разбор дедовых бумаг и найдет несколько неотправленных писем, адресованных Оле. Поборов первую неловкость, он их все-таки прочтет: безыскусные послания, написанные, вероятно, когда бабушка Оля была в каком-то санатории или доме отдыха. Большой частью письма состояли из рассказов о том, что происходит в жизни бывших студентов профессора Дымова, упоминался Валера и маленький Андрейка. В конце дед неизменно спрашивал, не скучает ли Оленька, появились ли у нее новые подружки и не забыла ли она своего Володю. Письма не были датированы, и, только прочитав фразу: «Помнишь, год назад, когда мы переехали в Москву...» Андрей понял, что дед писал их уже после смерти жены.

Любовь сильнее смерти, подумал Андрей, и неприятный игольчатый холод покалывающей волной прокатился вдоль спины. На секунду Андрею показалось, что он в квартире не один. Он сказал в пустоту: *извини, дедушка!* — убрал письма в папку и больше никогда ее не открывал.

Последнее письмо датировалось сентябрем 1980 года — в нем Володя мельком упоминает, что Леня Буровский попросил его подтянуть по химии

племянницу его жены: девочка собиралась поступать в Первый мед.

Все лето Леня Буровский, заходивший к бывшему научному руководителю раз в месяц, с тревогой наблюдал, как Владимир Николаевич все больше и больше замыкается. Однажды, душным послеолимпиадным августовским вечером, они сидели на кухне, и Буровский как бы между делом предложил устроить бывшего профессора на полставки в их институт.

— У нас как раз сейчас расширение, — сказал он, — а вы все-таки знаменитость. Я думаю, если мы с ребятами попросим, дирекция пойдет навстречу.

Нагнув большую голову, Владимир Николаевич задумчиво посмотрел на Буровского.

— Знаменитость! — фыркнул он. — Я же, Леня, не ученый.

— Не скромничайте, Владимир Николаевич! В одном нашем институте десяток ваших учеников работает. Мы-то отлично знаем вам цену!

— Не знаете вы мне цены. Мне как ученому цена ноль без палочки. И знаешь почему?

Буровский замер, как много лет назад замирал, услышав сложный вопрос на семинарах профессора Дымова.

— Потому что я не ученый, — услышал он, — я преподаватель. Пускай очень хороший, но только преподаватель.

— Так, может, вам устроиться куда-нибудь в МГУ? Или в Менделеевский? — спросил Буровский.

— Не возьмут, — покачал седой головой бывший профессор, — там своих пенсионеров девать некуда.

Буровский задумчиво кивнул. Через две недели он позвонил, умоляя Владимира Николаевича выручить его по старой памяти.

— Понимаю, это не ваш уровень, — проникновенно говорил он в трубку, — но девчонка совсем пропадает, вообще ничего, простите, не петрит. А ей экзамен в мед сдавать, туда без химии — никак. Помогите, а? Позанимаетесь пару раз, самые основы объясните, а дальше уж она сама как-нибудь.

— Ну, если ты так просишь, — ответил профессор Дымов внезапно помолодевшим голосом, — и если всего пару раз... Присылай сюда твою двоичницу!

Парой раз дело не ограничилось, еще через две недели Владимир Николаевич сам позвонил Буровскому.

— Нормальная девчонка эта твоя Зоя, — сказал он, — только стеснительная очень — краснеет то и дело. А так умненькая, просто в школе химию вообще не умеют преподавать. По их дурацкому учебнику я бы сам ничего не выучил. Вообще, даже не думал, что все так запущено. Ну, я тут немножко посидел, разобрался... кажется, теперь знаю, как все школьные знания уложить в эту юную прелестную головку. Пусть еще приходит, если не боится.

Зоя не боялась; через месяц она привела подружку, которой тоже нужно было подтянуть химию. Они прозанимались весь год, в мед не поступили, но по химии обе получили пятерки.

Через месяц, в сентябре, у Владимира Николаевича было уже девять учеников.

Эту книжку Андрей нашел у мамы: на серовато-синей обложке — просвечивающий сквозь крупно-

ячеистую золотистую сеть красный круг. Вероятно, солнце, подумал Андрей и открыл книжку в середине. Он сразу попал в начало рассказа о человеке, который всю жизнь искал чудесный сад, случайно увиденный им в детстве за волшебной дверью в стене. Дочитать Андрей не успел: мама вернулась с кухни. В ладони у нее лежала горстка разноцветных таблеток, она быстро отправила их в рот, запила водой из стакана.

— Пойдем ужинать, — сказала она.

— А что на ужин? — спросил Андрей.

— Макароны по-флотски, — улынулась мама.

Андрей закричал «ура!» и побежал на кухню, подпрыгивая, как заводная игрушка. На самом деле мама всегда готовила макароны по-флотски — это было ее, как она говорила, фирменное блюдо. Ни папа, ни бабушка готовить их не умели, и потому каждый раз, когда Андрей был у мамы, он спрашивал «что на ужин?», мама отвечала «макароны по-флотски», он кричал «ура!» и бежал есть. Оба понимали, что вопрос и ответ — лишь часть игры, которая, как всякая игра только для двоих, дарила им невидимое другим удовольствие.

Андрей любил эту игру еще и потому, что бывал у мамы куда реже, чем у бабушек и дедушек. Бабушку Женю он видел несколько раз в неделю, к дедушке Володе приходил раза два в месяц, а у дедушки Игоря и бабушки Даши жил летом на даче. А вот мама появлялась нечасто, наверное, всего несколько раз в год. Пару лет назад Андрей спросил папу, почему так редко видит маму, но папа буркнул что-то невнятное, и Андрею пришлось самому придумать объяснение: он решил, дело в том, что мама

очень часто переезжает — почти никогда он не был дважды в одной и той же квартире. Однажды спросил ее, почему она не живет на одном месте, как все остальные, и мама ответила:

— Это потому, что я — путешественница.

— Но ты же можешь жить у своих мамы и папы, — сказал Андрей. — У них ого-го какая большая квартира! На всех места хватит. И видеться мы чаще будем, — добавил он.

Мама встряхнула светлыми длинными волосами и рассмеялась:

— Я уже взрослая жить у родителей. Ничего не хочу от них брать. Они — сами по себе, я — сама по себе, понял?

Андрей кивнул. Жалко, конечно, что с мамой они так редко видятся, но все равно у нее лучше всех! Конечно, он любил бабушку Женю и теперь, когда ему было десять, даже начал понимать книжки, которые она ему читала. Особенно ему нравился Пушкин — про дуэль и черешни или про капитанскую дочку. Не Дюма, конечно, но все равно интересно.

А вот дедушку Володю он немножко побаивался. Дед смотрел насупленно из-под седых бровей и расспрашивал про уроки. Оживился он только один раз, когда Андрей сказал, что в школе они проходили устройство атома. Дед попросил нарисовать, и Андрей с удовольствием изобразил ядро, вокруг которого, как планеты вокруг солнца, вращались крошечные электроны.

— Все не совсем так, — сказал дед, подумал и добавил: — Но сейчас ты не поймешь, придется пару лет подождать.

— Я уже взрослый! — возразил Андрей, но дед усмехнулся и ответил:

— Взрослый-взрослый, да не совсем, — так что Андрей обиделся и просидел надутый весь вечер, пока папа не приехал его забирать.

На кухне у мамы работал телевизор. Лысый мужчина в очках говорил о чем-то непонятном. Андрей узнал его, это был Андропов, который полгода назад стал вместо Брежнева, который умер. Взрослые тогда обсуждали, что теперь изменится, изменится к лучшему или нет, но Андрей ничего не понял из этих разговоров. Только папа сказал: жалко, что Брежнев умер, такие анекдоты были хорошие, пока еще про Андропова сочинят, но дядя Буровский тут же сказал, что у Андропова висит в кабинете портрет Пушкина, и даже процитировал какую-то пушкинскую строчку, которую Андрей уже слышал от бабушки Жени.

Мама вывалила в тарелку сероватые макароны, перемешанные с кусочками провернутого мяса, напоминающими червячков. В старших классах, посмотрев в «Иллюзионе» «Броненосец “Потемкин”», Андрей подумает, что макароны по-флотски назвали в честь хрестоматийного эпизода, но не решится сказать об этом маме: даже не потому, что она обиделась бы, а потому, что Андрей подозревал, что фильма Эйзенштейна она не знала.

В тот день Андрей забрал с собой книжку с красным кругом на обложке; начатый рассказ он дочитал в метро, а все остальные не так уж ему понравились. Но еще много лет по дороге в школу он воображал, что, если пойти другой дорогой, мож-

но найти волшебную дверь, за которой ждет чудесный сад с добрыми зверями и ласковой женщиной, похожей на маму.

К 1985 году Валерина известность давно уже вышла за пределы Москвы: на Гауе олдовые хиппи рассказывали о нем системщикам-пионерам, имя «гуру Вала» было известно посетителям концертов Ленинградского рок-клуба и еще больше — всегдашним «Сайгона», которые, потягивая свой маленький двойной, спорили, правда ли, что девушки, обученные техникам тантрического секса, в постели *просто улет* или это все слухи и *полная лажа*.

В этом году Валере исполнилось тридцать семь — возраст, прославленный Высоцким как точный срок, отмеренный истинным поэтам. Валера, пожимая широкими плечами, говорил, что он не поэт, а простой учитель физкультуры, но день рождения отметил с размахом, позвав к себе человек десять старых друзей и два десятка учеников и учениц. Когда разошлись все, кроме двух девушек, оставшихся мыть посуду, Леня Буровский вышел с Валерой на балкон. Валера достал пачку и протянул сигарету.

— Ого! — присвистнул Буровский. — «Мальборо»?

— Подарили, — ответил Валера, чиркнув спичкой.

Огонек на секунду осветил его лицо: морщины были почти не заметны, а вот в бороде и длинных волосах то тут то там мелькала седина, словно серебряные нити, вплетенные в шерстяную пряжу.

— Ты доволен? — спросил Буровский.

— Днем рождения?

— Нет, вообще — тем, как все идет.

Валера помолчал. Где-то проехала одинокая машина, сверкнув фарами и жалобно взвизгнув на повороте.

— Не знаю. Наверное, не стоит быть всем довольным, — сказал он. — Истинно мудрый не оценивает, ты же знаешь. Но если оглянуться, то за десять лет мне кое-что удалось сделать и понять. Помнишь, мы когда-то обсуждали, можно ли у нас делать свое дело и при этом жить не по лжи?

Буровский кивнул.

— Вот я за эти годы понял ответ. Главное — выгородить себе территорию, свое собственное место. Тогда ложь остается за его пределами. Ты не пускаешь ее внутрь, и она даже укрепляет границы твоей территории. Например, как бы тебя ни заставляли врать на собрании в твоём НИИ, тебя не заставляют подделывать результаты эксперимента или соглашаться с антинаучными теориями, как при Сталине и Лысенко. Точно так же и я: по штатному расписанию я преподаватель физкультуры, мои курсы называются восточной гимнастикой, но никто не рассказывает мне, как я на самом деле должен учить людей йоге.

— А как там, кстати, твой крокодил Гена? Давненько про него не слышал. Не беспокоит?

— Не очень. Пару раз появлялся.

— Про учеников расспрашивал?

— Не-а. Я ему сразу сказал, что стучать не буду. Интересовался, какие книжки читаю, что сейчас в моде в наших, так сказать, кругах. Только однажды, когда я каратэ хотел заняться, сказал, чтобы



я не лез, это, мол, серьезное дело. По-моему, пере-страховался — все как занимались, так и занимаются.

— А про свою территорию... ты уверен, что тебе всегда удастся ее защищать?

— Не знаю, — пожал плечами Валера. — Истинно мудрый ничего не знает про «всегда», вот и я тоже не знаю. Но ты посмотри — все больше людей выгораживает себе свой загончик. Мне на прошлой неделе новый альбом «Аквариума» принесли — ты их не любишь, но все равно понятно, что Гребень и иже с ним вполне построили себе зону свободы и независимости. В тюрьму не сажают, деньги зарабатывать не мешают...

— Ну, для этого надо быть рок-звездой, — сказал Буровский.

— Да нет, просто у каждого свое дело. У тебя свое, у меня свое, у «Аквариума» тоже свое. Даже у моего отца свое — и, обрати внимание, совсем уже неофициальное, никакого прикрытия, ни кафедры физкультуры, ни рок-клуба: просто опытный профессор натаскивает школьников на экзамены по химии. Да, наверное, если бы мы жили в другой стране, это был бы типа бизнес, но почему-то мне кажется, что так, как есть, его больше устраивает.

— Если бы мы жили в другой стране, твой отец, возможно, прожил бы другую жизнь, — ответил Буровский.

За их спинами раздалось тихонькое позвякивание — обернувшись, Валера увидел, что одна из девушек постукивает пальцем по стеклу. Он кивнул ей.

— Мы закончили, — сказала она, приоткрыв балконную дверь.

— Спасибо, — сказал Валера, — мы сейчас придем.

Девушка, улыбнувшись, исчезла.

— Мне, пожалуй, пора, — сказал Буровский. —  
Еще в Чертаново пилить.

— Да ладно, оставайся, — предложил Валера. —  
Опять же — девиц две, на всех хватит.

— Да не, — Буровский покачал головой, — у меня  
Милка.

— Ну и что? — сказал Валера. — Сейчас во всем  
мире сексуальная революция, *фри лов* и все такое,  
сам знаешь.

— Ничего я не знаю, — ответил Буровский. —  
Я дальше Бреста не был. Может, на самом деле на  
Западе происходит вовсе не то, что мы думаем?  
Я вот на конференциях встречал коллег из Шта-  
тов и из Англии... как-то непохоже, что они прак-  
тикуют свободную любовь.

— Значит, нам удастся здесь больше, чем им, —  
ответил Валера. — Хотя вряд ли: я последние годы  
по-английски много читаю, так что там, поверь  
мне, действительно другая жизнь.

— Джеймса Бонда читаешь? — усмехнулся Буров-  
ский.

— Нет, зачем? Сейчас Кастанеду читаю.

— Кто это?

— Ученый. Антрополог. Мне когда-то Алла его  
пересказывала — про то, как исчезать в оптиче-  
ском прицеле... короче, что-то вроде Ричарда  
Баха, тоже человек, который ищет духовные пути.

— Ну да, — кивнул Буровский, — профессиональ-  
ная литература, понимаю. Как для меня — химия.

— Про химию там тоже есть, кстати, — сказал Ва-  
лера, — у Кастанеды в особенности. Но, думаю, это  
не наш путь.

Он щелчком отправил окурок в забалконную тьму. Прочертив в ночи сверкающую параболу, тот погас где-то на уровне первых этажей.

Вот тоже, падучая звезда, подумал Валера. Может, кто увидел — и желание загадал, выходит — и вечер не зря прошел.

— Ладно, пора уже, — сказал Буровский, открывая дверь. — Тебя девчонки заждались, а мне домой надо.

Через несколько дней Валера приехал к отцу в гости. Все эти годы он заезжал на «Коломенскую» примерно раз в месяц. Обычно Женя готовила ужин, потом они немного выпивали, отец рассказывал об учениках, Валера пытался слушать, но никак не мог запомнить ни имен, ни проблем этих школьников, которых никогда в жизни не видел.

— Ты знаешь, пап, — сказал он однажды, — мы же с тобой коллеги. Я тоже преподаватель, как и ты.

— Какой ты преподаватель, — рассмеялся Владимир Николаевич, — ты физкультурник. А я все-таки учил людей тому, на чем держится современный мир, — науке.

Валера вспомнил, как в десятом классе сказал отцу, что его жизнь потеряет смысл, если он согласится с тем, что высшее образование нужно не всем. Дурак я тогда был, подумал он, не понял, что для отца главное — не образование, а наука.

— Мне кажется, — сказал он, — это было раньше, лет тридцать-сорок назад, когда ты был молодым и только начинал преподавать. Тогда только сделали бомбу, и всем казалось, что и дальше наука будет двигать горы. Потом еще в космос полетели, но все

это было давно. Наука имеет дело только с материей, как физкультура имеет дело только с телом. А в какой-то момент я понял — важен только дух. Материя или тело — просто инструмент, с помощью которого мы должны решать духовные проблемы. Вероятно, Эйнштейн и прочие это хорошо понимали, а насчет твоих студентов я не уверен.

— Это какой-то идеализм, — недовольно буркнул профессор Дымов, — прошлый век, несерьезный разговор.

— А что прошлый век? — неожиданно разозлился Валера. — И в том веке были люди, которые все правильно понимали. Их, правда, почти всех после революции извели, но книжки-то остались. Хочешь, принесу почитать?

Владимир Николаевич пожал плечами: мол, хочешь — приноси. Валера в самом деле в следующий раз дал отцу Бердяева и Шестова, не самых своих любимых философов, зато не нуждавшихся в переводе. Впрочем, когда он зашел к отцу в гости через несколько дней после своего дня рождения, Владимир Николаевич вернул ему книги, недовольно морщась.

— Не понравилось? — спросил Валера.

— Нет, совсем не понравилось, — покачал седой головой отец, — слишком сложные вопросы. Я думаю, они потому такие сложные вопросы задавали, что жизнь у них была простая.

— Не была у них простая жизнь, — с обидой ответил Валера. — Бегство из России, эмиграция, бедность.

— Ну, жизнь, может, и нет, а детство у них было простое, — не сдавался Владимир Николаевич. — Человек, выросший во время Гражданской вой-

ны и разрухи, никогда не будет задаваться такими сложными вопросами. Он будет искать простых ответов. Когда-то я хотел построить новый мир, потом — развивать науку, а потом понял, что могу только учить тех, кто будет строить новый мир и совершать открытия.

— И какие открытия, например, совершает Игорь? — спросил Валера.

Отец погрозил ему пальцем:

— Не цепляй Игоря. Он хороший человек, всем нам помогает, это уже немало. И если ты веришь в какое-то *там*, то в твоём *там* ему это зачтется.

Валера рассмеялся:

— Согласен, согласен. Пусть там ему зачтется то, чем он помогает людям, а не то, чем занимается на работе.

Сказав эти слова, Валера вспомнил свой ночной разговор с Леней. Выходит, Игорь в той же ситуации, что мы все, подумал он. Своей вечной партийной ложью на работе он выгораживает территорию, на которой может беспрепятственно помогать моему отцу, мне и, наверно, множеству других людей. Никогда не приходило в голову так посмотреть на бывшего тестя.

Да и вообще, внезапно подумал Валера, почему же папа считает, что учил их всех науке? Может, на самом деле он своим ученикам показывал что-то другое? Как заботиться о тех, за кого отвечаешь? Как быть честным перед самим собой?

Валера вспомнил бывших папиных студентов — да, пожалуй, у всех них было что-то общее.

Владимир Николаевич разлил водку по рюмкам. Глядя на него, Валера вспомнил слова Буровского:

«Если бы мы жили в другой стране, твой отец, возможно, прожил бы другую жизнь». Он выпил и, поставив рюмку на стол, спросил:

— Папа, ты вот сказал, что хотел строить новый мир, а потом хотел заниматься наукой, но в конце концов выбрал просто учить студентов химии. Ты не жалеешь?

Отец помолчал, пристально глядя на Валеру. Тетя Женья вошла, поставила на стол горячее и присела рядом.

— Ни о чем я не жалею, — сказал отец. — Я не менял мир и не занимался наукой, зато на моих руках нет крови. И я не провел полжизни в лагерях, как мой брат. И я не делал ни атомную бомбу, ни баллистические ракеты. И в шарашке не сидел. И в 1948 году оказался в университете, где не было ни одного еврея, — мне даже не пришлось разоблачать своих коллег и учителей. О чем мне жалеть?

Валера видит, как тетя Женья с нежностью накрывает руку отца ладонью, и думает: они выглядят как счастливая семейная пара, как люди, которые прожили вместе всю жизнь... а потом улыбается и мысленно поправляет себя: почему «как»? Они ведь в самом деле вместе почти всю жизнь. Какая разница — семейная пара или просто старые друзья?

\* \* \*

Бабушка Женья открыла дверь:

— Ты, гляжу, молодец, я уж думала — опоздаешь, как всегда!

— Не, ба, я же понимаю, — ответил Андрей.

Сегодня он впервые приехал к бабушке Володе не как внук, а на занятия химией. В конце восьмого класса химичка с трудом натянула ему четверку, папа так и сказал, поглядев в дневник: готовься, осенью к деду отправлю! — и Андрей даже не стал объяснять, что четверка (а на самом деле, конечно, заслуженная тройка) вовсе не потому, что он не понимает химию, просто вокруг слишком много всего интересного, чтобы размениваться на учебу. Андрей, разумеется, и самиздат читал, и рок-музыку слушал, но одно дело дома, тайком, а другое — когда в ДК «МЭЛЗ» на премьере «Ассы» живьем выступают БГ, Цой и «Бригада С». Какая уж тут химия!

Вот и пришлось в первую же субботу сентября ехать к бабушке на «Коломенскую». Сняв ботинки в прихожей, Андрей направился в комнату, открыл дверь, сказал: *Привет, бабушка!* — и осекся. За столом вместе с дедом сидела незнакомая девушка.

Нет, Андрей не влюбился в нее с первого взгляда, не оцепенел на пороге, не сказал смущенно *добрый день* — нет, он довольно развязно кивнул, проворчал *привет!* — и сел на пустой стул, напротив деда, рядом с гостьей.

— Это Аня, она будет месяца два с тобой заниматься, — сказал дед. — Она вообще-то в мед собирается, так что ей нужно за год всю программу выучить, но самые азы я вам вместе объясню.

Андрей кивнул: он смутно припоминал, как дед рассказывал когда-то — мол, родители, дураки, возмущаются, что он отказывается брать их детей поодиночке: за такие бешеные деньги — и в группе! А я, говорил дед, им объясняю, что индиви-

дуальные занятия на порядок менее эффективны — лучше, когда учатся двое или трое, больше азарта, увлеченности, лучше результат.

Андрей представился, протянув руку. Аня руку не то чтобы пожала — скорее прикоснулась. Пальцы у нее, заметил Андрей, были холодные.

Во время этого урока он то и дело разглядывал соседку краем глаза. Вязаная шерстяная кофта, темно-каштановые волосы, крупный нос, густые брови... хорошенькая, решил Андрей.

Впрочем, в пятнадцать лет любая девушка кажется хорошенькой, особенно если она старше на год и сидит рядом, иногда задевая твою ногу носком туфли.

Но нет, Андрей вовсе не влюбился в тот день, хотя изо всех сил старался произвести впечатление, пока они с Аней шли до метро, а потом ехали до «Площади Свердлова» — оттуда Андрей поехал домой, а Аня в другую сторону, до «Сокольников». Он небрежно рассказал, что весной заporол химию, потому что был на премьере «Ассы», и тут же выяснилось, что Аня тоже фанатка «Аквариума», и Андрей, конечно, пообещал записать ей пару недостающих альбомов, благо у него был двухкассетник и даже несколько чистых кассет.

Через неделю он принес «Табу» и «Синий альбом», а Аня пообещала ему запись новой звезды, Саши Башлачева из Сибири. Настоящий русский рок, сказала она, немножко картавя.

Весь сентябрь они менялись кассетами, между делом обсуждая демонстрации в Эстонии, погромы в Нагорном Карабахе и недавно опубликованные книжки. Некоторые из них Аня, как и Андрей,



читала еще до того, как перестройка сделала всеобщим достоянием тайные сокровища избранных. *Наши секреты стали шрифтом по стенам*, процитировала она БГ, и фраза, сказанная лет семь назад, лучше всего описала ту смесь разочарования и восторга, которую испытывали они оба.

В начале октября Андрей между делом сказал, что папа недавно купил корейский «GoldStar», можно как-нибудь зайти, посмотреть видео. В ответ Аня рассмеялась глубоким, гортанным смехом и сказала, что видик у ее родителей тоже есть, теперь можно обмениваться и фильмами. Видеофильмов Валера достать еще не успел, но Аня пообещала: если родители разрешат, она принесет Андрею что-нибудь посмотреть просто так, не на обмен.

Это был жест доверия: в 1988 году видеофильмы всё еще оставались редкостью, и владельцы видеомагнитофонов обычно менялись кассетами, а не давали смотреть. Андрей это знал и не слишком надеялся, что Аня чего-нибудь принесет, но в следующую субботу в лифте дедушкиного дома она протянула кассету, спрятанную в пустой пластиковый пакет из-под молока: размер подходил один в один, поэтому их часто использовали вместо футляров.

— Что это? — шепотом спросил Андрей.

— «Забриски-пойнт», — ответила Аня. — Такой американский фильм про хиппи, клевый. И *Pink Floyd* там играют.

Сам не зная почему, Андрей не стал рассказывать папе про фильм. Дождавшись вечера понедельника, когда Валера ушел на тренировку, он с замиранием сердца сунул кассету в видеомагнитофон.

Фильм ему понравился, но больше всего поразила эпизод, где посреди пустыни множество молодых людей занимались сексом — или, как уже стали говорить, *трахались*. Андрей посмотрел эту сцену несколько раз, уверяя себя, что просто слушает музыку *Pink Floyd*, и каждый раз пытался представить, как смотрела ее Аня (только лет через десять, когда уже появится интернет, он узнает, что как раз здесь играет Джерри Гарсиа и *Grateful Dead*).

Но главный сюрприз ждал Андрея после титра «конец»: на кассете оставалось еще десять минут, и там был дописан кусок из настоящего эротического фильма. Без перевода, но все и так понятно — парень приходил к девушке в гости, они сначала разговаривали по-французски, потом девушка раздевалась, опускалась перед парнем на колени — и тут кассета закончилась.

В следующую субботу Андрей вернул кассету, сказал, что фильм просто потрясающий и *Pink Floyd* очень круто играют, а потом, не сдержавшись, все-таки спросил:

— А ты знаешь, что там в конце дописано?

Аня тряхнула густой каштановой гривой и ответила со смехом:

— Порнуха какая-то. Или эротика. Я не разобралась толком.

Это прозвучало так естественно, так просто, что Андрею ничего не оставалось, как рассмеяться в ответ и сказать что-то вроде: *да, да, я тоже не разобрался*, но именно в этот момент он влюбился, говоря по-английски, *fell in love, упал в любовь*, и даже не упал, а провалился, как проваливается под лед неопытный путник, решивший пересечь только что

замерзшую реку. Руки хватаются за край полыньи, ледяная вода заливает легкие, намокшая одежда тянет на дно — все, он пропал, ему не спастись.

Так и случилось с Андреем. Простившись с Аней на «Проспекте Маркса», он долго смотрит ей вслед, погружаясь все глубже и глубже, с каждой минутой теряя надежду когда-нибудь снова подняться на поверхность. Перед глазами вспыхивают круги, словно Андрей действительно тонет, и он не успевает заметить, как Аня входит в свой вагон и двери за ней захлопываются.

Как я устал, думает Владимир Николаевич Дымов, 71 год, солдат, ученый, профессор, репетитор, муж, отец, дед, как же я устал, думает он, катился-катился и устал, и остановился, ведь была такая сказка, сказка такая была, мама рассказывала, и брат мой Боря тоже рассказывал, сказка про колобок, что сперва катился, а потом остановился, как часы, когда закончился завод и разжалась пружина, стоп-машина, вот Бог, вот порог, а вот колобок, что от всех ушел, от бабушки, от дедушки. Дедушка — это я, я — тот колобок, ушел от дедушки, ушел от себя, ушел от бабушки, ушел от волка и от зайца, от медведя, от медведя-прокурора, от всех подразделений наших доблестных органов, органов охраны правопорядка, что охраняют наш мирный сон назло врагам мира и социализма, которые пугаются... с кем путаются? все путается, пусть путается, мы не сдаемся, мы куем броню, куем новые кадры, мы кузнецы, дух наш молод, куем ключи от счастья, и что такое счастье, каждый понимает по-своему, и вот, по-моему, счастья нет, но есть покой и мир и воля и представ-

ление. И представление! И представление... начинается, играйте туш, поднимите занавес, выходите все, выходите по одному, руки за голову, шаг влево, шаг вправо считается, шаг вниз и шаг вверх не считается, и вот, кстати, моя считалка: аты-баты, шли солдаты, аты-баты, шли солдаты, четыре года шли, пока не дошли до Берлина, а оттуда их повезли назад, повезли в поездах, на север, срока огромные, кого ни спросишь — никто не отвечает, хотя вопрос совсем простой, так что вижу я, вы прогуляли все мои лекции, вы всё прогуляли, и не видать вам зачета, бездельники, лодыри, тунеядцы, отвечайте, как может происходить процесс окисления в полной пустоте, в вечной мерзлоте, в вечности, где те, эти и те, служили во флоте, в пехоте, в последней роте, во вражеском дзоте, в дзете и в эте, в сигме и в омеге и в альфа-нитрозо-бета-нафтоле, говоря об Оле, Оле, Оле, Оля, Оля, отзовись, где ты, куда ты ушла? я же говорил: смотрите, вот моя Оля, вот моя жена, жена-Женя, Женя, Женя, где ты куда ты солдаты виноваты не виноваты агрегаты и аппараты и муфельные печи и доменные печи и стали слышны речи пора пора пора...

Когда Женя вошла в квартиру, она сразу его увидела: он лежал на пороге кухни, глядя в потолок широко открытыми, совершенно неподвижными глазами. Она закричала *Володя!* и бросилась к нему, уже зная, что он умер, что поздно вызывать «скорую», что все кончено.

Женя ошиблась: ничего не было кончено, это было только начало, Володя был жив и проживет еще три года, прикованный к кровати, бессловес-

ный, парализованный, не реагируя на слезы, слова, молитвы, на звук и свет, на все явления внешнего мира.

Валера поставил на уши Москву, собрал лучших врачей, а потом — лучших экстрасенсов, лучших народных целителей, но все они ничем не могли помочь, Владимир Николаевич Дымов все так же лежал, и ему исполнялось семьдесят два, а потом семьдесят три года, и все это время Женя была рядом с ним. Валера нанял сиделку, пообещав медсестре из Первой градской в пять раз больше ее зарплаты, и та согласилась, потому что уже наступило время, когда деньги решали все, точнее — почти все, ведь никакие деньги не могли оживить омертвевшее тело Владимира Дымова.

Когда сиделка уходила, Женя мыла его сама. Она впервые увидела обнаженным мужчину, которого любила всю жизнь, и, промывая складки пожелтевшей дряблой кожи, смущалась, потому что знала: Володя не хотел бы, чтобы она увидела его таким — парализованным, неподвижным, бессильным.

Когда сиделка уходила, Женя становилась на колени и молилась, чтобы Господь даровал исцеление рабу Божьему Владимиру. Исцеление все не наступало, и тогда Женя думала, не позвать ли батюшку, чтобы он соборовал Володю, а потом каждый раз говорила себе, что ее Володя всю жизнь прожил атеистом, пусть и умрет атеистом, а Господь отпустит ему этот грех и вознаградит за все его праведные дела.

Когда сиделка уходила, Женя сидела рядом с Володей, держала за руку, на запястье которой тикали неизменные *Selza*, и говорила все, что не могла

сказать все эти годы. Сейчас Володино молчание давало ей силы говорить, и она снова и снова рассказывала, как впервые увидела его на кухне, освещенного зимним солнцем, как плакала по ночам, ревнуя к Оле, как поехала с ними вместе в Куйбышев, а потом в Грекополь, в Энск, как не могла заснуть, слушая, как по ночам они с Олей любят друг друга, как была счастлива, когда была с ним вдвоем, как растила Валерку, а потом Андрейку, как уехала в Москву, ничего не сказав Володе про Олю и Костю, как жила шесть лет, стараясь не вспоминать, но все равно вспоминая почти каждый день, как помертвела, когда поняла, что они оба вернулись и снова будут жить с ней в одном городе, как они с Олей простили друг дружку, но она, Женя, боялась снова превратить их дом — в свой и как в конце концов все-таки стала приходить сначала раз в неделю, а после смерти Оли — почти каждый день. Женя плакала и обещала, что не оставит ни Валерку, ни Андрея, позаботится о них, пока будут силы, а потом рассказывала, как Андрей сдавал экзамены после десятого класса, рассказывала, как Валерка сделал Андрею в военкомате белый билет — за взятку, потому что наступило время, когда деньги решают если не все, то почти все, и это очень удобно, когда деньги есть, и совсем страшно, если их нет. Она говорила про павловскую реформу, про то, как исчезли сахар, мыло и сигареты, про то, как снова появились талоны, а потом рассказывала про Нагорный Карабах, Сумгаит, Тбилиси и Вильнюс, про XIX партконференцию, про первый съезд народных депутатов, про Ельцина и Лигачева, про шестую статью конститу-

ции, про стотысячные митинги на улицах. Женя держала Володю за руку и повторяла, что любит, всегда любила, всегда будет любить, и однажды ей показалось, что Володины пальцы чуть дернулись, слабым эфемерным пожатием на мгновение сдавив ее ладонь, и тогда она заплакала, заплакала от счастья, потому что свершилось чудо, паралич отступил, сегодня ожила левая рука, а завтра, может, зашевелится правая, а потом в один прекрасный день Володя снова заговорит и скажет, что он слышал все, что она рассказывала эти три года, и что он тоже любит ее, давно уже любит, просто никак не мог ей в этом признаться. Женя плакала и сжимала Володину руку, а потом вытерла слезы и поняла, что рука уже совсем холодная.

Андрей стоит у гроба, который через несколько минут опустится в никуда, отправится навстречу очистительному огню крематория. Он так давно готовился к этому дню, что ничего не чувствует — ни скорби, ни печали, ни грусти. Для него деда не стало три года назад, юношеский максимализм не оставил Андрею никакой надежды, и, пока Валера бегал по врачам, экстрасенсам и телепатиям, Андрей в пустой квартире оплакивал дедушку Володю — и вместе с ним свою потерянную любовь: когда он наконец решился спросить телефон девушки, с которой вместе занимался, бабушка Женя не смогла вспомнить ни Аниного лица, ни имени — и уж тем более не знала, откуда Аня появилась и кто порекомендовал ей Владимира Николаевича.

Три года назад Андрей выплакал все слезы и сейчас, стоя у гроба, думает: как странно, что дед про-

жил семьдесят четыре года, как советская власть, и последние годы, как и она, бессильно лежал и умирал. Для пушного символизма он должен был умереть в августе, но дожил до осени. Почему-то Андрею приятно, что, из последних сил отхватив несколько месяцев жизни, дед избежал навязчивой симметрии, превращения в символ, умер, как и жил, обычным человеком, а не метафорой или притчей.

Андрей обводит глазами тех, кто пришел на похороны. Человек пятьдесят, не меньше. Он почти никого не знает. Начинается прощание, один за другим они подходят к гробу, целуют мертвый холодный лоб, те, кто постарше — бывшие дедовы студенты, кто помоложе — наверно, их дети или те, кого дед учил химии уже в Москве. Кто-то хочет сказать последнее слово... незнакомый пожилой мужчина говорит о верности усопшего советской науке и педагогике, Андрей плохо различает слова, они звучат глухо, будто он лежит в кровати, накрывшись с головой одеялом... лишь внезапно пререзается: *...как и все студенты, мы за глаза называли Владимира Николаевича Профессором, но сейчас я хочу в этот последний момент назвать его тем настоящим именем, для которого он был создан.* Пауза, а потом мужчина говорит тихо и скорбно: *Умер Учитель. Вечная ему память.*

Люди один за другим приближаются к гробу и уходят прочь, Андрей не различает лиц, но вдруг на мгновение ловит пронзительный взгляд карих глаз... вздрагивает и успевает заметить, как взлетает в воздухе волна густых каштановых волос.

Пронзительно, до боли отчетливо он понимает — *Аня!* — хочет шагнуть навстречу, но тут кто-то



хватает его за плечо, Андрей оборачивается: это его отец.

Вцепившись левой рукой в сына, Валера стоит, закрыв правой рукой лицо. Плечи его вздрагивают, слезы блестят между растопыренными пальцами.

Андрей понимает: он впервые видит, как отец плачет. Повернувшись к Ане спиной, Андрей обнимает отца за плечи и шепчет туда, где перехвачены резинкой седеющие волосы: *papa, papa...*

## 8

Зима 1991 года сочилась тревогой. Даже тем, кто вовсе не думал о политике, было ясно, что СССР не оправится после августа. На полках все еще было пусто, но кооперативные рестораны и магазины работали вовсю. К этой зиме все давно научились использовать слова «коммерсант», «рэкетир» и «путана», но самые продвинутые уже догадались, что пора учить слова «брокер», «дилер» и «дистрибьютор».

Морозный воздух веял предчувствием небывалого и страшного: голода, погромов, гражданской войны. Время располагало к решительным действиям, завтрашний день был скрыт в тумане. Проще было считать, что он вообще не наступит, и потому никто не загадывал наперед: все, что должно было случиться, должно было случиться сегодня — или никогда.

Но этой зыбкой тревожной зимой, пропитанной холодом и страхом, Андрей и Аня приближались друг к другу медленно и бережно. Дождавшись Андрея у выхода из крематория, Аня дала ему свой номер, но Андрей позвонил только через неделю.

Месяц они перезванивались, аккуратно, словно прощупывая почву, рассказывали друг другу о себе. Аня в конце концов пошла не в мед, а на биофак, поступила со второго раза и сейчас училась на втором курсе. Андрей окончил школу и уже год подрабатывал переводами — за быстро переведенный макулатурный американский роман очень даже неплохо платили.

Они не сразу заметили, что разговаривают по телефону часами и никак не могут повесить трубку. Каждый разговор заканчивался бесконечным «ты клади!» — «нет, ты клади!», пока однажды они не придумали считать: «раз, два, три!» — и бросать трубку одновременно.

В начале декабря они наконец решились встретиться. Два часа гуляли по заснеженным бульварам, сначала выдерживая дистанцию в метр, постепенно сближаясь так, что их руки то и дело случайно соприкасались, хотя сквозь шерстяные варежки можно было только догадываться об этом легком и эфемерном контакте.

В тот день Андрей проводил Аню до дома и, расставаясь, неловко ткнулся побелевшими от мороза губами в ее щеку. В следующий раз Аня в ответ чмокнула воздух у самого его лица, но только через месяц их губы соприкоснулись в слабом подобии прощального поцелуя.

Все эти недели и месяцы оба они знали, что медленными, осторожными шажками движутся к неизбежному достижению последней близости, близости ненасытных поцелуев и бесстыдной наготы, прикосновений и проникновений; знали с того момента, как снова встретились в Донском крема-

тории. Достаточно было малейшего знака, легкого признака нетерпения, прямого вопроса или предложения — и они бросились бы друг другу в объятия. Оба это знали, но продолжали свой бережный, неспешный танец — возможно, потому, что хотели сберечь, сохранить, пусть ненадолго, ту трепетную, непрочную связь, которую впервые почувствовали три года назад и не забывали, даже когда не знали, встретят ли друг друга снова. За прошедшие годы оба сроднились с этой легкой вибрацией невидимой нити и теперь не хотели разменять тайную дрожь на то, что могло оказаться заурядным романом, банальным сексуальным приключением.

Все случилось только весной. Андрей еще в январе переехал в дедушкину квартиру, где развесил по стенам плакаты *Pink Floyd* и *The Doors*, перевез с собой один из отцовских двухкассетников, но, как он ни пытался обжиться в новом доме, одинокими ночами ветхое постельное белье и поблекшие обои неуловимо пахли смертью и тленом. Андрей воевал два месяца, однако призраки печали и безнадёги были изгнаны, лишь когда властно заявил свои права запах Аниной наготы.

Андрей не мог определить этот запах: иногда ему чудилась смесь мускуса, яблока и корицы; иногда главенствовала одинокая и резкая нота имбиря; временами Аня, как ни странно, пахла молоком и медом. В очередной раз уловив этот запах, Андрей сказал ей об этом, и она рассмеялась:

— Это потому, что я как бы твоя персональная обетованная земля.

В тот год ко всем словам стали добавлять «как бы»: мир вокруг был зябким, неустойчивым, нена-

дежным; казалось, все явления и предметы потеряли смысл и суть, и потому «как бы» можно было безошибочно ставить перед любым словом: «я как бы люблю тебя», «мы будем вместе как бы всегда», «как бы мы как бы будем как бы вместе».

Весной они виделись почти каждый день, иногда встречались на несколько часов днем, иногда Аня оставалась ночевать на «Коломенской», хотя оттуда и было далеко ехать до университета. Они сделали паузу на время сессии: оба понимали, что иначе Аня не сдаст ни одного экзамена, да и Андрея поджимали сроки очередного перевода. Получив шесть троек, Аня вздохнула с облегчением и фактически переехала к Андрею.

В начале следующего тысячелетия они пытаются вспомнить это лето, но, соглашаясь друг с другом в том, что это было самое счастливое лето их жизни, не вспомнят ни одной подробности. Что они делали тогда? Гуляли по новой Москве, по этому городу недолговечных ларьков, фальшивых попрошайек и напуганных до полубезумия старух, продающих в переходах хлеб и молоко? Ездили за город, где оставались старые дачи, еще не выкупленные и не перестроенные? Сутками не выходили из дома, неутомимо и ненасытно исследуя экзотический потенциал человеческого тела? Оба ничего не могли вспомнить, но оба помнили день, когда резкая вспышка боли чудовищным цветком раскрылась в сердцевине их удвоенного счастья.

Они лежали на полу, и Аня, за провод подтянув к себе телефон, сказала:

— Я позвоню маме, мы уже, кажется, неделю не говорили.

Андрей уткнулся лицом чуть ниже Аниного пупка — отец как-то сказал ему, что именно там и находится душа, или центр силы, или просто какая-то важная чакра, — и так увлеченно впитывал запах Аниной кожи, что не сразу заметил, как остановилась перебиравшая его волосы рука, прохладная, как всегда. Он поднял голову, точно котенок, требующий ласки, — мол, что это ты прекратила, давай гладь дальше! — но так и застыл, нелепо вывернув шею: Аня молча прижимала к уху трубку, лицо ее было неподвижно как маска, а по щекам катились неестественно крупные слезы. Наконец она очень тихо прошептала:

— Да, мама, я поняла. Конечно. Я тебе перезвоню, — и выронила трубку на ковер.

— Что случилось? — спросил Андрей.

— Мы получили американскую визу.

— И что?

— Это значит, что через полгода мы уедем. Я обещала родителям, когда мы подавались, что, если получится, я поеду с ними.

— Я могу поехать с тобой, — сказал Андрей, сам удивляясь, с какой легкостью принял это решение.

— Ты не можешь, — покачала головой Аня. — Если мы не муж и жена, ты не можешь со мной ехать. А если мы поженимся, всем нам придется подавать заново. Мама не согласится, я точно знаю.

— Все равно что-нибудь можно придумать, — возразил Андрей делано бодрым голосом. — Сколько у нас есть времени?

— Где-то полгода, — ответила Аня, — может, даже больше. Я думаю, мы уедем только весной.

И в этот момент Андрей услышал тихое пощелкивание — в тот день оно не прекращалось ни на секунду, что бы они ни делали. Только под утро он понял: это включился его внутренний секундомер, отсчитывая, сколько осталось до разлуки.

Валерию Дымову перестройка принесла славу — как и многим другим андерграундным звездам. В отличие от Гребенщикова или Цоя, он не собирал ревущих стадионов, но «Московский комсомолец» и «Юность» печатали с ним интервью, а в начале девяностых «СПИД-инфо» сделала большой материал про подпольную школу тантрического секса. На фотографии была изображена гологрудая красотка, которую Валера впервые видел. Сначала он устыдился своей забывчивости, а потом с облегчением рассмеялся, сообразив, что девицу просто пересняли из какого-то западного журнала.

Задолго до этой публикации, осенью 1989 года, Геннадий Николаевич стал настойчиво уговаривать Валеру заняться политикой, основать, например, какую-нибудь партию.

— Сейчас важный исторический момент, — говорил, затягиваясь «Мальборо», Геннадий. — Те, кто сейчас подсуется, завтра будут управлять страной.

— Не интересуюсь, — сухо ответил Валера. — Хотелось бы сначала научиться собой управлять, а потом уже — страной.

— Зря вы так, Валерий Владимирович, — ответил Геннадий, то и дело потирая сухие, желтоватые ладони (этой привычки Валера раньше за ним не замечал), — если не вы, то набегут мошенники,

жулье всякое. А ведь Россия сейчас нуждается в духовном учителе, в человеке, который поведет ее новым путем.

Валера усмехнулся: он вспомнил ночную беседу в Грекополе. Много лет назад его отец тоже хотел куда-то вести Россию, но арест брата остановил его. Этот Геннадий за дурака меня, что ли, держит? Дешевая провокация, подстава, сам организует — сам и посадит. Дудки!

— Это пусть Михал Сергеич с Борис Николаичем разбираются, кому куда Россию вести, — сказал он, — а я другим здесь занимаюсь, вы же знаете.

Похоже, Валерин куратор все понял, про политику больше не заговаривал, но время от времени предлагал разное: поездку в Питер, где директор какого-то ДК давно мечтал организовать гастроль для гуру Вала, интервью в программе «Взгляд», встречу с американскими студентами, искавшими в голодной перестроечной Москве не то новой духовности, не то старого доброго *света с Востока*. Иногда Валера отказывался, иногда соглашался, и к весне 1991 года у него установились с крокодилем Генной вполне партнерские, в чем-то даже дружеские отношения.

Светлым весенним вечером они сидели в кооперативном ресторане «У Пиросмани». Валера глядел в окно, где над зеленеющими кронами желтый луч солнца трогал золотые купола Новодевичьего монастыря. Геннадий увлеченно разделявал крупный грузинский пельмень, то и дело макая его в аджику. Пять минут назад они выпили на брудершафт, и Валера все еще жалел, что не смог отбазариться.

— Хорошие пельмени, Валер, — сказал Геннадий, — хочешь попробовать?

— Ты же знаешь, я не очень по мясу, — ответил Валера. — Стараюсь не забивать попусту каналы, если ты меня понимаешь.

— Понимаю, понимаю, — закивал Геннадий, вытирая рот салфеткой, на которой выступали жирные пятна, похожие на контуры стран, которым еще предстояло обрести независимость. — А мне вот, по моим каналам, намекнули, что пора бы тебе легализоваться.

Валера изумленно поднял брови.

— Ну, кончатся вот эту подпольщину с секциями в институтах. Сделать нормальную фирму, деньги получать открыто... это раньше нельзя было, а теперь — только приветствуется.

— Да ну, — сказал Валера, — на фиг надо? И вообще, я люблю независимость. Помнишь, у Айтматова: если у собаки есть хозяин, то у волка есть Бог.

— В своей фирме ты сам себе хозяин, — сказал Геннадий.

— Да какой из меня фирмач? — пожал плечами Валера.

— Уж получше, чем из Артема Тарасова, — усмехнулся Геннадий. — Да ты не бойсь, мы тебе с оформлением поможем. И помещение я уже подходящее присмотрел, оформим аренду — и вперед!

Валера задумчиво ткнул вилкой в хрусткие розоватые листья гурийской капусты. Он знал, что надо отказаться, но не мог придумать — как.

— Так рэкетеры же набегут, — сказал он наконец.



Геннадий рассмеялся:

— Рэкетеры? Да какой рэкетир сунется, когда у тебя в учредителях — майор КГБ? Это сейчас ты лакомый кусочек: подстерегут у двери, грохнут по башке, отберут ключ и вынесут из квартиры все твои видики, телевизоры и кассеты. Ты же сейчас — никто и звать никак. А будем вместе работать — другое дело.

Геннадий улыбался, за окном в обнимку прошли девушка в сетчатых колготках и парень в вареных джинсах, молодая весенняя зелень переливалась в лучах солнца, купола притягивали глаз золотым блеском, словно обещающая богатство и удачу.

Валера по-прежнему молчал, и тогда Геннадий засмеялся: *да ладно, я тебя не заставляю, ты подумай, это только предложение!* — и стал разливать остатки вина, мурлыча себе под нос. Мурлыкал он старую мелодию Нино Рота — когда-то Андрей, услышав ее на кассете, сказал отцу, что в школе пацаны поют на этот мотив «зачем Герасим утопил свою Муму, я не пойму, я не пойму...», но Валера всегда знал, откуда она, а недавно кто-то из учеников принес и сам фильм.

Валера посмотрел на Геннадия, и тот, встретив его взгляд, запел громче и отчетливей — *тра-та-та-та, тра-та-та-та!* — и улыбнулся.

«Это только предложение», — повторил про себя Валера.

Ну да, предложение, от которого нельзя отказаться.

Он тоже улыбнулся в ответ и поднял бокал:

— Ну, Гена, за сотрудничество! За наш общий бизнес!

Аня ошиблась в расчетах: они уехали только через год, в сентябре 1993-го. Возвращаясь из Шереметьева в душном, пахнущем потом и усталостью автобусе, Андрей пытался представить, как где-то высоко в бездушно-синем небе летит самолет, уносящий прочь его любовь. Он почти физически ощущал, как все сильнее натягивается невидимая нить. Оба знали — в какой-то момент Аня будет слишком далеко, и эта нить лопнет. Зажатый между пассажирами, Андрей прислушивался и ждал этого прощального звука, но, видать, их любовь была слишком крепка. Андрей вышел у «Речного вокзала», спустился в метро, доехал до «Коломенской» и поднялся в свою опустевшую квартиру. Обхватив голову руками, сел на диван, где еще вчера они с Аней любили друг друга.

Сегодня утром Андрей сказал ей:

— Помнишь про рассказ Уэллса, где человек все искал свою дверь в райский сад? Быть с тобой — это как быть в том саду.

— Я твоя как бы дверь в стене. Я твой как бы райский сад, — очень серьезно ответила Аня. — Мы как бы расстаемся как бы навсегда.

Сейчас, обхватив голову руками, Андрей сидел неподвижно, пока не услышал слабый *пинг!*, вовсе не похожий на звук в постановках «Вишневого сада».

Андрей посмотрел на часы: Аня летела где-то далеко над Европой. Я уверен, подумал Андрей, она тоже слышала, тоже почувствовала.

Ему казалось, это очень важно: последнее, что они могли разделить друг с другом, — момент, когда лопнула соединяющая их нить.

Андрей прислушался. Секундомер смолк, звенящая дрожь исчезла. Внутри было пусто и гулко. Он разделся, залез в кровать и заснул.

Пробудился он только следующим вечером. Подойдя к столу, включил компьютер. До сдачи перевода очередной книги оставалось меньше месяца — если он хочет успеть, надо спешить. К тому же работа, подумал он, — единственное, что может заполнить внутреннюю пустоту.

В следующие три недели Андрей выходил из дома только дважды — пополнить запас пищи в морозильной камере, — а телевизор не включал вовсе. Поэтому он не заметил короткой гражданской войны, предчувствием которой была наполнена та зима, когда они с Аней сближались осторожно и неторопливо, еще не зная, что их любви в этом городе отмерено всего два года.

\* \* \*

Новая секретарша Лика была похожа на лисичку — правда, не рыженькую, а белую, видимо, полярную снежную лису: пышный хвост из светлых густых волос, остренький носик, игривая улыбка. Простучав каблучками, она подошла и тихо сказала:

— Валерий Владимирович, к вам посетитель. Говорит, что он ваш сын, зовут Андрей.

Она улыбнулась, как бы желая сказать «я понимаю, у вас много детей, вы всех не помните по именам».

— Да, пусть заходит, я его жду, — сказал Валера.

Лика, чуть покачивая бедрами, направилась к дверям. «Почему они все считают, что секретар-

ша должна вести себя как шлюха?» — подумал Валера. Шлюх и без того полно, зачем деловому человеку еще одна, на рабочем месте? Может, организовать обучающий семинар для девушек, которые хотят стать секретаршами? Назовем «Интим не предлагать» и дадим рекламу в «МК» и «СПИД-инфо»...

— Папа?

— Привет, привет. — Валера протянул руку через столешницу, потом сам рассмеялся возникшей неловкости и кивнул на кресла в гостевой зоне кабинета.

— Ты неплохо устроился, — сказал Андрей, усаживаясь.

— Да ты просто у меня здесь не был, — улыбнулся Валера. — Мы же уже год как переехали. Весь особняк, считай, наш. В подвале зал для тренировок, здесь кабинеты и комнаты отдыха, наверху сделаем зимний сад. Будем круглый год подпитываться органической энергией земли.

— Органической энергией, — скривился Андрей. — Слышал бы тебя дедушка!

Валера махнул рукой:

— Ну, Андрюш, не валяй дурака! Не в том смысле органической, разумеется! Посмотри лучше, какие мы визитки заказали. — И он протянул сыну плотный прямоугольник.

ООО «Валген» переезжало почти каждый год. Сначала — подвал в ветшающем доме где-то в арбатских или кропоткинских переулках, потом — бывшее здание райкома КПСС, оставшееся бесхозным после августа 1991 года, теперь — приватизированный особняк, скрытый густой зеленью от глаз праздных прохожих. Этими делами занимался, ко-

нечно, Геннадий, и он же получал в банках льготные рублевые кредиты, чудесным образом превращавшиеся в защищенные от инфляции доллары. Валера не вникал, они сразу так договорились: он занимается привлечением новых клиентов, разработкой обучающих программ и набором тренеров, а Гена — финансами и безопасностью.

Впрочем, в последнее время Гена стал претендовать на общее стратегическое руководство Центром духовного развития. На днях он два часа убеждал Валеру, что необходимо идти в регионы, создавать какой-то Межрегиональный центр. Сколько Валера ни повторял, что для такого расширения у него нет и еще долго не будет обученных тренеров, Гена твердил, что не бывает бизнеса без экспансии и надо либо расти, либо сдохнуть.

В ответ Валера только пожимал плечами, а потом, устав спорить, сказал, что налагает вето на идею региональной экспансии. Гена вздохнул и отстал, но Валера знал, что так легко от него не отвяжутся.

— Скажи лучше, как твои дела, — говорит Валера сыну.

— Нормально, — отвечает Андрей, вертя в руках отцовскую визитку, — без изменений.

— Денег не подкинуть?

— Нет, пап. — Андрей качает головой. — Мне хватает.

— Ну, как хочешь...

В последние годы Валера замечал, что старые знакомые внезапно поделились на тех, кто хотел от него денег, и тех, кому хотел дать денег он. Эти два класса людей, казалось, никогда не пересекались.

Впервые он это понял, когда Буровский рассказал, что в их НИИ не выплачивают зарплату последние три месяца. «Так я тебе дам денег!» — воскликнул Валера, но Буровский отстранился, словно увидел паука или еще какое неопасное, но противное насекомое. Нет, сказал он, я как-нибудь сам...

Валера вспоминал этот жест, когда возвращался тем вечером из Чертаново, — пришлось поехать вместе с Буровским, один бы тот поперся на метро, как Валера ему ни объяснял, что шофер у него работает круглосуточно, — так они договорились. Откинувшись на кожаное сиденье трехлетнего — то есть почти нового — «мерседеса», Валера с сожалением думал, что Буровский, как и многие друзья, остался в прошлом — в уютном и ненавистном советском прошлом, где не надо было думать о деньгах и можно было целиком посвятить себя ароматическим соединениям, или эзотерике, или выращиванию кабачков на даче. Я-то всегда полагался только на себя, думал Валера, глядя в бритый затылок своего шофера (кстати, бывшего «афганца» и мастера спорта по дзюдо), вот потому-то мне и легко сейчас. А Буровский... жалко его, но чем ему поможет? Тот, кто не хочет быть спасен, не спасется.

С тех пор они почти не виделись с Буровским, зато в память о старых временах самиздата Валера уговорил Наташу возглавить созданную при «Валгене» библиотеку эзотерической литературы. За прошедшие годы Наташины щеки потеряли свой розовый цвет, пожелтели и обвисли, но краснела она все так же горячо и стремительно. Валера обнаружил это, однажды встретив Наташу у себя в приемной.

— А я тебя здесь жду, — сказала она. — Можно?

Секретарша Настя — предшественница Лики — принесла травяной чай, Наташа опять вспыхнула и сказала, что на той неделе из Сибири приезжает Витя и очень хочет повидаться с Валерой: все эти годы он учился у сибирских шаманов, теперь собирается открыть в Москве школу шаманизма и думает, что Валере должно быть интересно.

Валера грустно улыбнулся:

— Этот человек когда-то объяснял, что идущий по пути праведника должен отказаться от всего, а теперь придет ко мне и будет просить у меня денег. Знаешь, я, наверное, не хочу это видеть. Это разрушит его образ.

Но и без Вити в просторном Валерином кабинете побывало множество малознакомых людей из его прошлой жизни, которые мнили себя художниками, философами или писателями и считали, что Валера своими деньгами должен их поддержать... или хотя бы организовать выставку, оплатить тираж нового романа, издание интеллектуального журнала. Через полгода таких визитов Валера с удивлением обнаружил, что внутри у него окрепло то самое неэмоциональное спокойствие, в котором нет ни гнева, ни привязанностей и о котором он столько читал. Он улыбался посетителям, предлагал чаю или коньяку, кивал, выслушивал безумную похвалу и столь же безумные планы и, не переставая улыбаться, говорил, что ничем не может помочь. Когда дверь за гостями закрывалась — а чаще раздраженно захлопывалась, — Валера о них забывал. Эти люди были как облака, плывущие по небу, и как облака не могут скрыть от истинно мудрого бес-

крайнее небо, так и эти люди не могли помешать Валере созерцать переменчивое течение времени, бурный поток исторических событий.

— Мы стоим на пороге перемен, — объясняет он сыну, — все то, что ты наблюдаешь в политике или в экономике, — это только внешнее проявление сложных внутренних процессов, носящих, по сути, духовный характер. Главное — видеть силовые линии, по которым движется этот мир. И тогда у тебя открывается возможность даже не влиять на это движение — я не так самонадеян, — не влиять, но влиться в этот поток... если ты понимаешь, что я имею в виду.

Андрей кивает. Он сидит, глубоко утонув в кресле, перекинув ногу на ногу. В дырке кроссовки виднеется большой палец, но Валера этого не замечает.

— Новые возможности, — продолжает он, — не для меня — для всех нас. То, что мы делаем... то Учение, которое мы несем людям, оно ведь универсально, оно едино для России, Америки, Индии. На следующей неделе я лечу в Калифорнию, у меня там встреча с одним из учеников Кастанеды. Мы будем делать совместные программы, принесем Тенсегрители в Россию. В Англии меня обещали свести с теми, кто получил передачу напрямую от Ордена Золотой Зари, и мы...

Услышав впервые про Золотую Зарю, Валера сразу вспомнил Аллу: когда-то она сказала ему, что ее бурятское имя Алтантуя означает Золотая Заря. Валера увидел в этом знак и уже несколько лет искал наследников Кроули, Мейчена и Йейтса.

Алла позвонила три дня назад — впервые за семнадцать лет, впервые с тех пор, как уехала из Москвы. Поэтому Валера и позвал Андрея.



— Ну ладно, хватит обо мне, — прерывает он себя. — Я вот что хотел сказать. На той неделе из Казахстана приезжает твой двоюродный брат Илья, сын дяди Бориса. Его мама просила помочь парню, а я, как назло, улетаю в Штаты. Хотел тебя попросить, можно? Пусть он у тебя поживет недельку, покажешь ему Москву, ладно?

Андрей безразлично пожимает плечами.

— Можно, — говорит он. — Я как раз закончу перевод к понедельнику... все равно хотел передохнуть.

— Вот и славно. — И Валера добавляет с улыбкой: — Только денег возьми, хорошо? Чтобы, ну, вы нормально отдохнули.

Валера подходит к столу и вытаскивает из ящика пачку долларов. Отражение глядит на него из полированной глубины, прищурившись, как крокодил Гена. Деньги дают свободу, вспоминает Валера слова своего бывшего куратора, нынешнего партнера. Он тогда ответил *моя свобода всегда со мной*, но с тех пор нет-нет да задумывался... что ни говори, с деньгами-то свободы побольше.

Андрей сует деньги в карман замызганной куртки.

— Этот Илья... он мне позвонит? Или как?

— Да, конечно, — говорит Валера, — я дам ему телефон и адрес. Когда будешь уходить, попроси Лику зайти ко мне... ну, мою секретаршу...

Андрей кивает. Ему девушка в предбаннике все не показалась похожей на лисичку: в его глазах длинные ноги придавали ей сходства с цаплей, хищным и цепким взглядом выискивающей в болоте лягушек, обреченных на заклятие.

Выходя из кабинета, Андрей замечает, что все еще держит в руках визитку. Сначала хочет выкинуть, но потом все-таки засовывает в задний карман джинсов. Выкину на улице, думает он.

Лишь после ухода Андрея Валера понимает, что не давало ему покоя уже несколько дней: ни Алла, ни папа никогда не говорили, что у дяди Бориса был сын.

Илья звонить не стал, просто появился рано утром, разбудив Андрея визгливой трелью домофона. Пока он поднимался на лифте, Андрей успел плеснуть себе в лицо водой и влезть в джинсы. Так и открыл дверь — голый по пояс, небритый и сонный.

Илья оказался невысоким худым пареньком восточного вида, чем-то похожим на Виктора Цоя и Брюса Ли. Черная кожаная куртка, потертые темно-синие джинсы, большая сумка *Adidas* через плечо.

— В ванную можно? — спросил он, расшнуровывая тяжелые ботинки.

— Конечно, — ответил Андрей, — я пока чего-нибудь поесть соображу.

— Поесть — это хорошо, — сказал Илья. — Я постараюсь недолго.

«Недолго» превратилось минут в сорок. С тоской поглядев на остывшую глазунью, Андрей стукнул в дверь ванной:

— Ты скоро?

— Не знаю, — ответил Илья. — Да заходи, чего ты херней страдаешь?

Андрей передернул плечами и вошел. В ванной было влажно и туманно, Андрей не сразу уловил какой-то незнакомый резковатый запах.

Илья полулежал в ванне, высунувшись из воды по плечи. В правой руке он держал папиросу, во влажном воздухе дымок не струился, а едва стлался над водой.

— Хочешь? — спросил Илья.

— У меня свои, — ответил Андрей. — И, кстати, Илья, у меня не курят в ванной.

Илья хихикнул и загасил окурок.

— Прости, я не знал. И вообще, — добавил он, — можешь звать меня Ильяс.

— Хорошо, — Андрей пожал плечами.

— По-арабски это значит «любимец Аллаха».

— Ты мусульманин? — поколебавшись, спросил Андрей.

— Нет, ты что? Просто в Казахстане вырос. — Илья засмеялся. — А так я, конечно, и мусульманин, и буддист, и атеист, и даже христианин немножко.

— Понятно, — кивнул Андрей. — Я хотел сказать, что пока ты здесь плаваешь, яичница уже совсем остыла.

— О, тогда надо спешить! — И Илья еще глубже погрузился в ванну, так, что снаружи торчала только черная макушка. Потом резко вынырнул, фыркнул и, расплескивая воду, вылез на коврик.

Андрей мог хорошо его рассмотреть. Илья был худощав и мускулист, на теле, если не считать лобка, ни одного волоса, и двигался он с небрежной точностью — перекинул ногу через бортик, оперся на носок, встряхнулся, затем вылез целиком. Движения его были быстры, и вместе с тем он никуда не спешил. Он постоял перед Андреем, удивленным непринужденностью этой чужой наготы, а потом легким, кошачьим движением потянулся к запотевше-

му зеркалу и тыльной стороной ладони стер с него матовую вуаль. Лицо, осененное мелкими каплями, на мгновение проступило из глубины амальгамы, но почти сразу же утратило резкость черт — влага снова осаживалась на поверхности, затеняя изображение.

Андрей глядел в зеркало через плечо Ильи, и лицо гостя напоминало старую фреску — смутную, не до конца восстановленную, исчезающую на глазах. Этот тающий недолговечный образ — широкие скулы, прямые мокрые волосы, хищные ноздри, узкие глаза — был исполнен печальной красоты.

— Полотенца не найдется? — спросил Илья, обернувшись.

Андрей кинул свое — другого все равно не было. Илья сначала вытер голову и только потом, обмотав полотенце вокруг бедер, прошлепал, оставляя лужицы воды, на кухню.

— Завтрак придется повторить, — сказал он. — Я зверски голоден, а твою яичницу я проплавал.

И он улыбнулся — эта же улыбка много лет назад заморозила Женю. Андрей улыбнулся в ответ и полез в холодильник за яйцами.

После завтрака выяснилось, что показывать Москву Илье не нужно.

— Слушай, — сказал он, наливая себе вторую чашку зеленого чая, — мне тут надо с несколькими людьми встретиться... можно они сюда приедут?

Андрей задумался. Аня уехала уже девять месяцев назад, и с тех пор он выходил из дома только по работе либо чтобы купить еду или десяток новых видеофильмов. В глубине души Андрей гордился тем, как живет: в суетном, суматошном мире он выбрал

внутренний покой. Пока одноклассники и бывшие друзья пытались заработать денег или хотя бы закончить институт, он сидел на обочине столбовой дороги, безо всякого интереса наблюдая, как мимо проходят караваны «челноков», груженные клетчатými сумками, как перебегают, тревожно оглядываясь, мелкие группки лихих, коротко стриженных парней, как ковыляют старики и старухи, потерявшие дом и пропитание. Вместе со всеми шли дедушка Игорь и папа Валера, они тащили на себе иномарки с шоферами, большие кабинеты с селектором и секретаршами, похожими на хищных цапель... приватизированный завод, когда-то построенный советскими эками... Центр духовного развития, созданный из ничего бывшим офицером КГБ... оба они гордились, что подняли такой большой вес. Но кто бы ни были эти люди, все они пытались совпасть со временем, выжить в нем, преодолеть нарастающий хаос, а на самом деле они-то и были этим временем и этим хаосом. Чтобы не походить на них, Андрей ограничил круг своих интересов вышедшими в перестройку поэтическими сборниками, американскими романами двадцатилетней давности и старыми фильмами, о которых когда-то мог только читать в советских газетах. Даже Аню он постарался забыть, приучив мысли не ходить теми тропами, которые могли привести к воспоминаниям о ней; лишь однажды, открыв случайно Бродского на старом стихотворении «Пророчество», он вздрогнул, прочитав: *И если мы произведем дитя, то назовем Андреем или Анной. Чтоб, к сморщенному личику привит, не позабыт был русский алфавит.* Он захлопнул книжку и с тех пор старался по возможности читать только англоязычную литературу.

За девять месяцев Андрей выключил себя из постсоветской жизни, как когда-то Валера исключил себя из жизни советской. Но, в отличие от отца, Андрей жил одиноко: он давно уже не ходил в гости и никто не приходил к нему, а все контакты сводились к звонкам нескольким издателям, платившим ему за переводы.

Андрей смотрел, как его гость подносит к губам старую, еще дедовскую чашку. Его жесты были торжественны и небрежны, и в каждом движении чувствовалась дикая врожденная грация.

— Придут сюда? — переспросил Андрей. — Ну почему нет? Пусть приходят.

— Я позвоню тогда, хорошо?

Андрей кивнул и стал мыть посуду. Когда через десять минут он вошел в комнату, голый по пояс Илья лежал на ковре и лениво диктовал адрес. Затем, буркнув «пока!», набрал следующий номер:

— Привет, это я, Илья! Я в Москве, надо бы встретиться. — Он замолчал, слушая невидимого собеседника, потом со смешком сказал: *конечно, а как же!* — и снова принялся диктовать адрес.

Потом опять «пока!», новый номер, *привет, это я, Илья, я в Москве...* после десятого разговора Андрей понял, что и сам теперь сможет звать брата только Ильясом.

Закончив со звонками, Ильяс лег на спину и задумчиво уставился в потолок.

— Прости, а полиэтиленовая пленка у тебя есть? — спросил он. — Или фольга? Ну, как для готовки? Но пленка лучше.

— Фольга вроде есть, — удивился Андрей. — А за чем тебе?

Ильяс встал и, потягиваясь, вышел в прихожую. Через полминуты вернулся, неся на плече сумку *Adidas*, из которой выкинул на ковер пару мятых рубашек и большой сверток, туго затянутый скотчем.

— Зачем фольга? — переспросил он. — Товар паковать будем, вот зачем.

Когда спустя много лет Андрей расскажет эту историю Заре, она ужаснется:

— И ты согласился, чтоб у тебя дома устроили пункт продажи наркотиков?

Да, в 2006 году Андрей сам будет удивляться: как это он согласился? Почему не испугался ментов? Или, наоборот, конкурирующей наркомафии? Он же видел кучу фильмов и знал, что бывает, когда новичок лезет торговать на чужой территории!

— Не знаю, — ответит он, — мне как-то даже не пришло в голову, что это опасно. Закон? Да в то время вообще никто не задумывался, что у нас по закону, а что нет! Ты знаешь, что статью за продажу валюты отменили лет через пять после того, как доллары начали покупать и продавать на каждом углу? Да, и я тоже, конечно. А как бы я иначе жил, с такой инфляцией? Получил рубли — купил баксы. Пошел в магазин через два дня — продал баксы. Рублей сразу стало больше.

Зара будет слушать недоверчиво: в начале девяностых она была слишком маленькой, чтобы беспокоиться о деньгах.

— То есть вот реально: в ваше время нормальный человек мог так взять и устроить у себя дома пункт продажи травы? — спросит она еще раз.

— Ну, мне показалось, что это нормально, — отвечает Андрей. — Подумай сама: приехал брат, привез траву, надо помочь ему продать. А что я мог сделать? Выгнать его на улицу? Велеть спустить все в унитаз? Так унитаз бы забился, знаешь, сколько там было?

На самом деле ни Андрей, ни сам Ильяс не знали *сколько*. Весов не было, отмеряли стаканами или спичечными коробками. Проданную траву Ильяс ловко заворачивал в фольгу и вручал покупателю. Покупатели, правда, не спешили уйти: попросив беломорину, они ложились тут же на ковер и проверяли качество товара.

До этого Андрей курил траву только однажды — в перерыве между двумя фильмами Гринуэя в кинотеатре «Мир» какой-то шапочный знакомый дал затянуться пару раз. В результате второй фильм казался заметно лучше первого, но Андрей посчитал это его, фильма, внутренним свойством и, когда речь заходила о наркотиках, гордо говорил, что один раз пробовал и его не встало. Поэтому и сейчас он раз за разом отклоняет предложенный косяк, но на пятый день, когда рыжий длинноволосый хиппи в очках под Джона Леннона протягивает ему беломорину, Андрей все-таки решает, что проще из вежливости затянуться хотя бы разок, тем более что и трава его не берет... ну а где один разок, там и второй, и через полчаса Андрей уже сидит, сосредоточенно рассматривая узор ковра, и мысли переплетаются в голове, как нити, из которых этот ковер соткан.

Андрей думает, что ковер живой, линии узора движутся, сливаются, разбегаются снова, дышат. Андрей думает, что закодировали в этом рисунке



неведомые ткачи, что хотели они передать ему, Андрею. На самом деле ковер у Андрея фабричной выделки, он об этом даже знает, но сейчас это неважно, потому что он воображает этих ткачей, иногда они напоминают Мойр, а иногда – Ильяса. Андрей думает про Ильяса, который похож на Виктора Цоя («Цой жив!») и на Брюса Ли, который, конечно, тоже не умер. Андрей думает о том, что смерти нет.

Он думает об Ане. Впервые за несколько месяцев. На этом ковре они последний раз занимались любовью, не зная о неизбежной разлуке. Этот ковер помнит Аню, помнит их счастье. С внезапной ясностью Андрей понимает, что где-то далеко Аня тоже вспоминает его – в этот самый миг. Он хочет посчитать, что сейчас в Америке, день или ночь, но не может справиться с цифрами. Прибавить или вычесть? Впрочем, какая разница: времени-то нет! Папа всегда говорил, что время иллюзорно, как и пространство, и все, с чем мы имеем дело. Объяснял, что глубинная медитация раскрывает эту истину, а оказывается, не нужно никакой медитации, нужно всего-навсего затянуться несколько раз, и ты понимаешь то, о чем тебе говорили все детство... каждый из нас един с космосом... надо только уловить движение невидимых энергетических потоков... очистить каналы...

Андрей пытается сесть в лотос и выпрямить спину, как учил Валера. Он закрывает глаза, и смех Ильяса взрывается в темноте яркими всполохами света.

Откуда-то издали доносится голос рыжего: *ну и ганджа у тебя, брат!* – а потом переливчатая трель, будто играют на чудесных неведомых музыкальных инструментах... на каких-то индийских...

всплывает слово «ситар», хотя нет... ситар — это что-то струнное, а тут, скорее, колокольчики... звоночки... звонки — и тут Андрей понимает, что звонят в дверь.

— О, как тебя вштырило, — говорит Ильяс. — Ну сиди, я открою тогда.

Андрей слышит шорох шагов в коридоре, щелканье замка, скрип петель, и каждый звук доставляет ему наслаждение, и, открыв глаза, он даже не удивляется, что комната наполнилась людьми, одетыми в какую-то прикольную маскарадную форму, и лишь когда ему заламывают руки за спину, понимает: кажется, что-то пошло не так.

Окончательно Андрея отпустило только через час, уже в отделении. Через решетку он смотрел, как менты заполняют протокол и обсуждают, как лучше оформлять банду наркоторговцев. В обезьяннике были только они трое: Ильяс сидел, полуприкрыв глаза, флегматичный и невозмутимый, как всегда, а рыжеволосый хиппи раскачивался из стороны в сторону и бормотал: *вот влипли так влипли, спаси нас Джа, что будет-то, ой, что будет, только бы папе не позвонили*, и в это мгновение Андрей понял, что надо делать. Он сунул руку в задний карман — отцовская визитка была на месте. Улыбаясь, он постучал по прутьям.

— Чего тебе? — спросил мент.

— Я имею право на звонок, — сказал Андрей. — Думаю, мы сможем договориться, но сначала мне надо позвонить.

— Договориться? — хмыкнул мент. — Дорого тебе будет стоять договориться. Ну, попробуй, если хочешь.

Он отпер решетку и подвел Андрея к телефону. Тот набрал номер Центра духовного развития.

— Лика, милая, будь добра, найди мне Гену Седых, — сказал он, удивляясь собственной наглости. — Что значит «кто»? Это Андрей Дымов, ты меня что, не узнала?

Через три часа Андрей, Ильяс и рыжий хиппи стояли на крыльце отделения. На плече у Ильяса болталась все та же сумка *Adidas* — задержанных не только отпустили, но и, порвав протоколы, вернули все изъятое на квартире, включая деньги и остатки травы.

— Я чего-то вообще не понял, что это было, — поразился рыжий.

— Расслабься, Феликс, — похлопал его по плечу Ильяс. — Просто скажи спасибо своему Джа и друзьям Андрея.

— Это не мои друзья, — буркнул Андрей.

— Ну, раз помогли, значит, друзья, — отчеканил Ильяс и, оглядевшись, спросил: — Где здесь тачку поймать? Неохота на метро тащиться.

Почти вся трава была уже распродана — пару стаканов, которые вернули менты, Ильяс решил оставить, сказав «нам же тоже надо что-то курить!», — и потому следующие две недели слились в памяти Андрея в одну галлюцинаторную поездку, проносащуюся сквозь редкие ночные огни... из сквота — на квартиру, из квартиры — в клуб, из клуба — в ночной бар, оттуда — снова в сквот.

Оказалось, за пять дней Ильяс перезнакомился с половиной Москвы, запомнил имена, адреса и даты вечеринок. Они переезжали с места на ме-

сто, и всюду им были рады, наливали, предлагали дунуть (от «дунуть» Андрей наотрез отказывался), познакомили с новыми людьми, которые почему-то не побывали у них дома в те пять дней; звали на новые и новые вечеринки. Все это совсем рядом, изумлялся Андрей, а я чуть было не пропустил!

Новые знакомые, как и он, не хотели ни зарабатывать, ни учиться. Они тоже сидели на обочине, наблюдая течение жизни, но, в отличие от Андрея, не отделяли себя от хаоса — напротив, радостно впускали хаос в свою жизнь, наполняли им легкие, открывали перед ним двери сквотов и квартир, приветствовали как дорогого гостя. Они так и говорили: *главное — видеть силовые линии, тогда ты сможешь плыть без всяких усилий, плыть по течению*, и, глядя из окна случайной, пойманной в ночи машины на *силовые линии* московских огней, Андрей *плыл по течению* — без всяких усилий, без напряжения.

Так прошло две недели, а затем Ильяс засобирался домой. В последнюю ночь они устроили огромную вечеринку, позвав всех, с кем успели познакомиться. Кто-то принес вина, кто-то — травы и таблеток, в колонках играл регги, было накурено и весело. Андрей лежал на ковре и смотрел, как две девушки, одна худая, а другая пухленькая, танцуют вокруг Ильяса, невозмутимо сидевшего на стуле. Рыжий Феликс подсел к Андрею:

— Ты читал Кастанеду?

— Нет.

— Это великая книга! Я тебе сейчас все расскажу...

Феликс начал рассказывать — дон Хуан, пейотль, места силы, два пальца ниже пупка, и чем дальше

он говорил, тем отчетливее Андрей понимал, что уже слышал это и, кажется, не один раз. И ведь точно: он был в восьмом классе, должен был уехать на выходные к бабушке Жене, но она внезапно заболела, и он остался дома. Папа сказал, что вечером придут ученики и Андрей может посидеть с ними, только тихо, и Андрей сидел тихо и слушал, а папа рассказывал именно это: дон Хуан, пейотль, места силы, два пальца ниже пупка... На следующий день Андрей задал папе вопросы, которые стеснялся задавать при других взрослых, и папа объяснил ему еще раз, подробней и понятней. Так что да, Андрей не читал Кастанеду, но знал о нем задолго до первого русского перевода.

— Очень круто! — сказал он Феликсу, а сам в который раз за последние дни задумался, что же скажет папа, когда вернется из Штатов.

Валера, впрочем, так и не расскажет Андрею, чем ему придется расплатиться с партнером за освобождение сына и его друзей, но уже через три месяца будет объявлено, что Центр духовного развития запускает региональную программу и открывает отделения во всех городах-миллионниках.

Сейчас Андрей засыпает прямо на ковре, а утром, когда просыпается, в квартире уже только он и Ильяс, который грохочет посудой на кухне.

— Сегодня моя очередь делать завтрак, — говорит он. — Последний наш с тобой завтрак.

Андрей смотрит, как Ильяс сбивает в миске яйца и молоко, и пытается вспомнить что-то важное, о чем он догадался вчерашней ночью. Ах да, Кастанеда...

— Ты знаешь, — произносит он, — я вдруг понял, что эти люди — ну, они ведь только повторяют какие-то вещи, которые мой папа говорил мне лет десять назад. И про видеть силовые линии, и про плыть по течению, и про место силы и прочего Кастанеду.

— Да, — соглашается Ильяс, — твой папа крутой, мне мама говорила.

— Да не в этом дело, — возражает Андрей. — Просто я вдруг понял, что все, о чем они говорят, все, о чем мы говорили эти две недели, — такой набор общих мест, новых банальностей... примерно как то, что нам говорили в школе.

Ильяс выливает пузырящуюся солнечную смесь на раскаленную сковороду и оборачивается к Андрею:

— Ну и что? А ты хочешь найти что-то лучше банальностей?

Андрей молчит. Папа всегда утверждал, что нельзя ходить проторенными тропами, думает он, а ведь это и значит — избегать банальностей. Я забился в угол, потому что не хотел быть как все, а Ильяс выбил меня из моего угла. Мне показалось, что с его друзьями я заживу настоящей жизнью, жизнью по ту сторону волшебной двери, но и эта жизнь — всего лишь набор старых клише. Ильяс разбудил меня, и я не могу жить так, как жил последние полгода. Но и жить, как его друзья, тоже не могу, потому что папа так жил еще в советское время. И теперь я не знаю: что же мне делать?

Ильяс раскладывает омлет по тарелкам.

— Вот омлет — не банальность? — говорит он. — Но если он хорош, неважно, сколько таких омлетов было и сколько будет.

— Но я хочу найти что-то другое, — отвечает Андрей.

Ильяс смеется:

— Ну, если так, у меня для тебя есть совет. Не хочешь быть как твой отец — пойди и сделай то, чего он не делал никогда. Пойди и сделай сам. Не переводы, не пересказывай — сделай сам и свое. Не отгораживайся от хаоса и не сливайся с ним — постарайся структурировать хаос, постарайся построить из него что-то.

— Что я могу построить? — спрашивает Андрей.

— Понятия не имею, — отвечает Ильяс, — но вот тебе на прощание еще одна банальность: если правильно загадать желание, оно всегда сбывается.

Наверное, желание было загадано правильно: через неделю Андрею позвонила девушка, заметившая его в сквоте, где стоящий в углу телевизор показывал «Кабинет доктора Калигари». Андрей тут же соорудил вдохновенную лекцию о немецком экспрессионизме, включив туда Вине, Ланга и Мурнау, и так увлекся, что даже изобразил, как Макс Шрек в «Носферату» поднимается из трюма. Благодарная зрительница уже месяц работала в новом глянцевом журнале, претендовавшем на элитарность и интеллектуальность, и когда в последний момент перед версткой у них слетели три полосы рекламы, вспомнила об Андрее, решив, что такой человек сможет что-нибудь быстренько накропать на любую тему.

Через два месяца Андрей уже стоит в кабинете главного редактора. Немолодая полноватая брюнетка смотрит на него задумчиво.

— Дымов, Андрей Валерьевич? — спрашивает она. Юноша кивает.

Да, мальчик-то вырос, думает брюнетка. Интересно, узнал он меня? Впрочем, спрашивать не буду, вот еще не хватало.

Но все равно при взгляде на Андрея внутри разливается какое-то щемящее тепло, нежное, трепетное воспоминание юности...

— Ладно, — говорит она, — возьмем на испытательный. Приступайте завтра, Андрей.

Ух ты, думает Андрей, выходя из кабинета. Как просто! Я и не думал, что так легко можно сюда устроиться.

Уже на следующей неделе Андрей поймет, что ему нравится работать в редакции: беспечные и язвительные коллеги, свобода в отборе материала и выборе тем... и самое главное — строгий уют офиса, с фиксированными рабочими часами, недопустимостью прогулов и неизбежностью выходных. Это был островок порядка в бесконечном море хаоса. Желание Андрея в самом деле сбылось — он, как и загадал, пошел своей дорогой, рутинной скучной дорогой ежедневной офисной работы. Это была его дорога и его выбор.

Уж во всяком случае, говорил себе Андрей, кто-то, а папа никогда не ходил на службу каждый день. Хотя бы этим я на него не похож.

В журнале Андрей проработает почти год и все это время по несколько раз в неделю будет беседовать с главным редактором, но так и не узнает в ней ту отцовскую ученицу, что когда-то напугала его, во время прогулки бросившись к нему с поцелуями.



Потом он уйдет в другой журнал и вовсе забудет о ней, так и не узнав, что ученица отца помогла сбыться его желанию, как когда-то студенты Владимира Николаевича помогали найти свой путь сыну их бывшего профессора.

Андрей проработал в различных журналах до середины нулевых. Иногда он встречал людей, которые покупали у них с Ильясом траву, но сам никогда не курил, да и от остальных наркотиков держался подальше, и, в отличие от многих коллег-журналистов, не подсел ни на кислоту с грибами, ни на стимуляторы или на сменившие их ближе к концу десятилетия опиаты. Можно сказать, Андрей не заметил психоделической революции девяностых, но, возможно, именно поэтому быстро сделал неплохую карьеру.

Движимый каким-то самому ему непонятным чувством, он держался подальше от дизайнерских молодежных журналов типа «ОМа», «Матадора» и «Птюча», а когда десятилетие сменилось — и от «Афиши». Наверно, Андрея раздражали молодые, уверенные в себе журналисты, вечно перевозбужденные, модно одетые, знающие всех в городе. Они казались ему фальшивками, и потому он с радостью узнавания прочитал в пелевинском «Поколении “П”» саркастический портрет Саши Бло, который описывал изысканные кокаиновые оргии, живя в панельной пятиэтажке с тараканами и неисправной стиральной машиной.

А возможно, Андрею была неприятна аудитория этих журналов — люди, которые желали казаться новым андерграундом, но всего-навсего гнались за модой, создаваемой кем-то другим. Мо-

лодежным журналам Андрей предпочитал то, что должно было стать новым мейнстримом, — издания для людей, которые не пытаются быть радикальными, а остаются обычными потребителями, воспринимая книги, кино и одежду как еще один товар.

Именно этим людям — тем, кого позже назовут «офисным планктоном», — Андрей и рассказывал о том, что узнал из американских книжек и фильмов. Он никогда не сознался бы в этом коллегам, но в глубине души считал, что таким образом помогает своей стране выйти на новый путь, преодолеть наследие *совка*.

Только спустя много лет Андрей осознал, что в том году, когда Ильяс познакомил его со всей Москвой, он, Андрей, выбрал свое будущее. Выбрал это, а ведь мог выбрать совсем другое.

Он мог остаться в сквоте анархистов, через три года вступить в НБП, днями и ночами торчать в «Бункере» на Фрунзенской, пожимать руку Эдуарду Лимонову, декламировать «Да, смерть!», прорывать омовские кордоны на митингах, участвовать в акциях прямого действия, многократно задерживаться сотрудниками Центра «Э» и в конце концов погибнуть в 2009 году во время нападения хулиганов, которое так никогда и не будет расследовано.

Он мог затусоваться с молодыми художниками и рейверами, стать завсегдатаем «Птюча», красить волосы в кислотные цвета, ходить на оупенэйры, легко различать дип-хаус, дрим-хаус и прогрессив-хаус, начать с травы, кислоты и таблеток, а в конце десятилетия все-таки подсесть

на кокаин и встретить новый век в реабилитационной клинике в состоянии паранойяльного психоза... в двухтысячные ему оставалось бы только повторять «если вы помните девяностые, вы в них не жили», потому что сам он не помнил бы почти ничего.

Он мог выбрать соблазнительный путь больших денег, легких контрактов, растаможки и фальшивых благотворительных фондов, дешевых кредитов и рейдерских захватов, путь, который, возможно, через десять лет привел бы его в кресло чиновника, но, скорее всего, куда раньше закончился бы на кладбище.

В те дни, когда Ильяс был в Москве, все эти возможности открылись перед Андреем, но он выбрал другое.

В его выборе не было жажды подвига и страсти к саморазрушению, не было азарта и больших ставок, не было никакого геройства — если, конечно, не считать геройством самоуверенную убежденность в том, что рассказывать на глянцевых страницах о новых американских фильмах и французских модных показах — это и значит приближать так называемую «достойную жизнь»... разрушать так называемые «информационные барьеры»... способствовать превращению России в так называемый «цивилизованный мир».

Андрей мог погибнуть, но выбрал другой путь и потому останется жив. Он останется жив, но снова и снова будет спрашивать себя, верный ли выбор сделал тогда.

Ильяс больше не приезжал в Москву, не позвонил ни разу, даже не нашелся на сайте «Однокласс-

ники»; казахский брат давно уже представлялся Андрею странным видением, однажды промелькнувшим на краю его мира и бесследно исчезнувшим.

## 9

Первые годы после Володиной смерти Женя не видела его во сне. Наяву она почти без усилий могла представить себе Володю кем хотела — молодым фронтовиком, Оленькиным ухажером, преподавателем КуАИ, отцом маленького Валерика, уважаемым профессором в Грекополе и в Энске, почтенным патриархом в Москве. Она легко вызвала из небытия любой год из тех сорока без малого лет, что они прожили вместе. Но все эти воспоминания казались странно неподвижными, словно сквозь них просвечивал последний Володин облик — парализованное тело в ожидании неизбежной смерти. Возможно, поэтому Женя надеялась, что приди к ней Володя во сне, она снова обретет его таким, каким он был когда-то. Не то чтобы она верила в загробную жизнь, откуда он мог бы подать ей сигнал, нет, конечно, просто ей хотелось еще раз увидеть Володю без усилий, увидеть как бы случайно, встретить в ландшафтах сновидения, как ненароком встречаются на улице доброго знакомого. Но Володя никогда не снился ей, и только однажды, примерно через полгода после похорон, во сне она снова увидела, как зев Донского крематория поглощает гроб с Володиным телом. Там, внизу, бурлили языки подземного пламени, и в последний миг Жене показалось,

будто Володя пошевелился на своем последнем ложе, — она проснулась от собственного крика, ледящего и пронзительного, и до рассвета лежала в душной ночной тьме, слушая частые, сбивчивые удары сердца.

Жене приснились похороны — и, возможно, она сама хотела умереть. Дети, которых она растила, наконец выросли; сверстники, которых она любила, умерли — Женя уже не знала, что держит ее среди живых. Первый год после смерти Володи прошел в зыбком смутном тумане, где не различались ни весна, ни лето, где даже редкие появления Валеры (и еще реже — Андрея) не могли служить вехами, по которым одинокий путник — собственно Женя — сумел бы вспомнить пройденную дорогу. Казалось, с исчезновением Оли и Володи жизнь лишилась примет, превратилась в ровный серый поток, где один день неотличим от другого, а у всех встречных одно и то же лицо — ровное, лишенное черт. Женя и сама надеялась затеряться в этом монотонном пейзаже, в один прекрасный день совпасть с бесцветным ничто, раствориться в густой нескончаемой взвеси, но этого не случилось.

Неожиданно позвонила Люся, позабытая Олина одноклассница. У ее мужа умирал отец, и она, откуда-то услышав, что Женя три года ухаживала за парализованным Володей, хотела узнать, не даст ли та телефон сиделки. Телефона Женя не знала, но сказала, что, пока Люся не нашла сиделку, она может помочь с больным.

Сиделку так и не нашли, и Женя осталась с умирающим до конца, а после его смерти ее почти

сразу пригласили помочь с еще одним лежащим больным, а потом — с другим, с третьим. Жене было шестьдесят с небольшим, медицинское образование, она брала немного денег, потому что ей хватало и Валера все равно каждый месяц приносил ей несколько непривычных зеленовато-серых купюр — одну всегда можно поменять, если деньги заканчивались.

Да, конечно, на свою новую работу Женя ходила не из-за денег, просто ее жизнь рядом с умирающими стариками вновь приобрела смысл, утраченный со смертью Володи. Чтобы не было пролежней, она переворачивала тяжелые неподвижные тела; она вымывала нечистоты из складок сухой кожи, покрытой пигментными пятнами; она ставила капельницы в ломкие ускользящие вены; она слушала крики, исполненные боли, ярости, ужаса, и сама удивлялась своему спокойствию. Женина врачебная карьера описала круг: много лет она была первой, кто приветствовал новорожденных, — теперь стала последней, кто провожал умирающих.

Женя сидела, держа больных за руку, и говорила с ними. Иногда передавала им новости о родных, но чаще рассказывала про собственную жизнь, почти так же, как когда-то рассказывала Володе. Она не знала, слышат ли ее, но ей хотелось верить, что история чужой жизни поможет умирающим выстроить в глубине собственного безмолвия историю своей. Месяц за месяцем она перебирала встречи и расставания, вспоминала послевоенную Москву, далекие Куйбышев, Грекополь, Энск. Постепенно вся Женина жизнь приобрела законченность, словно была написана для кого-то и этот кто-

то прочитал ее вслух Жене, а той осталось лишь выучить слова наизусть и повторять раз за разом.

Так прошло шесть лет.

Евграф Ильич умер в декабре, незадолго до Нового года. Это был маленький усохший старик с длинной белой бородой, в стиле Льва Толстого. Жена запрещала ее стричь, и Женя раз в день расчесывала бороду старым, еще дореволюционным костяным гребнем. По вечерам, в сумерках, Евграф Ильич кричал страшно и протяжно, и Жене иногда казалось, что это где-то далеко гудит поезд, подавая сигналы бедствия, взывая о помощи. Никто не знал, как добраться в это «далеко», никто не знал, чем помочь, — и самой темной декабрьской ночью старик замолчал навсегда, так и не дав расшифровать потаенные сигналы.

Прошло девять дней, и сорок, и два месяца, а Жене никто не звонил. Она не знала, почему о ней забыли: может, слишком стара, а может, наконец-то появилось достаточно молодых профессиональных сиделок. Так она снова осталась одна, но в середине марта — влажного и мерзлого месяца, только случайно относимого к весне, — Женя наконец увидела во сне Володю.

Они снова были в куйбышевской квартире и, похоже, опять затевали ремонт, во всяком случае, вся мебель была отодвинута от стен, а старые обои свисали клочьями. Володя держал в руке рулон бумаги и смотрел на Женю с щемящей нежностью, которой ей никогда не доставалось, пока он был жив.

— Эх, Женечка, — сказал он, — как же мы одним рулоном обклеим все стены? Нам ведь не хватит

обоев... — И Володя улыбнулся той улыбкой, которую Женя так хорошо запомнила полвека назад.

— Мы уж как-нибудь, Володя, — ответила она и тут же проснулась, счастливая и удивленная этим счастьем.

Женя лежала в кровати, укутанная утренним сумраком, и улыбалась. Она не понимала, что мог значить этот сон, но не хотелось его разгадывать — просто приснился, вот и все.

Она почистила зубы и умылась, приготовила себе кофе и засунула куски хлеба в тостер (подарок Андрея на прошлый день рождения), и все это время улыбалась. Наконец тостер отсалютовал победным щелчком — и тут же зазвонил телефон. Женя бросила золотистые поджаристые гренки на тарелку и нажала кнопку на беспроводной трубке (подарок Валеры на позапрошлый Новый год).

Звонил Игорь — сколько лет, сколько зим! Кажется, не слышала его лет восемь, с тех пор как Андрей стал отмечать день рождения с друзьями, а не с бабушками и дедушками. Хотя, конечно, Игорь наверняка был на похоронах, но никаких воспоминаний об этом не осталось... конечно, не до него было... так, значит, здравствуй, здравствуй, чему обязана?

Оказывается, зовет в гости в пятницу вечером. Захотелось, говорит, вспомнить молодость.

— Я еще, Женька, тебе сюрприз приготовил! — смеется в трубку. — Так что обязательно приходи!

Ну, сюрприз так сюрприз, почему же не прийти? Только адрес напомни, и ровно к семи буду у тебя.



Хотела спросить напоследок, все ли живы, всё ли в семье хорошо, но удержалась, а то мало ли что. В пятницу приду — все узнаю.

Накрытый стол, крахмальная скатерть, хрустальные салатницы, даже приборы, кажется, из серебра. Игорь открывает бутылку бордо, наливает себе, Жене и Даше, поднимает бокал:

— Ну, за встречу!

Женя делает несколько глотков — терпкий, непривычный вкус. Кажется, всю жизнь прожила, а бордо пробую впервые. Что там еще осталось, из литературы? «Вдова Клико» из Пушкина? Анжуйское, как в «Трех мушкетерах»?

Разумеется, первая тема — Андрей: как-никак, общий внук.

— До сих пор не могу поверить, что мы с тобой породнились! — восклицает Игорь. — Ну, расскажи, давно видела? Заходит к тебе хоть иногда?

Если честно, очень иногда, но разве Женя будет позорить Андрейку? С другой стороны, и хвастаться неприлично, поэтому отвечает уклончиво, переводит разговор на новый гляцевый журнал, где Андрей стал главным редактором. Пока делают *пилотный номер* (Женя гордится, что знает такие слова), а вот осенью должны запуститься. Говорит, во всех киосках будет.

— Вряд ли, конечно, мы там что-нибудь пойдем, — замечает Даша.

За эти восемь лет она страшно располнела, думает Женя. Когда я в Москву приехала, была вполне ничего, примерно Олиной комплекции. Пухленькая, но хорошая. То, что называлось «аппетитная».

А теперь даже не на стуле сидит, а на кресле — да, мне кажется, что стул под ней мог бы и развалиться. Наверно, с обменом что-то, думает Женя, не может же человек просто так взять и разжиреть?

— Ну, это ты про себя говори, — замечает Игорь. — Я вот регулярно Андриюшины статьи читаю, и в общем и целом примерно понятно, о чем это.

— Он говорит, новый журнал будет для поколения сорокалетних, — поясняет Женя. — Не для нас, но и не для его сверстников.

Игорь кивает. В отличие от жены, он, скорее, похудел: кожа висит складками, морщины, как у древнего старика. Плохо это, когда люди так сильно худеют, думает Женя. Может, намекнуть ему, чтобы проверился? Меня-то никто не спрашивает, но я вот Андрею скажу, пусть он с дедом поговорит.

Выпивают еще по бокалу — за Андриюшу, за внука, потом Женя рассказывает про Валеру, как он много работает и мало бывает дома, то за границей на каком-нибудь конгрессе, то в России открывает филиал своего Центра или проводит показательные тренинги.

— Честно говоря, я так и не поняла, чем он занимается, — говорит Даша, обмахивая раскрасневшееся лицо сложенной вчетверо салфеткой. — Я думала сначала, что это такая йога, а послушала его однажды по телевизору — вообще запуталась.

Игорь пускается в длинные занудные объяснения, Женя кивает, хотя, если честно, сама не очень понимает, что там Валера делает в своем Центре. Дождавшись паузы, спрашивает:

— А как ваша Ира?

В ответ — неловкое молчание. Женя перекладывает из салатницы оливье и, не меняя тона, говорит:

— Как ты, Даша, все-таки прекрасно готовишь! Я вот даже по твоим рецептам никогда не могла так повторить!

Игорь смеется:

— Да это вообще из кулинарии! Тут у нас неподалеку супермаркет открылся, так там готовые салаты продают, оливье вот очень удачный.

— Ну, зато горячее я сама делаю. — Даша поднимается с кресла. — Пойду, кстати, посмотрю, как оно там.

Она уходит на кухню, и Игорь, нагнувшись к Жене, шепотом говорит:

— Не хотел при ней про Ирку, огорчается она очень, того гляди плакать начнет.

— А что с Ирочкой? — спрашивает Женя.

— А кто ее знает. — Игорь быстро подливает себе вина. — Видим мы ее редко, по телефону тоже... раз в две недели.

— Так, может, все и ничего?

— Какое там! Мужика нет, точнее, есть, но все время новые. Выглядит так, что краше в гроб кладут, как эти... анорексички... кожа да кости!

— Ну, это модно сейчас, — примирительно говорит Женя.

— Модно, тоже скажешь! — возражает Игорь. — Я вот в журнале у Андрея читал про... как его, «героиновый шик». Даже беспокоюсь — может, Ирка подседа на что-нибудь... наркотическое? С нее, дуры, станется!

— Нет, ну такого не может быть, — уверенно говорит Женя. — Ирочка — хорошая девочка, и вос-

питали вы ее нормально, а наркоманы – это же всякие...

Но тут звонят в дверь. Игорь поднимается, идет открывать.

– Кто это? – спрашивает Женя.

– Обещанный сюрприз. – Игорь даже пританцовывает от возбуждения. – Закрой глаза и считай до десяти.

Женя покорно выполняет. Раз, два... может, смухлевать? А, ладно!.. Восемь, девять, десять!

Перед ней – пожилой мужчина с бородкой клинышком, кудрявыми седыми волосами, за стеклами очков – внимательные серые глаза. Смотрит прямо на нее, словно что-то вспоминая, а потом произносит растерянно: *Женя?*.. – и тут она тоже узнает его, потому что голос-то, голос почти не изменился.

– Гриша, ты?

– Я, конечно, кто же еще!

Бежит к ней, едва не опрокидывает стол, Женя тоже вскакивает – мгновение, и они уже обнимаются. Гриша прижимает ее к себе что есть сил, да, точь-в-точь как сорок лет назад, разве что сил осталось поменьше.

Даша приносит свинину, запеченную в сыре; раскладывают по тарелкам, нахваливают (теперь уже – не кулинария, слава богу! Надо же было так слупить!). Гриша рассказывает, что приехал в командировку, а Игорь – что уже наездился, когда несколько лет назад приватизировал один небольшой завод в провинции. Теперь вот стал домоседом, Дашка не отпускает, говорит, я там по бабам пойду, хотя какие в нашем возрасте бабы?

Гриша не поддерживает тему, вместо этого рассказывает, как вчера ходил смотреть на строящийся храм Христа Спасителя:

— Вроде и правильно, что восстанавливают, и все равно — смотрю, а что-то не то. Нет такого чувства, как в по-настоящему намоленном месте.

Женя кивает. Ей приятно, что Гриша тоже православный и, похоже, не из этих, неофитов, которым лишь бы попышнее да побольше, а такой же, как она, с пониманием.

Она повторяет свой рассказ про Валеру, Гриша в ответ рассказывает про своих двоих, Игоря и Женю. Оба молодцы, крепко стоят на ногах. Игорь бизнесом занялся, а Женя — на том же заводе, где и Гриша. Были, конечно, задержки с выплатой зарплаты, но сейчас, слава богу, прекратились.

И пока Гриша говорит, Женя не спускает с него глаз, пытается представить: что было бы, если бы тогда Оля не предложила Володе поехать с Женей вместе в Грекополь? Уехали бы они вдвоем с Гришей, прожили бы всю жизнь, и сейчас это был бы ее любимый муж... ну, может, и не так уж любимый, мало ли что за сорок лет случится... но, по крайней мере, живой.

Увлеченная этими мыслями, Женя не заметила, как Игорь и Гриша стали обсуждать Ельцина и Березовского.

— Ты поверь мне, старик не при делах, там все Татьяна его решает, — говорит Игорь, а Даша перегибается через ручку кресла и шепчет Жене: *ох, мужики! Им только дай про политику!* — а Женя смотрит на Гришу и думает, что борода ему, конечно, идет, правильно он ее отрастил. Вид сразу такой солид-

ный, а ведь в институте был — охламон охламоном, даром что с красным дипломом закончил. И очки тоже идут, да и морщины вокруг глаз скрывают.

На самом деле он до сих пор красивый, и когда Женя это понимает, в груди ее разливается счастливое тепло, а к глазам подступают горькие слезы сожаления.

Они еще долго обсуждают отставку Черномырдина и забастовки шахтеров, болтают о всякой ерунде, затем Игорь выходит на кухню помочь Даше загрузить посудомойку — и Женя с Гришей остаются вдвоем.

Минуту они молчат, а потом Гриша трогает Женю за плечо:

— Я скучал по тебе.

— Я тоже, — отвечает Женя.

И ведь действительно — не часто, но скучала.

И тогда Гриша тянется к ней и целует, как много лет назад, и Женя отвечает на поцелуй, хотя Гришины губы вовсе не такие упругие, как ей запомнилось.

А ведь это единственный мужчина, с которым я целовалась, думает Женя. И сложись все иначе, был бы мой единственный мужчина, отец моих детей.

— Мы же могли быть вместе, — словно прочитав ее мысли, говорит Гриша, с трудом переводя дыхание.

— Но ты не захотел.

— Ты не захотела, — с легким раздражением. — Ты больше хотела быть вместе с Владимиром Николаевичем...

— Так я и была вместе с ним, — отвечает Женя, — до самой его смерти. И, знаешь, я ни о чем не жалею.

«В самом ли деле — ни о чем?» — думает Женя, и перед ее глазами свитком разворачивается вся ее жизнь, все то, что она шесть лет рассказывала умирающим старикам...

— Ни о чем? — переспрашивает Гриша.

— Да, ни о чем, — отвечает Женя уже твердо. — Помнишь, ты сказал, что это не моя семья, а их? Так вот, сейчас я осталась одна и точно могу тебе сказать: это была моя семья. Моя семья тоже. Я любила их, а они любили меня. Были, конечно, и сложности, но у кого их нет? Так что я ни о чем не жалею и никогда не жалела.

Гриша вздыхает:

— А я — жалел, много лет жалел. — И, помолчав, добавляет: — Пока не встретил Машу.

И тут он оживляется, лезет в карман пиджака за бумажником, достает оттуда фотографию:

— Вот, смотри, это мы с Машей, а это маленький Игорь, а вот это Женя, только что родился.

Женя смотрит на фото — старое, потертое, выцветшее. Молодая женщина прижимает к груди кулек, похожий на всех новорожденных сразу, мальчик лет пяти тянет ее за подол платья, а мужчина смотрит на них такими влюбленными глазами, что ни время, ни дефекты фотоэмульсии не сотрут эту любовь.

У Жени внезапно щиплет в носу. «Чего это я так расклеилась?» — думает она, но уже знает ответ. Она только что поняла: у нее нет ни одной фотографии, где она была бы снята вместе с Володей и Олей.

Женя задерживает дыхание, чтобы не расплакаться, и возвращает Грише фото.

— Красивая у тебя Маша, — говорит она чужим, деревянным голосом, старается улыбнуться, но не может.

За два месяца до этого, 15 января 1998 года, Геннадий Седых вышел из своей квартиры и, как всегда кивнув охраннику на площадке, подошел к окну. За спиной шумел мотор приближающегося лифта, а Геннадий уже который раз подбивал итоги прошедшего года. Итоги были хороши, и потому их приятно было подводить снова и снова. Межрегиональный центр, на открытии которого он стоял, отлично работал. Международный отдел Центра духовного развития развернулся во всех основных странах русской диаспоры — Германия, Израиль, США, в ближайших планах — Франция и Великобритания. Активы перерегистрированы на нужных людей, документы оформлены так, что комар носа не подточит. Все идет как надо, даже лучше.

Подъехал лифт, охранник заглянул, проверил кабину. Геннадий вошел следом. Все хорошо, продолжал думать он, пока лифт нес его вниз, на подземную парковку. Все хорошо, разве что Валера немного беспокоит. Слишком всерьез воспринимает эзотерическую часть их работы. А зря, в таких делах, как и в любых других, главное — маркетинг и финансы, а вовсе не духовные поиски клиентов. Духовные поиски, усмехнулся Геннадий, — это такое дело, как проверишь, хорошо они идут или плохо?

Дверь лифта открывается, охранник выглядывает — все чисто, можно выходить.



Как проверишь, да. Вот на прошлой встрече Валера целый час рассказывал, что ждет нас после смерти, как к этому подготовиться и как можно достичь спасения сразу после гибели физического тела. Тибетская книга мертвых, Египетская книга мертвых, еще какая-то книга мертвых... Геннадий чуть не сказал ему, что это гениальная идея: продавать продукт, на который покупатель не сможет подать рекламу. Кто там знает, что после смерти случится, верно? Хорошо, что удержался, Валера таких шуток не понимает.

Охранник включает «мерседес» с брелка, открывает дверцу, заглядывает в салон, машет рукой — мол, все в порядке, — и в этот момент раздается щелчок, и взрыв разносит в клочья машину и охранника, а у Геннадия Седых есть ровно одна секунда порадоваться, что он стоит достаточно далеко, а может, даже меньше одной секунды, потому что отброшенный взрывом обломок рессоры насквозь пробивает ему грудную клетку, и вот уже бывший офицер КГБ СССР, один из создателей ООО «Валген», российский коммерсант и международный бизнесмен, а сейчас просто Геннадий Николаевич Седых, пятидесяти восьми лет, корчится на бетонном полу гаража, кровь толчками покидает тело, и он едва ли успевает пожалеть, что так невнимательно слушал Валерины объяснения про посмертные мытарства, ничего он не помнит, никак не сможет воспользоваться верным рецептом... да ничего он не успевает: багровая тьма поглощает его без остатка.

В это самое время в аэропорту Хьюстона объявляют посадку на рейс до Сан-Франциско. Высокая

рыжеволосая женщина берет со стойки русскую газету «Наш Техас». В конце семидесятых она уехала в Израиль, открыла там курсы йоги, вышла замуж и уже десять лет как переехала в Америку. На третьей полосе — портрет немолодого мужчины с длинными волосами и седой бородой. «Неужели он?» — удивляется женщина и читает подпись: *Валерий Дымов, знаменитый гуру Вал, рассказывает нашим читателям о секрете своего успеха.* Вот ведь прохода, а! И ведь теперь-то ясно, что в йоге он вообще ничего не понимал, думает она. Хотя секс... да, секс с ним был прекрасен.

И на ее лице появляется счастливая кошачья улыбка, такая, что импозантный мужчина, стоящий рядом в очереди бизнес-класса, задерживает на ней взгляд и думает: «Эх, хороша!»

Через три дня после убийства Геннадия Валера сидит на кухне у Лени Буровского, а на столе перед ними бутылка водки и закуска из ближайшего супермаркета. Последний раз Валера с Леной виделись несколько лет назад, и Буровский удивился, услышав в телефоне почти забытый голос. Валера просил о срочной встрече, и это было так на него не похоже, что Буровский тут же сказал: «Да приезжай прямо сейчас!» — и через полчаса, впустив Валеру в квартиру, понял, что не ошибся.

Уже несколько лет назад седина, смешавшись с остатками природной черноты, придала Валериным волосам и бороде сдержанный и аристократичный серый оттенок — а сейчас все его лицо такого же цвета, выделяются только темные линии морщин.

Буровский наливает ему водки, и, выпив вторую рюмку, Валера рассказывает: после смерти Гены выяснилось, что компания давно перерегистрирована и ему, Валере, не принадлежит ровным счетом ничего — так, во всяком случае, объяснил ему адвокат Гениной вдовы Марины.

— Но ведь все знают, что Центр духовного развития — это ты? — говорит Буровский.

Валера горько усмехается:

— Да, все знают. Но юридически все имущество Центра и даже торговая марка принадлежат ООО «Валген». А я к нему не имею теперь никакого отношения, там теперь хозяйка — Марина.

— Но она же не сможет... без тебя?

— Сможет, Буровский, все она сможет. Она у меня три года училась и еще три года наблюдала, как я работаю. Гена даже предлагал поставить ее ответственной за регионы, и я даже почти согласился... а теперь разве что она меня может главным по регионам назначить, но это вряд ли.

Буровский наполняет стопки:

— Ну, за то, чтобы все обошлось!

Как все-таки страшно стареть, думает Буровский. Ведь я Валерку мальчишкой помню, а теперь — совсем старик. И при этом я понимаю, что и сам выгляжу не лучше, но внутри-то мне по-прежнему лет тридцать, сорок от силы.

— А говорить ты с ней не пробовал, с Мариной? — спрашивает он.

Бледные Валерины губы раздвигаются в кривой усмешке:

— Она меня на порог не пустила. Велела охране аннулировать мой пропуск. И ведь самое обид-

ное — я же ее с Геной и познакомил! Она у меня в семинаре по тантрическому сексу занималась, и мы однажды...

Буровский не может сдержать смех:

— То есть эта Марина — твоя бывшая? Может, ты ее обидел чем?

Валера разводит руками:

— Ты думаешь, я помню? Это же давно было, она уже три года как за Геной замужем!

Буровский вздыхает.

— А если серьезно, — говорит он, — что ты потерял? Имя у тебя есть, накопления тоже кое-какие найдутся... поднапряжешься, откроешь новый Центр... кто к этой Марине пойдет, когда есть живой гуру Вал?

Валера допивает водку и задумчиво говорит:

— Нет, не буду. Мне кажется, это все к лучшему. Помнишь, ты когда-то сказал, что я — человек андерграунда? Я тогда отмахнулся, а ведь ты был прав! Все семидесятые я так прожил, и хорошо получалось, а потом появился Гена и стал вытаскивать меня на поверхность, сначала — сделать секцию, потом — фирму, потом — транснациональную корпорацию. И я повелся, потому что мне самому захотелось масштаба, захотелось возможностей, которые дает публичность, а надо было и дальше оставаться в тени. Я сейчас вспомнил, как Алла мне Кастанеду пересказывала: если на тебя направлено ружье с оптическим прицелом, надо просто исчезнуть. А ведь на нас всегда это ружье направлено — и в советское время, и сейчас. И даже оптический прицел больше не метафора, а такая... повседневная реальность. А я, как дурак,

сколько уже лет изо всех сил лез туда, где меня лучше видно.

— Может, так и надо? — отзывается Буровский.

— Вот ты, например, — продолжает Валера. — Ты как занимался своей химией ароматических соединений, так и продолжаешь все эти годы. СССР распался, промышленность развалилась, институт твой десять раз с кем-то слили и укрупнили, а ты делаешь все то же, невзирая ни на что.

— Так я больше ничего и не умею, — говорит Буровский.

— Не в этом дело. Ты просто сохраняешь верность себе, вот как это называется. То есть из нас двоих по пути война шел ты, а вовсе не я. Такие дела, — добавляет Валера, помолчав.

Буровский смотрит на него и думает: *вот отправят меня через год на пенсию — и будет мне путь война*, но Валере, конечно, ничего не говорит. Что, в самом деле, лезть к человеку со всякой ерундой, когда у него по-настоящему серьезные проблемы?

По-настоящему серьезные проблемы начались у Валеры только в феврале, когда оказалось, что часть кредитов, взятых когда-то ООО «Валген», были оформлены как личные кредиты, выданные Валерию Дымову. Несмотря на инфляцию, превращавшую выданный пять лет назад кредит почти что в ноль, общая задолженность была такова, что с учетом пеней набегало около тридцати тысяч долларов. Еще месяц назад Валера легко погасил бы этот долг, но теперь, лишенный доступа к активам созданного им Центра, он остался один на один с группой кредиторов, предъявивших к оплате вну-

шительный пакет документов. Валера попытался перевести стрелки на Марину, но разговор не сложился. Подпись твоя? Твоя. Долг твой? Твой. Тебе и платить.

Валера сразу понял, что проиграл. Прикинув, он предложил расплатиться, продав квартиру, которая досталась ему после развода с Ирой. Финальную часть переговоров он провел довольно удачно, выторговав месячную отсрочку, чтобы вывезти вещи, и право забрать все, что останется после продажи квартиры и оплаты долга. Он рассчитывал на четыре или даже на шесть тысяч долларов: район, где он жил, по-прежнему считался престижным, и цены там были немногим ниже, чем внутри Садового. На эти четыре (или шесть) тысяч вполне можно было протянуть полгода, а там, глядишь, еще что-нибудь придумается. Но первым делом надо было понять, куда Валере отправиться после продажи квартиры, и промозглым мартовским вечером он звонил в дверь квартиры на Усачева, удивляясь, куда это тетя Женя могла подеваться.

Они засиделись допоздна, Гриша, конечно, хотел ее проводить, но Женя представила неловкую, словно подсмотренную в дурном кино сцену прощания на пороге ее квартиры, все эти бесконечные *уйди – нет, останься!* – и твердо сказала, что доберется сама.

В пустом полночном вагоне она еще как-то держалась, но, поднявшись из метро в слякотную мартовскую морось, разрыдалась, едва выйдя из вестибюля «Спортивной». Снег, смешиваясь со слезами, таял на щеках, и Женя думала, что сейчас в Гриши-

ном бумажнике могла бы лежать не Машина, а ее фотография. Ее и их детей.

Ночь обступила Женю; влажная, промозглая ночь сочилась слезами и отчаянием. Посреди темной и пустой улицы Женя вспомнила, как зимой 1943 года приехала в Москву, приехала именно сюда, чтобы найти дом тети Маши. Потерянная, она брела по этой самой улице. И что же? Круг замкнулся. Она была одинока тогда — и одинока сейчас. Прожив всю жизнь, она вернулась туда, где была.

Если бы Женя встретила сейчас ту девочку-подростка, что бы она сказала ей, о чем бы предупредила? Не ходи в чужой дом? Не влюбляйся в чужого мужа? Забудь про свою любовь и создай свою семью?

Только вряд ли молодая Женя стала бы слушать Женю старую. И потому предостережения лучше оставить при себе, а советы... что советы? У Жени есть только один совет, и она может его дать прямо сейчас, самой себе, без всяких чудес и машин времени.

Вот этот совет, един в трех частях: никогда не жалея о том, что уже нельзя изменить, никогда не думай о том, что больше не повторится, и наконец, никогда не плачь о невозвратном.

Но, несмотря на все советы, Женя еще плачет, войдя в свой подъезд. Только поднявшись на лифте на третий этаж, она увидит сидящего на ступеньках Валеру и поймет: что-то случилось, и сердце екнуло от предательского всплеска счастья — она больше не одна, больше не одинока, она все еще кому-то нужна.

Сейчас она снова узнает, зачем ей жить.

Андрей мог вступить в НБП, затусовать в «Птюче» или заняться бизнесом, но стал журналистом.

Когда ты революционер, психонавт или коммерсант, легко измерить успех или неудачу: победила ли революция, достиг ли ты химического просветления или хотя бы инсайта, заработал ли свой миллион. В деле превращения России в цивилизованную страну и создания достойной жизни для ее граждан никогда нельзя быть уверенным в успехе, поскольку никто не знает, что такое достойная жизнь и что такое быть «цивилизованным». Не говоря уже о том, что никто не знает, хочет ли Россия быть цивилизованной по-западному и как видят достойную жизнь те, кому ты хочешь ее принести.

И вот постепенно журналистская сверхзадача отходит на второй план, а остается только желание не прозомбить дедлайн и избежать ляпов в текстах. Борьба за лучшую жизнь сменяется войной за рекламодателя и битвой за тираж — в этой борьбе можно хотя бы измерить успех.

В начале двухтысячных молодые журналисты стали говорить Андрею Дымову: «О, мы учились на ваших текстах!» Слышать это было приятно, но Андрей и без того знал себе цену: уже несколько лет его опыт и квалификация обеспечивали ему позицию главного редактора, на которой он, впрочем, не особо задерживался. Когда-то, в конце девяностых, журналы, которые он возглавлял, убивал общий кризис или финансовые проблемы



учредителей, а последние годы причиной увольнения обычно служили конфликты с издателями. Поэтому слова молодых журналистов звучали горьким напоминанием о давно прошедших временах, о золотой эпохе бури и натиска, когда всепроникающий «формат» еще не разъял ни дорогой глянec, ни пестрые молодежные журналы, — о времени, когда Андрей знал: у него есть возможность говорить с аудиторией о том, что считал важным, и тем языком, который считал подходящим. Сегодня темы и язык все чаще определяли издатели и рекламщики — Андрей ругался с ними, но с каждым годом ему все труднее было отвечать себе, зачем он продолжает эту борьбу, обреченную на поражение. Год за годом он дрейфовал в поисках приемлемого баланса денег и свободы и в начале 2006 года оказался главным редактором малоизвестного глянцевого журнала — из тех, которые раскладывают в магазинах, банках или самолетах, связанных с издателями деловыми и партнерскими связями. Такие журналы не особо ищут рекламодателей: большая часть рекламных полос занята теми самыми дружественными банками и магазинами, и благодаря этому Андрей получил некое подобие независимости.

Это была стабильная и скучноватая работа, но в новом тысячелетии Андрей уже не хотел от работы ни удовольствия, ни развлечения — как, собственно, и от жизни в целом. В свои тридцать с лишним он не обзавелся ни близкими друзьями, ни постоянной девушкой. Конечно, у него было множество знакомых: как всякий часто меняющий место работы журналист, Андрей хранил в записной книжке своего мобильного почти тысячу но-

меров, в том числе людей, которых давно не мог вспомнить. Телефон звонил весь день... коллеги, приятели и даже как-то доставшие его номер незнакомые люди. Его приглашали на вечеринки, премьеры и праздники, фрилансеры искали заказы, а недавно уволенные журналисты — вакансии. Утром Андрей ехал на работу, вечером — на очередную презентацию, модное пати, в «Маяк» или в «Проект О.Г.И.», домой возвращался ближе к полуночи, пьяный ровно настолько, чтобы уснуть быстро, но не страдать от утреннего похмелья. Раз в месяц-другой он привозил к себе какую-нибудь знакомую; секс был в меру страстным и в меру техническим, но девушки почти никогда не перезванивали Андрею, и он им тоже. Через месяц Андрей встречал ночную гостью на очередной вечеринке, она улыбалась и говорила с ним так нейтрально-доброжелательно и светски, что временами он пугался — не подошел ли он по ошибке не к той девушке, запутавшись в крашенных блондинках, начинающих бизнесвумен и светских львицах второго эшелона. Впрочем, несколько раз, проявив настойчивость, Андрей получил подтверждение ночному визиту — «ой, сегодня никак не могу, давай в другой раз...», — и в конце концов ему пришлось признать, что ни его мимолетные подружки, ни он сам просто не хотят продолжения.

Так оно и шло, пока летом 2006 года Андрей не встретил Зару.

Все начиналось как обычно: они были шапочно знакомы уже года два, а сейчас зацепились языками на презентации и потом, заскучав, отправились сначала в соседний бар, а ближе к ночи — к Андрею

на «Коломенскую». Целовались в такси и лифте, трахаться начали едва ли не в прихожей, но закончили все-таки в спальне, на большой кровати, которую Андрей купил еще в кризис девяносто восьмого, спасая деньги с корпоративной карточки.

Потом они лежали в полусумраке, не зная, о чем говорить. Сплетни про знакомых, новости медиаиндустрии или индустрии моды – короче, все темы сегодняшнего вечера – были как-то неуместны. Андрей механически гладил мягкое Зарино плечо и понимал, что вот-вот выключится, как все чаще и чаще выключался на скучных летучках. Нужно было что-то сказать, и он спросил, успела ли Зара уже съездить в отпуск. Она была у мамы в Ростове, а в июне – в Питере, смотрела белые ночи – никогда раньше не видела.

– Белые ночи – это классно, – без всякого выражения сказал Андрей. – «Сижу, читаю без лампы...».

– В смысле? – спросила Зара.

Андрей посмотрел на нее: не, не шутит, в самом деле не поняла – какая лампада, при чем тут?

– Ну, это Пушкин, – сказал Андрей. – Типа вот так: сижу, читаю без лампы, и ясны спящие громады каких-то улиц, и светла Адмиралтейская игла. Здесь, не пуская тьму ночную на голубые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса.

– Круто! – с искренним восторгом сказала Зара. – То есть ты реально всего Пушкина наизусть помнишь?

Андрей смутился: бабушка Женя не только по десять раз прочла с ним всю русскую классику, но

и считала, что интеллигентный мальчик должен учить стихи наизусть, чтобы исполнять по первому требованию в присутствии многочисленных гостей. Вступление к «Медному всаднику» Андрей выучил еще лет в восемь и в глубине души считал общим местом, этаким *common knowledge*, похвалиться знанием которого немного стыдно.

— Ну, не всего, конечно, — сказал он, — но кое-что знаю.

— Почитай еще, — попросила Зара, поворачиваясь на бок и целуя Андрея в плечо, — у тебя хорошо получается.

Сев в кровати поудобней, он целиком прочитал «На берегу пустынных волн...», а потом еще пять стихотворений из своего детского набора, про которые был уверен, что помнит без существенных ошибок. Зара слушала восхищенно и просила продолжать. Когда в запасе оставалось одно «Лукоморье», Андрей пошел к дедовскому книжному шкафу, отворил тяжелую дверь и нашел старый трехтомник, к счастью, довольно быстро. Зажег в спальне свет, сел в кресло и, заглядывая в книжку, читал едва ли не час.

После хрестоматийных стихов о море и осени он с опаской прочел: «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» — Зара, с ее *порывами пылких ласк*, описывалась скорее в первой строфе, — а добравшись до «Я помню чудное мгновенье...», почувствовал себя бессовестным манипулятором. Но Зара умиротворенно кивала в такт первому стихотворению, а на *гения чистой красоты* только счастливо улыбнулась — наверное, потому, что в самом деле была красива и знала это.

Возможно, лет через десять-пятнадцать Зара, как многие восточные женщины, растолстеет и расплывется, но сейчас, в двадцать пять... густые черные волосы, гладкая смуглая кожа, широкие бедра и неистовый сексуальный темперамент. Андрей любовался ею, поглядывая поверх книги, а в конце концов закрыл Пушкина и вернулся в кровать, где через час они уснули чутким сном, наполненным касаниями, объятиями и поцелуями.

Прощаясь утром, Андрей немного жалел, что и эту ночь придется списать как очередной *one night stand*, но в обед Зара прислала ему эсэмэску, спросив, что он делает вечером.

Так они начали встречаться, и хотя о том, чтобы съехаться, речь еще не шла, проводили вместе почти каждую ночь. Инициатива всегда принадлежала Заре, и поначалу Андрей недоумевал, пытаясь найти какую-нибудь корыстную причину страстности и напора, так ему непривычных. Но Зара не хотела от любовника ни денег, ни подарков, ни рекламных публикаций, так что месяца через два Андрей, осмелев, спросил, чем же не особо успешный журналист привлек девушку на десять лет моложе. Зара, смеясь, ответила, что той ночью почувствовала себя, как Кэрри Брэдшоу в гостях у героя Михаила Барышникова, а это очень круто. Андрей улыбнулся и кивнул, хотя сравнение со знаменитым танцором его обескуражило: «Секс в большом городе» он не смотрел, поэтому не совсем понял, что Зара имела в виду.

Вот так Андрею и пришлось поверить, что просто он впервые за много лет встретил девушку,

которая в него влюбилась. Ну что же, говорил он себе, если о таком рассказывают в книгах и в кино, почему это не может случиться со мной?

В том году Москва переживала небывалый экономический подъем. На месте снесенного «Военторга» построили новый, с подземной парковкой, трехэтажной мансардой и круглым куполом. Росли цены и зарплаты. Банки все охотней выдавали ипотеку на квартиры и кредиты на машины, и вот результат — теперь дорога на работу занимала час с лишним. Стоя в пробке, Андрей думал: если дальше так пойдет, придется снять что-нибудь в центре, наверное, уже вместе с Зарой. Небо, низкое и серое, нависало над ним, бабье лето отменили, золотые листья в одночасье облетели, и зарядили дожди. На работе коллеги с тоской глядели в окно и обсуждали, что надо бы сдать квартиру и уехать в Гоа до весны, а то и подольше: там солнце, там тепло.

Тем воскресным утром Андрей проснулся и не мог понять, который час: сумерки в комнате, морось за окном. Он потянулся за «нокией»: всего-навсего десять, можно еще поспать. Вернув мобильник на тумбочку, он обернулся к Заре: она спала, подложив кулачок под круглую смуглую щеку, и спящей казалась еще моложе. Девочка, почти ребенок. Сейчас ее полные губы, густые брови и крупный нос вызывали у Андрея необъяснимую грусть. Он любил, когда судорога желания и страсти искажала Зарино лицо, но утренние мгновения, когда ее черты были смягчены сном, наполняли его тихой, задумчивой нежностью.

Дождь монотонно стучал за окном, Андрей осторожно встал и, пройдя на кухню, включил ноутбук. Пока загружается, сварю кофе, подумал он. Разбуду Зару минут через десять, романтично принесу кофе в постель, вот только почту посмотрю.

Он залил коричневый порошок холодной водой и поставил турку на огонь. Есть две минуты глянуть в компьютер, главное, не зачитаться, а то кофе убежит.

И вот Андрей подходит к компьютеру, открывает *Outlook*, сразу видит два письма по работе, пять — спама и шестое не пойми от кого с сабджектом *Privet* и уже собирается отправить его в корзину, но тут рука замирает, а потом указательный палец медленно нажимает на кнопку мыши, и, пока открывается письмо, ему хочется зажмуриться, потому что Андрей уверен: он давно забыл эту фамилию, а имя... мало ли на свете женщин с именем «Аппа»?.. Но нет, он не забыл и не ошибся, и вот он смотрит на пять строчек транслитом и даже не сразу понимает все слова, а потом раздаётся шипение, квартира наполняется запахом горелого кофе, Андрей никак не может встать, и только когда Зара кричит из комнаты: *у тебя что, кофе убежало?* — захлопывает ноутбук резко, словно замечая следы преступления.

В Чикаго — глубокая ночь, но *Anna Lifshitz*, Аня Лифшиц, не может уснуть. Спит под боком уставший муж Саша, спит в соседней комнате девятилетняя Леночка, а вот Аня ворочается с боку на бок, и ортопедическая подушка то горяча, то холодна, и в комнате не то холодно, не то нечем дышать.

В конце концов Аня встает и уходит на кухню. Что это я так разнервничалась? — спрашивает она себя, хотя, конечно, знает ответ.

В Шереметьеве она держалась до последнего и заплакала, только когда Андрей ее уже не видел. Таким она и запомнила его: в старой кооперативной куртке и драных джинсах, худой, взъерошенный, он тянет руку и машет, машет, и вот уже только его ладонь мелькает над головами провожающих. Аня плакала, когда они шли длинным коридором к посадке на самолет, и аэрофлотовская стюардесса спросила: *Что же вы плачете? Вы же навсегда улетаете из этой страны!* — и Аня ей ничего не ответила, а продолжала плакать, пока самолет набирал высоту, пролетал над границами, которых не было еще два года назад, над новыми независимыми государствами, над бывшими странами социалистического лагеря... а потом вдруг перестала, словно у нее кончились слезы или что-то оборвалось внутри. В этот момент в своей московской квартире Андрей слышал тихий *пинг*, звук лопнувшей струны, а Аня неподвижно сидела, глядя перед собой сухими невидящими глазами, а потом повернулась и стала смотреть в иллюминатор, где далеко внизу оставались облака, похожие на ноздреватые сугробы или пену, опадающую в чашке капучино.

Прошло много лет. Собственно, прошла жизнь. Аня окончила университет, вышла на работу, вышла замуж, родила Лену, Саша получил место в Чикаго, они взяли ипотеку, переехали в собственный дом в субурбе, Лена пошла в садик, Аня снова вышла на работу, Саша получил повышение, Лена пошла в школу... и все эти годы Аня не воспомина-



ла про Андрея, изо всех сил не думала о нем, вот просто никогда, буквально ни разу, и не рассказывала даже мужу (а она ничего от Саши не скрывала), не рассказывала даже подружкам (а у нее были близкие подружки, и русские, и американки), не рассказывала даже шринку (а она полгода ходила к шринку, перед тем как уговорить Сашу снова отпустить ее на работу), не рассказывала никому, потому что зачем рассказывать? Это было так давно, что Аня давно забыла, насколько давно это было.

Когда в Чикаго шел снег, Аня не вспоминала, как вдвоем с Андреем бродила по заснеженной Москве; не вспоминала Андрея, когда видела на кампусе худых и взъерошенных восточноевропейских подростков; не вспоминала, когда в аэропорту взлетала над головами провожающих мальчишечья ладонь, трепещущая от любви и отчаяния. Америка была хорошей страной, отличной страной, много лучше, чем монструозный Советский Союз, лучше, чем непонятная независимая Россия, — зачем портить любовь к этой стране? Ане и без того поначалу было здесь трудно, она столько усилий приложила, чтобы стать здесь своей, — зачем же отравлять счастливую жизнь, к которой она так долго шла?

Неделю назад, пройдя по случайной ссылке, Аня попала в какой-то нелепый русскоязычный блог, *a Russian Style New Age Blog*, как она сказала бы своим американским подружкам. Автор смешивал Кастанеду, йогу и тантру, то есть вещи, к которым Аня была полностью равнодушна. Вдобавок блог не был частью ЖЖ, как все остальные русские блоги, а на американский манер жил на отдельном до-

мене, и вот Аня, уже собираясь закрыть страницу, вдруг увидела в строке *Safari* адрес сайта.

Почему-то стало очень холодно, руки онемели, перед глазами пополз белый туман. С трудом Аня нашла в меню раздел «Обо мне», щелкнула мышью и рассмеялась с облегчением — с фотографии смотрел седобородый старик, и звали его вовсе не Андрей, а Валерий. Наверно, однофамилец, подумала Аня и тут же поняла, что, конечно же, нет, не однофамилец, а отец.

Нельзя быть такой истеричкой, сказала она себе и в приступе внезапной храбрости вбила в *Google* те самые имя и фамилию. По первой же ссылке открылась старая статья Андрея, фотографии автора не было, но был *e-mail*, и Аня не стала его даже записывать, потому что запомнила с первого раза, и еще неделю перекачивала в памяти, надеясь, что он, как шар в лузу, рано или поздно попадет в дальний угол, в запертую кладовку без ключа, куда свалены ее московские воспоминания. Но непослушный адрес все катался туда-сюда до самого субботнего вечера, когда Аня вернулась с вечеринки веселая и чуть пьяная, потому что сегодня была Сашина очередь вести машину и было бы глупо не выпить, правда? Правда, правда, согласился Саша и добавил: *иди уже спать*, а сам пошел в душ, но Аня не стала спать, а открыла свой «мак», вбила адрес и написала *Privet* в теме письма, потому что у нее в первые годы эмиграции не было русской клавиатуры и даже теперь по старой привычке она иногда пользовалась транслитом, — и вот ведь странная вещь, стоило Ане нажать кнопку *Send*, как этот чертов *e-mail* сра-

зу пропал из памяти. Вот и хорошо, подумала она и закрыла крышку ноутбука, теперь я могу спать спокойно.

Но Аня не спит уже четвертый час, и даже чтение *New Yorker* не помогает, и тогда она берет компьютер, тащит на кухню и опять проверяет почту. Два письма спама — и больше ничего.

Аня глядит на часы и думает: что ж такое? В Москве уже пол-одиннадцатого, не может же он так долго спать, даже в воскресенье!

Ответ пришел только на следующую ночь: Андрей написал его в понедельник, придя на работу, и Аня ответила утром своего понедельника, так что ее имейл свалился в *Inbox*, когда Андрей уже собирался уходить. Настоящее письмо, два экрана русских букв, не пять строчек транслита, — Андрей прочитал дважды, но не успел ответить, потому что Зара уже третий раз звонила сказать, что ждет в кафе рядом с офисом, они ведь собирались вечером в кино, и если Андрей не поторопится, они точно опоздают, потому что пробки. Андрей выключил компьютер и весь вечер сочинял письмо, которое сможет написать только завтра утром, раньше всех придя в офис.

Так они начали переписываться — им нужно было много друг другу рассказать. Сначала разобрались с официальными биографиями — замужем, работаю, дочке девять; не женат, детей нет, был переводчиком, теперь журналист, — и когда Аня спросила: «А ты живешь все в той же квартире?», они ступили на шаткий, рискованный путь воспоминаний. Он раскачивался, как веревочный

мост над пропастью, у них кружилась голова, они изо всех сил цеплялись за хлипкие перила, но шли вперед, шаг за шагом, и не могли остановиться.

Помнишь, как ты увидел меня первый раз? А порнушку в конце «Забриски-пойнт»? А похороны твоего деда? А как мы потом гуляли всю зиму? И шел снег, да, конечно, помню, и я тоже. И вот наконец дошло дело до «помнишь, как мы поцеловались первый раз?», и следом одна за другой всплыли подробности, вспомнился их особенный язык, язык двух влюбленных подростков, трогательный и щенячий, казавшийся когда-то чудесным и неповторимым. Как ты называл мою *fussy*? Как ты называла мой член?

Первый поцелуй, первый секс, первые открытия неисчислимых комбинаций двух влюбленных тел — на это ушла целая неделя, и даже ненасытная Зара удивлялась внезапному напору своего возлюбленного так, что, зажав в угол единственную в офисе подружку, горячо шептала ей в розовое ушко, украшенное тройным пирсингом: «Ты не представляешь! Мой Андрей! Пять раз за ночь! Три дня подряд! Я думала, так только в порнухе бывает!» — а ее Андрей в это время писал уже третью страницу ежедневного письма, и с каждой строчкой все ближе и ближе был момент, когда Аня спросит: «А помнишь, как ты махал мне в Шереметьеве?» — и Андрей напишет: «Когда ты прошла погранконтроль, я вдруг услышал, как ты плачешь. Ты правда плакала, да?» — и она ответит, что рыдала несколько часов и перестала только где-то над Веной, и тогда Андрей спросит: «Ты скучала обо мне?» — и тут оборвутся веревки, рассыплется

настил, доски одна за другой полетят в пропасть, и следом за обломками моста рухнут они оба.

За столом в своем кубикле Аня написала: «Да, я скучала по тебе!» — и вдруг поняла, как же она скучала, как скучала каждый раз при виде падающего снега, нескладных лохматых студентов, прощальных взмахов в аэропортах. Воспоминания нахлынули, нахлынули и сбили Аню с ног волной ее собственных слез, и она сидела, вжавшись в дорогое офисное кресло, закрыв лицо руками, изо всех сил стараясь если не сдержать рыдания, то хотя бы не всхлипывать так громко.

«Я тоже скучал!» — отвечает Андрей, и вечером уже не будет ни пяти раз, ни одного, так что Заре останется только гадать, что же случилось с ее парнем на прошлой неделе или, наоборот, на этой, и в конце концов она решит, что не зря говорят — у мужчин тоже бывают критические дни, вот, наверное, и все объяснение, шепчет она подружке, пожимая округлыми плечами под полупрозрачной блузкой в тот самый момент, когда Андрей читает новое Анино письмо, где та рассказывает, как на последнем курсе встретила Сашу, рассказывает, чтобы получить от него в ответ: «Ты влюбилась в него? Сразу? Как в меня? Или сильнее?»

Дурак, отвечает она. Не как в тебя и не сильнее. Вы совсем разные, и у нас с ним все по-другому. И вообще, можно подумать, у тебя не было девушек все эти годы.

«Почему не было?» — пишет Андрей. Конечно, были. У меня даже сейчас есть подружка.

Расскажи мне о ней, просит Аня, и Андрей сперва начинает писать, что ее зовут Зара, она пиарщи-

ца в большой конторе, первое постсоветское поколение, совсем не интересуется политикой, одновременно очень открытая и очень циничная, хотя, наверно, это связанные вещи, а потом ошарашенно смотрит в монитор и перечитывает только что написанные слова «она похожа на тебя». «Неужели это я написал?» — удивляется Андрей и понимает: да, в самом деле похожа — такие же полные губы, густые брови, большой нос, только кожа смуглее и фигура другая, и этой ночью они снова занимают с Зарой любовью, а потом она, откинувшись на подушку, мокрая и счастливая, смеясь, говорит ему: *Уф! А я уж подумала, ты меня разлюбил!* — и Андрей ничего не отвечает, только молча целует, а завтра утром пишет: «Аня, скажи: ты все еще любишь меня?» — и стирает, и снова пишет, и снова стирает, и ставит в конце письма *P. S.* и предлагает: «У тебя есть скайп? Давай как-нибудь созвонимся?»

И так проходит еще дней десять, потому что Зара проводит у Андрея почти каждую ночь, а когда однажды остается у себя, у Ани в ее *office schedule* стоят впритык два совещания, и они снова переносят разговор, и, чтобы хоть как-то сбавить напряжение, Аня рассказывает про Леночку — такая умная и красивая девочка, по-русски говорит почти без акцента, вот только совсем не читает. «А она считает себя русской?» — спрашивает Андрей, и Аня не задумываясь отвечает: «Конечно. Она считает себя *Russian-Jewish-American*» — и вот, наконец, на следующей неделе все получается, Андрей сидит в темной ночной квартире, Аня запарковалась рядом с кафе, где дают *Wi-Fi*, от которого она знает пароль, потому что специально зашла пару дней назад как бы

выпить кофе, она сидит и пытается пристроить «мак» на руле, а потом догадывается перелезть на пассажирское сиденье. Я здесь ерзаю, как школьница, которая собирается трахаться в родительской машине, думает она и сама над собой смеется, потому что, когда она была школьницей, у них не было машины, а когда появилась машина, уже было где трахаться по-нормальному, так что, выходит, это у нее первый раз, и опять — с Андреем.

И вот они смотрят друг на друга. Прошло тринадцать лет, ты представляешь?

Он повзрослел, думает Аня, хотя все такой же худой и взлохмаченный, а Андрей думает: «Господи, какая же она красивая!» — и сначала они неловко смеются, потом сверяют часы («У тебя совсем уже ночь, да?» — «Ну, какая ночь, так, ранний вечер. А у тебя, дай-ка посчитаю, час тридцать пять?») и говорят о всякой ерунде, а потом Аня говорит: «Ты совсем не изменился», а Андрей отвечает: «А ты стала еще красивей», и Аня просит пройти с ноутбуком по квартире, Аня ее хорошо помнит, наверняка ведь что-нибудь осталось, и да, действительно, вот дедовский книжный шкаф, и комод в прихожей, и вот эта фарфоровая статуэтка, бабушка говорит, бабушка Оля ее очень любила, и Аня смеется, потому что всегда путалась в бабушках Андрея: «У тебя же их три? Как будто ты родился в семье двух лесбиянок от знакомого гея-донора... знаешь, здесь такое случается», и видно, как Аня пугается собственной шутки, наверно, думает, что мы все здесь в России дремучие гомофобы, — ну уж нет! — и Андрей весело смеется, показывая, что оценил шутку и совсем не считает ее обидной ни для своих родных, ни для

себя самого, белого гетеросексуального мужчины, а потом они некоторое время молчат, и Аня говорит: «А можешь отойти, чтобы я увидела тебя целиком?» — и Андрей делает круг перед ноутбуком, стараясь не выходить из поля зрения камеры и чувствуя себя не то моделью на подиуме, не то собакой на выставке. «Ну как? — спрашивает он. — Какой мой балл? И когда я увижу тебя в полный рост?» — «Как-нибудь», — отвечает Аня и улыбается кокетливо — незнакомая улыбка взрослой женщины. Они сидят молча, а потом Андрей говорит: «Приезжай в Москву», и Аня снова отвечает: «Как-нибудь» — уже без улыбки, и тут же, смутившись, объясняет, что давно хотела, но сначала не было денег, потом появилась Леночка, а теперь еще и работа, а отпуск всего две недели, и Саша в Москву не хочет ни в какую.

— Жалко, — говорит Андрей, — но я буду ждать.

— А ты, — спрашивает Аня, — никогда не думал уехать в Америку?

— К тебе?

— Нет, просто, ну, как все уезжают. Найти работу или там лотерея грин-кард...

— Ну что я там буду делать? — отвечает Андрей. — Я же не еврей.

И сам смеется — надо же, какую глупость я сказал, — но он действительно никогда не думал уезжать: Москва — его город, Россия — его страна, к тому же еще недавно здесь было так интересно, появлялось так много нового, можно было так много сделать, и он рассказывает, что значило быть журналистом в девяностые, какая это была крутая и увлекательная работа и почему он считает, что тем, что делал, он приближал лучшее будущее,



и Аня слушает его, внимательно кивая, хотя не совсем понимает, что Андрей имеет в виду и почему он об этом заговорил.

И вот так за разговорами проходит почти целый час, обеденный перерыв давно закончился, Ане надо на работу, они начинают прощаться и никак не могут нажать отбой, и вспоминают, как когда-то говорили по телефону, и, словно пятнадцать лет назад, хором считают «раз, два, три!», и еще секунду Аня смеется, а затем ее лицо исчезает.

Андрей не двигаясь сидит перед компьютером, потом протягивает руку и гладит потухший экран, ласково, бережно и осторожно.

— А что ты собираешься делать на Новый год? — спрашивает Зара.

Пятница, вечер, они только что вернулись домой, до этого поужинали в ресторане, затем пошли в кино, и там Зара немного шалила в темноте, а Андрей вел себя как девушка и сердито шептал: «Не мешай смотреть!»

Что делать на Новый год — странный вопрос для конца декабря: все билеты уже распроданы, а оставшиеся стоят столько, что подумать страшно. Тем более Зара давно сказала, что, как всегда, поедет на праздники к маме в Ростов, и Андрей ответил, что он тогда останется один в Москве, здесь очень здорово в начале января, ну, по крайней мере, не должно быть пробок. И вот теперь, не пойми с чего, этот вопрос.

— У меня просто есть одна идея, — говорит Зара, снимая высокие черные сапоги. — Может, поедешь со мной?

— Куда? — спрашивает Андрей и проходит следом за ней в комнату.

Зара садится в кресло и, подтянув повыше и без того короткую юбку, перекидывает ногу на ногу, улыбается и смотрит на Андрея специальным взглядом, который кажется ей игривым и кокетливым и, может, в самом деле иногда таким и является, но только не сегодня или только не для Андрея.

— Ну, в Ростов, — говорит Зара. — Я же туда еду.

— А что я там буду делать? — удивляется Андрей.

— Я тебе город покажу, — предлагает Зара, — с мамой познакомлю.

— Не, — говорит Андрей, — не очень соблазнительно, прости. Да я уже настроился пожить один.

Зара надувает губки — и у нее это получается куда лучше, чем гримаска, которую много лет назад тренировала перед зеркалом Оля.

— Я буду по тебе скучать, — говорит она, — а я не хочу. Поехали вместе. Если не нравится, можешь с мамой не знакомиться, поживешь в гостинице, будешь у нас инкогнито.

— Не поеду, — говорит Андрей. — Да и вообще... я хотел с тобой поговорить.

В общем-то, это неправда: Андрей вовсе не хочет говорить с Зарой, он бы с радостью оставил все как есть, потому что Зара — молодая, красивая и влюбленная, с ней круто приходиться на пати, и трахается она просто потрясающе, а после того, что Андрей собирается сказать, у них больше не будет ни пати, ни секса, это он отлично понимает, но все равно у него вырываются эти слова — «я хотел с тобой поговорить», и когда в ответ Зара недоуменно поднимает густые округлые брови (как бы

приглашая *давай уж, говори!*), он подходит к ней, садится на широкий подлокотник, обнимает за плечи и, глядя в сторону, говорит, словно ныряя в ледяную воду:

— Я люблю другую женщину. Прости.

Когда он начинает рассказывать, Зара сбрасывает его руку с плеча, а чуть позже встает и ходит по комнате, а Андрей сидит на подлокотнике пустого кресла, говорит сбивчиво и путано, а сам думает, что главное ему сейчас не разрыдаться, и даже не потому, что мальчики не плачут, — глупости все это, — а просто не он должен плакать сегодня вечером, не его любовь отвергли, а Зары, и, сам себя перебивая, он говорит, какая Зара на самом деле прекрасная и дело вовсе не в ней, и она так резко машет рукой — *прекрати!* — и Андрей снова рассказывает про Аню, про их переписку, разговор по скайпу, что он все время о ней думает и что Зара достойна мужчины, который будет любить ее так, как она этого достойна, и от двух «достойна» в одной фразе у самого Андрея сводит скулы, хотя тут уж не до стилистических тонкостей, особенно если учесть, что его колотит, он сидит весь бледный и жалкий, на лбу сверкают капли пота, шея нелепо вывернута, будто Зара все еще сидит рядом и он боится на нее посмотреть. И когда Андрей в третий раз говорит: *я чувствую себя таким виноватым перед тобой*, Зара обходит его, обнимает сзади, прижимается всем телом, унимает его дрожь и шепчет:

— Успокойся, я все поняла. Пойдем, потрахуемся напоследок.

Господи, какая она все-таки сильная, восхищенно думает Андрей, я бы так не мог. И вот они

идут в спальню, Андрей хочет включить свет, но Зара говорит: *не надо*, и они раздеваются в темноте, а потом, почти без всякой прелюдии, начинают заниматься любовью, и это очень странный секс: Андрей знает, что это — в последний раз, и его наслаждение только сильнее от стыда и горечи, сильнее и болезненней; и Зара тоже знает, что это — в последний раз, и потому трахается иступленно и яростно, словно хочет напоследок взять все, что ей причитается, но когда Андрей тянется ее поцеловать, она раз за разом отворачивается, и он тыкается в густые спутанные волосы, а когда пытается повернуть ее голову, Зара ударяет его по щеке, и дальше Андрей уже позволяет ей делать все, как она хочет, и только в самом конце, перед финальным содроганием, наваливается всем телом, все-таки добирается губами до лица и понимает: оно все соленое от слез.

Потом они лежат, обессиленные и несчастные, и Зара говорит:

— Помнишь, ты мне в первую ночь читал стихи?

Ее голос звучит так нежно, что кажется Андрею чужим, почти незнакомым. Он молча кивает в темноте.

— Почитай еще — в последний раз, на прощание.

Он встает, зажигает свет, достает томик Пушкина... лежит там, куда Андрей его бросил в их первую ночь, все эти месяцы ни разу не открыл. Пролистывает содержание, находит то, что хотел, начинает: *Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем* — и, подняв глаза, видит, что Зарино лицо каменеет, пропадает мягкость контуров, исчезает плавность черт, в глазах вспыхивает

сухой блеск... кажется, я промахнулся со стихотворением, думает Андрей, но все равно не может остановиться. И вот наконец, после финального *...любимой быть другим* Зара отворачивается и говорит холодно и безразлично:

— Спасибо. А теперь вызови мне, пожалуйста, такси.

Много лет Аня верила, что если не сможет забыть свою детскую любовь, то никогда не полюбит новую жизнь, которая ей предстоит. Той зимой она поняла, что все эти годы ошибалась. Даже теперь, после того как она полтора месяца непрерывно думала про Андрея, написала ему сорок с лишним писем и, закончив разговор по скайпу, полчаса прорыдала на парковке, для нее ничего не изменилось: Америка оставалась лучшей страной на свете, ее дом — лучшим домом, Лена — ее любимой девочкой, а Саша... а Саша, наверное, по-прежнему был самым прекрасным мужем.

На каникулы они поехали в Вермонт кататься на горных лыжах. В их комнате, как всегда в американских гостиницах, стояло две кровати, таких больших, что Леночка терялась в складках одеяла и утром ее приходилось выкапывать, как машину из-под снега. Ночью Саша шептал на ухо: *я хочу тебя! Давай попробуем совсем тихонько?* Аня шипела: *нет, не хочу тихонько!* — и отодвигалась на край, благо места в кровати хватало.

Они вернулись после Нового года, и в первую же ночь Аня первой потянулась к мужу. Сашино тело привычно откликалось на прикосновения, он делал все, как любила Аня, но впервые за эти годы

она не смогла ни возбудиться, ни кончить. Имитировать оргазм всегда казалось Ане унижительным и для нее, и для партнера, но в этот раз она все-таки несколько раз застонала, скорее обозначая, чем изображая возбуждение. Когда Саша дернулся последний раз, Аню охватили стыд и апатия. Надеюсь, он ничего не понял, подумала она, а если понял — ну что я могу поделать?

В первый день после каникул, проезжая мимо заснеженных домиков субурба, Аня сказала себе: я обычная женщина, никакого модного полиамори. Я не могу любить двух мужчин одновременно, это ненормально.

Но ведь я не люблю Андрея. Я любила его когда-то, я помнила его все эти годы, но сейчас я люблю Сашу. Он мой муж, отец моей дочери, самый лучший, самый нежный и заботливый мужчина в моей жизни. Андрей — просто призрак из прошлого, *blast from the past*, я не должна... он не должен разрушить мою семью и мою жизнь.

Приехав на работу, она не стала отвечать на имейл Андрея сразу, как в прошлом году, а дождалась следующего дня и написала очень светлое, дружеское письмо, рассказав, как они втроем с Сашей и Леночкой прекрасно провели время в горах. Следующий ее ответ тоже задержался, и на этот раз там не было ничего, кроме обсуждения фильма, который они с Сашей посмотрели на выходных. Фильм, с ее точки зрения, Андрею обязательно понравится!

Так раз за разом она увеличивала промежутки между письмами. Сперва отвечала через день, потом — через два, к концу февраля писала раз в неделю, по вторникам или средам. Игнорировала

любые воспоминания и не реагировала на повторяющиеся раз за разом «я люблю тебя», «ты все еще меня любишь?», «я скучал все эти годы», зато подробно рассказывала о Леночкиной учебе, Сашиных успехах и своих проблемах на работе. Постепенно Андрей принял новые правила: вместо приглашений к скайп-коллу и признаний в любви он теперь присылал легкие и остроумные зарисовки современной московской жизни, для Ани загадочной и непонятной.

Постепенно они стали обмениваться письмами раз в месяц: чаще, чем старые друзья, но все-таки, как однажды удовлетворенно заметила про себя Аня, куда реже, чем любовники, даже потенциальные. Она успокоилась, и хотя по-прежнему ждала имейлов Андрея и радовалась, их читая, эта переписка уже не таила для нее никакой угрозы.

В сентябре 2007 года, доедая ланч в китайском ресторанчике рядом с работой, Аня неожиданно для себя поняла, что воспоминания об этой любви больше ее не пугают. Этот юношеский роман уже не был незаживающей раной, к которой страшно прикоснуться, — он стал частью прошлого, одним из тех *sweet-and-sour memories*, которые есть почти у каждого.

Так Аня приручила свою детскую любовь, но, возвращаясь после работы домой и вспоминая, как ловко она все проделала, Аня вдруг осознала: весь год, кроме той январской попытки, они с Сашей ни разу не занимались сексом.

Удивительно, что я раньше не обратила внимания, подумала она. Надо теперь что-то делать...

Она была спокойна, потому что знала: она найдет какое-нибудь решение. Как и положено взрослой

ответственной женщине, для начала все обсудит с Сашей, а потом, если понадобится, они вдвоем пойдут и к семейному терапевту.

Ане было нечего стыдиться и нечего скрывать: у нее не было от мира никаких секретов.

Осенью 2007 года Андрей заметил, что ему почти не удастся сосредоточиться. Любая мелочь отвлекает внимание, слова собеседников проскакивают, почти не оставляя в сознании следа.

Все чаще и чаще в конце редакционной летучки, которую он же и вел, Андрей понимал, что не помнит даже повестки дня, а однажды в дымном и пьяном пятничном «Маяке» он, выйдя на минутку отлить, так и не вернулся к столику, из туалета сразу выскочив на улицу ловить машину (в понедельник пришлось извиняться перед коллегами, ссылаясь на внезапную мигрень). В другой раз во время редкой телефонной беседы с отцом он понял, что стоит у компьютера и механически читает заголовки, раз в минуту перезагружая главную страницу малоизвестного новостного сайта. Но чаще всего Андрей ловил себя на том, что в курилке он на двадцать минут застывал у окна с потухшей сигаретой и глядел на соседские машины, тут и там запаркованные на газоне.

Жизнь его стала спокойной и одинокой. Он отвечал только на рабочие звонки; работа не доставляла удовольствия, но и не раздражала. Редкие Анины письма нагоняли тоску, ни одна девушка — знакомая или незнакомая — не вызвала желания даже пригласить ее к себе, не говоря уж о том, чтобы сойтись поближе.



Наверное, это старость, думал тридцатичетырехлетний Андрей. Немного преждевременная, но что поделать? Зато молодость была увлекательной и интенсивной.

Полгода назад, дождливым и хмурым весенним днем, он набрал номер Зары, звонок сбросили, и после пятой попытки Андрей запоздало догадался, что Зара не хочет с ним разговаривать. С горечью Андрей подумал, что, наверное, никогда больше ее не увидит.

Впрочем, он ошибся: они встретятся через несколько лет на одном из московских митингов 2012 года. Зара будет катить коляску с закрепленным на ней плакатом, по-хипстерски остроумным. Андрей подойдет и поздоровается, Зара улыбнется, он скажет, что меньше всего ожидал увидеть ее здесь: *тебе же никогда не было дела до политики*. Зара, пожав пополневшими плечами, ответит: *ну, теперь у меня ребенок, ему в этой стране жить*. К ним подойдет ее муж, молодой парень с модной ухоженной бородой. Глядя на них, Андрей отметит, что они не просто красивая, но и по-настоящему влюбленная пара, и, значит, Зара, как он ей и пожелал, получила большую любовь, которой была достойна.

Жалко, что у нас ничего не получилось, подумает Андрей, уходя. Что ни говори, а такой потрясающей любовницы у меня никогда не было. Мужу-хипстеру можно только позавидовать.

\* \* \*

Женя не любила зиму. Когда-то ее радовали разноцветные радуги в кристалликах льда, сверкающие

белые сугробы и заиндеветшие ветки деревьев, но сначала почернел снег, а потом куда-то исчезли дворники, и улицы перестали убирать. Несколько раз Женя видела, как падали на льду пожилые люди, — и скоро сама стала бояться поскользнуться. Хотя дворники недавно появились снова, страх не прошел — наверно, решила Женя, дело в возрасте, а не в состоянии тротуаров. Все-таки через несколько лет мне будет восемьдесят, пора побереечь себя. Подумав так, Женя почти перестала выходить зимой на улицу — слава богу, в магазин ходил Валера, а пенсию Женя забирала раз в два месяца: денег ей хватало. Но вот на Рождество и Крещение она просила Валеру отвести ее в церковь. Там он послушно стоял рядом, благообразный, седой, крестился вместе со всеми и подпевал «аминь» в конце молитв. Как-то раз по дороге домой Женя спросила, не хочет ли он креститься. Валера посмотрел на нее с изумлением и сказал, что, при всем его уважении к христианской культуре, особенно в ее средневековой версии, в таинства он все-таки не верит. Точнее, верит, но не так и не в те. Женя быстро сказала: *ладно-ладно, поняла*, потому что все не поняла, о чем он, и давно поняла, что беседовать с Валерой на такие темы — только тратить время.

Женя вообще старалась с Валерой не спорить и жизни не учить: взрослый уже, сам разберется. Только однажды, в самом начале их совместной жизни, когда он рассказал ей историю своих отношений с Геннадием, она заметила, вздохнув:

- Зря ты с отцом не посоветовался.
- О чем? — удивился Валера.

— Про твоего Геннадия. Володя ведь всегда знал, что с такими людьми лучше дела не иметь. Он из науки ушел, чтобы такие, как этот Гена, на него глаз не положили. С такими нельзя работать и договориться с ними нельзя, от них нужно только убегать и прятаться. Слава богу, страна большая. Хороший человек всегда найдет где укрыться. Так что не надо было тебе с ними связываться.

— Я уже понял, — раздраженно ответил Валера. — Жаль, что твои советы несколько запоздали.

— Да не вини ты себя, — сказала Женя. — Ты же всего этого не знал, поэтому не успел ни убежать, ни спрятаться. Слава богу, хоть жив остался и на свободе.

Валера мрачно кивнул и ушел к себе, но через несколько дней сказал Жене, когда они по обыкновению завтракали на кухне приготовленной им глазуньей:

— Знаешь, тетя Жень, мне-то всегда казалось, что я стараюсь держаться подальше от государства, а похоже, недостаточно далеко я держался.

— Как ты у нас в стране будешь подальше от государства? — ответила Женя. — Тут главное — не подальше от государства, а подальше от успеха.

— Подальше от успеха? — переспросил Валера. — Что мне, своих учеников надо было плохо учить, что ли? — Он замолчал, и больше они никогда не возвращались к этому разговору.

Но в остальном они жили дружно. Вскоре после того, как Валера переехал, Жене снова предложили работать сиделкой — она не задумываясь отказалась, объяснив, что устала, сил нет и возраст уже не тот. В этот момент она и поняла, что просто не

хочет уходить из дома, потому что после того, как в ее жизнь вернулся Валера, ей снова стало легко жить: она знала, что нужна ему. К тому же она неожиданно оказалась богаче племянника: за долгие годы у нее накопилось тысяч десять долларов, из тех самых денег, которые Валера ей когда-то давал.

Шли годы, и в Жениной жизни ничего не происходило. Подумав, она пришла к выводу, что так и должно быть: видимо, Бог, в которого Женя всегда верила в глубине своего сердца, освободил ее от хлопот, дав время подготовиться к последнему путешествию. Все земные дела закончены — ну, почти все, конечно: умри она — что будет с Валерой и Андреем? Они, конечно, голодать не будут, не те времена, но Жене кажется, если б не она, отец с сыном вовсе бы не встречались, созванивались бы раз в полгода, и все. А это неправильно. Своих детей у Жени не было, родители умерли давным-давно, но она всегда знала, что дети и родители должны держаться вместе. Она вспоминала тетю Машу и Олю, вспоминала, что Валера много лет прожил вдали от родителей, даже не писал им, — все это было неправильно. Теперь они умерли: тетя Маша, Володя, Оля — умерли, и ничего не исправишь. Даже если Господь, даруя вечную жизнь, дает возможность тем, кто любил друг друга, увидеться снова, родители и дети могут разминуться, если не были близки при жизни. И это, конечно, тоже неправильно: хотя бы там, на небесах, мы все должны снова оказаться вместе: Женины мама и папа, тетя Маша с мужем, Оля и Володя, его брат Борис и их родители, которых Женя даже не знала.

Поэтому Жене было рано умирать. Если бы не она, Андрей вовсе прошляпил бы главное событие года. Хорошо, что Женя позвонила еще в сентябре, спросила, какие у него идеи насчет отцовского юбилея.

— Ему что, в этом году шестьдесят? — спросил Андрей и растерянно добавил: — Как я мог забыть? Чего-то в последнее время память ни к черту.

— Рано тебе еще на склероз жаловаться, — прикрикнула на него Женя, — забывает он! Записывай тогда, если забываешь!

Вряд ли Андрей стал записывать, но, похоже, после Жениного звонка наконец-то взял себя в руки и включился в подготовку юбилея, да так, что Жене самой и делать ничего не пришлось: Андрей нашел подходящий ресторан, договорился с директором, которого, оказывается, давно знал, сам обзвонил всех гостей, выяснил, какая у кого диета, и согласовал меню. Валере оставалось только проверить список приглашенных и сказать, не забыли ли кого Андрей с Женей. Списком Валера остался доволен, попросил только вписать Иру.

— Позвони ей, сынок, — сказал он Андрею, — тебе, небось, не откажет. А у меня, наверное, последний такой юбилей, хотелось бы всех повидать.

— Чего уж там — последний? — разозлилась Женя. — Рано помирать-то собрался!

— Что ты говоришь! — возмутился Валера. — Я вовсе не про помирать! Ты свои семьдесят лет как отмечала? Дома с нами! Вот и я через десять лет вряд ли захочу большой праздник.

Женя с сомнением покачала головой: у нее-то к семидесяти почти никого из друзей в Москве не

было — одни умерли, другие остались в Куйбышеве, Грекополе или Энке. Проживи она всю жизнь на одном месте, как Валера, была бы совсем другая история. А Володя всю жизнь убегал, переезжал из города в город, и она вместе с ним. Хорошо прятался, никто не пришел его арестовать, смерть всех опередила, к ней, Жене, тоже скоро придет. Пусть только Бог даст ей время завершить начатые дела, а так-то она уже готова, хоть сегодня в путь.

Но сначала — Валеркин юбилей!

Валера тоже ждал юбилея. Десять лет назад, когда ему исполнилось пятьдесят, было не до праздников: едва он успел выпутаться из истории с долгами, доставшимися от ООО «Валген», как грянул дефолт, а за ним — кризис. Всю осень Валера сидел у компьютера, перезагружая страницу РБК со свежими котировками доллара, — к зиме немного отпустило, но людей по-прежнему видеть не хотелось. Что тут отмечать? Двадцать лет он был звездой — сперва звездой андерграунда, легендарным гуру Валом, потом президентом Центра духовного развития, которого интервьюировали все газеты и даже показывали по телевизору. А теперь он кто? Одинокий немолодой человек, живущий в квартире своей тети. Позор, да и только!

Теперь все по-другому. Во-первых, шестьдесят — хорошая цифра, полный круг жизни по восточному гороскопу. Во-вторых, мужчина, в шестьдесят лет живущий со старой женщиной, которая его фактически вырастила, — не неудачник, а заботливый, ответственный человек. Тут нечего стыдиться, даже наоборот.

Но главное, конечно, то, что Валера снова чувствовал себя звездой, на этот раз — звездой интернета.

По большому счету он открыл для себя всемирную паутину только в 1998 году. Конечно, до этого у него был имейл — точнее, имейл был у ООО «Валген», и пользовалась им преимущественно очередная Настя или Лика, а сам президент Центра духовного развития в интернет даже не заглядывал. Но в кризис Валера присоединил к интернету спасенный от кредиторов ноутбук, чтобы вживую наблюдать, как растет рублевое выражение его не таких уж больших долларовых накоплений. Так, начав со страницы РБК, Валера постепенно обнаружил, что почти всю информацию, собранную им за годы эзотерических поисков, можно найти за пять-десять минут. Он стал проводить в сети все больше времени, оставляя ехидные комментарии на форумах и заводя себе новых друзей и врагов. Он застал зарю ЖЖ и даже завел себе там аккаунт, но потом решил, что серьезно работать можно только на собственной площадке. К этому времени у Валеры уже созрел план персонального блога, объединявшего юмор, эротику и ту часть эзотерики, которой он был готов поделиться с непосвященными. В ЖЖ он встретил одну свою бывшую ученицу и, догадавшись из ее комментариев, что она работает в IT, попросил помочь с технической частью. На то, чтобы завести домен, поставить на него движок и научиться им пользоваться, ушло несколько месяцев, и зимой 2002 года Валера Дымов запустил свой блог, который оставался почти никому не известным, пока на него не наткнулся

случайно один популярный блогер. Когда он перепостил оттуда текст, объясняющий эзотерический смысл японского хентая, Валерин блог на целую неделю возглавил топ «Рамблера» в разделе «Мистика и эзотерика». Так Валера обзавелся небольшой, но верной до фанатизма группой постоянных читателей, для которых еще через год запустил на своем сайте специальный закрытый раздел, где публиковались материалы, не предназначенные для широкого распространения.

Теперь Валера проводил в интернете по десять-двенадцать часов в день. Постепенно на сайт стали стягиваться старые ученики гуру Вала, помнившие его еще с начала восьмидесятых, а также посетители Центра духовного развития, уже несколько лет как бесславно прекратившего свое существование. Никто из посетителей не знал, сколько на сайте закрытых разделов, и однажды на форуме Валера прочитал, что их должно быть двадцать два, по числу старших арканов Таро. Идея ему понравилась, и, решив ее реализовать, он вот уже полгода придумывал систему онлайн-инициации, позволяющей разделить адептов на группы, каждой из которых будет дан доступ к одному или нескольким из двадцати двух секретных разделов. Все было почти готово, Валера решил объявить об обновлении системы в свой юбилей, — и это была еще одна причина его ждать.

Поздравить юбиляра пришло человек сорок. Оглядывая полный зал, Валера с усмешкой думал, что ресторан не вместил бы желающих, объяви он адрес на сайте. Но сегодня здесь почти нет уче-



ников, только старые друзья — действительно, кстати, старые, если учесть, что многих он помнит с раннего детства. Вот Валерин бывший тесть Игорь Станиславович, как-то осунувшийся за последние годы, но, как всегда, в дорогом костюме, кожаных туфлях и с золотыми часами на запястье. А вот Леня Буровский, совсем седой, но с тем же пони-тейлом и в тех же линялых джинсах, словно постаревший калифорнийский хиппи. А кто это с ним рядом? Наташа, Наташа, иди сюда, ты разве не хочешь меня поздравить?

Наташа подходит, одной рукой опирается на палку, в другой несет пластиковый пакет. Видно, что каждый шаг дается ей с трудом, и она краснеет от натуги, как в молодости краснела от смущения.

Андрей просит тишины, дважды хлопнув в ладоши. Повернувшись к Валере, Наташа говорит:

— Господин президент, достопочтимый гуру Вал, милый Валера, дорогой друг! Мы знакомы с тобой уже столько лет, что можно считать — знакомы с прошлой жизни! Сегодня, когда ты завершаешь свой шестидесятилетний круг, я хочу сделать тебе подарок, который напомнит о том, с чего началось твое восхождение к вершинам тайного знания.

Наташа с трудом лезет в пакет и достает оттуда темно-синюю папку. Не может быть, неужели та самая?

— Да, это тот дурно переведенный самоучитель по йоге, который Леня Буровский взял у меня тридцать с лишним лет назад. Он принес его тебе, и с этого, как мы помним, все и началось.

Все аплодируют. Валера берет папку, развязывает тесемки — да, так и есть! Боже, до чего ж слепой

шриффт, как он это вообще читал, а? Уму непостижимо!

Валера подходит к Наташе, обнимает ее и целует в обе щеки.

— Ладно тебе, — говорит она, — поцелуй уж по-нормальному, старый негодник, я этого, может, тридцать лет ждала!

Они целуются, и сквозь восторженные крики Андрей слышит недовольной *пфф!* и следом — отрывистый, лающий кашель. Обернувшись, он видит маму. Ира стоит чуть в стороне, держась обеими руками за спинку стула.

— Мама! — говорит Андрей. — Спасибо, что ты пришла!

Ира пожимает плечами и нервно смеется:

— Не за что. Я думаю, здесь и без меня шлюх хватает.

Один за другим гости произносят тосты, кто-то вручает Валере подарки, большинство просто желают «еще столько же» и вспоминают минувшее.

— Ты что-то плохо выглядишь, — говорит Андрей матери. — У тебя все в порядке?

— Когда у меня все было в порядке? — отвечает Ира и снова кашляет. — У меня все как обычно, ничего особенного.

— Сходила бы ты к врачу, — говорит Андрей. — А то я за тебя волнуюсь.

Ира опять пожимает плечами.

Подходит Леня Буровский, благодарит Андрея за то, что всех собрал, и вообще — за прекрасный праздник.

— Да я-то что? — отвечает тот. — Мне кажется, папа объявил бы — пол-Москвы бы тут было.

— Ну, пол-Москвы — это ты хватил, — смеется Буровский, — но народу бы еще больше пришло, это точно.

На мгновение Андрей задумывается, а потом, не удержавшись, произносит:

— Дядя Леня, вот давно хотел спросить... Вы папу знаете почти всю жизнь. Вот эта вся фигня, которой он занимается, — это серьезно или так, шарлатанство?

Буровский смеется:

— Отличный вопрос для юбилея, ничего не скажешь!

Андрей виновато улыбается — мол, извините, вырвалось, давайте забудем. Но, отсмеявшись, Буровский говорит:

— Да нет, мне кажется, это у него серьезно. И не только потому, что он сам в это верит, — я кучу людей встречал, которым он сильно помог своими практиками. И со здоровьем, и вообще...

— Спасибо, — кивает Андрей, но все уже рассказываются, не обращая внимания на заготовленные таблички. Андрей оказывается за столом напротив импозантного седовласого мужчины.

— Марк Семенович, — представляется тот. — А вы, как я понимаю, Андрей? Читал ваши статьи когда-то, очень интересно и талантливо.

— Спасибо. А вы, простите, чем занимаетесь? Ну, или чем занимались? — поправляется он.

Марк Семенович смеется:

— Нет-нет, все нормально, я еще не на пенсии! А занимался я много чем, был и геологом, и бардом, и физиком, даже бизнесом занимался, а теперь вот директор школы.

— Очень интересно, — говорит Андрей. — А как это вас в школу занесло, простите за вопрос?

— Ну, в начале девяностых мы с друзьями решили проверить несколько наших образовательных идей, с этого все и пошло, а потом, конечно, затянуло, не оторваться. Уже пятнадцать лет директорствую.

Кто-то стучит вилкой по бокалу. Андрей извиняется и пытается взять управление в свои руки:

— Тише, тише!

В дальнем конце стола поднимается бабушка Даша.

— Дорогой Валерик, — говорит она, — мне нечего тебе пожелать, все у тебя есть... Впрочем, нет, кое-чего не хватает, и не только тебе, а всем нам. В этот торжественный день я желаю тебе поскорей стать дедом!

Аплодисменты, хохот, краска заливает щеки Андрея — скорее от злости, чем от смущения.

— Ну, это не от меня зависит, — отзывается Валера, — это к Андрюше. Сынок, что же это такое: девушки у тебя есть, а внуков у меня нет? Как же так? Может, кто на подходе, а ты скрываешь?

Последние два года, после Зары, у Андрея не было ни одной девушки, поэтому он отвечает, с трудом сдерживая раздражение:

— Знаешь, папа, есть такая штука — презерватив. Против СПИДа и заодно — против детей.

— Сынок, — говорит Валера, — как хорошо, что ты рассказал мне об этом только сейчас! Узнай я раньше — тебя бы здесь не было!

Зал взрывается хохотом. Очень смешная шутка, думает Андрей. Ответить, что ли, — мол, если так, страшно представить, сколько у меня братьев

и сестер, учитывая твою, папа, образ жизни? Ладно, не сегодня... все-таки праздник.

Все разойдутся поздно вечером, Андрей заплатит по счету, довезет отца и бабушку Женю до дома и отправится к себе в Коломенское. Перед ним — река красных огней, над ней — редкие новогодние украшения. Вот кризис добрался и до нас, подумает Андрей, доллар на неделе опять скакнул. Впрочем, сбережений у него нет, бояться нечего.

Он придет домой за полночь, нальет себе виски, кинет в стакан лед, включит компьютер. Ну, еще один день закончен, вот и слава богу.

В папке *Inbox* будет два письма, одно по работе, другое от Ани. Когда-то Анины письма сводили его с ума, а сейчас... Андрей сделает глоток и, помедлив, откроет имейл. Все как всегда: новости американской политики, подробный пересказ Сашиних планов на Кристмас, жалобы, что Леночка совсем не хочет читать по-русски... и только в самом конце Аня напишет: «Милый Андрей, возможно, это глупо, но мне пришла в голову одна идея. Ты не согласишься хотя бы пару раз в месяц позаниматься с Леночкой по скайпу? Ты всегда так интересно рассказывал про книги, вдруг тебе удастся увлечь ее русской классикой?»

Вот еще, подумает Андрей, потом допьет виски, поставит на стол пустой стакан и откинется на спинку кресла. Сколько лет этой Леночке? Одиннадцать? Двенадцать? Какую, спрашивается, русскую классику можно читать в этом возрасте? Разве что Хармса... да и тексты у него как бы простые, читается легко... интересно, интересно... а если XIX век? Ну-ка,

ну-ка... сам-то я что читал? Надо бабушку Женю спросить, хотя, может, и так вспомню...

Андрей встает и идет к дедовскому книжному шкафу.

— Что у нас тут? — спрашивает он и открывает тяжелые дверцы.

Он уже знает, что согласится.

## 11

Пасмурным мартовским днем Ира, которую теперь все чаще называют Ириной Игоревной, идет между полок супермаркета, толкая перед собой тележку: бутылка итальянского вина «Монтепульчано», круглая коробка французского сыра камамбер, упаковка испанской ветчины хамон. Магазин заполнен радостно гомонящей, возбужденной толпой: то ли закупаются к праздничному уикенду, то ли готовятся отмечать сегодня вечером всем офисом — у одной Иры нет никаких планов, ни гостей, ни вечеринок, уж точно — никаких отмечаний на работе: никогда она не хотела ходить на службу, да никогда, собственно, и не ходила.

Какая еще служба, какая работа? Некогда было, жизнь ведь такая быстрая, стремительная, зима на Домбае, лето в Сочи, бархатный сезон в Коктебеле... редкие наезды в Москву, а там только и помнишь ночные такси, ресторан ЦДЛ, «Метрополь», «Националь», мастерские художников, гримерки театров, орудия трибуны на бегах, хрусткие купюры в кассе... только успеваешь бросать в чемодан платья, джинсы и широкие свитера, переезжая из

квартиры в квартиру, сбегая от одного мужчины к другому. Галерея лиц застойной Москвы: знаменитый центрфорвард, способный молодой актер, эстрадный гитарист из «Москонцерта», композитор, входящий в моду, пройдошистый антиквар, известный фарцовщик... В семидесятые и восьмидесятые Ира знала *всю Москву*, она гуляла, пила и спала с теми, кого сегодня иногда вытаскивает из полутьмы полузабвения «Караван историй», — и на страницах журнала глаз цепляется за тусклый любительский черно-белый снимок: фирменный прикид, который некому уже оценить, дурашливые улыбки, счастье давно прошедшей молодости, мужская рука уверенно лежит на бедре худощавой светловолосой красотки, обозначенной на подписи как «...и неизвестная девушка».

Порвав с очередным любовником, приезжала к отцу, он качал головой, повторял: «Ира, Ира, что же ты с собой делаешь! Ты же ребенка совсем забросила! А мальчику ведь нужна мать!» — а она передергивала худыми плечами, кривила яркие губы, говорила: «Да я его видела в прошлом месяце, все у него хорошо, дай мне лучше денег, я себе квартиру сниму, не буду же я с вами жить!» И отец, вздохнув, уходил в кабинет и возвращался с пачкой купюр — а куда бы он делся, когда он ее, Ирину, квартиру подарил Валерке, а тот устроил там свой притон! Вот никогда Ира не могла понять, как так вышло: Валера спал со всеми подряд, а родители все равно считали шлюхой ее? Мама так и говорила: «Из-за того, что ты ведешь себя как шлюха, у папы могут быть неприятности!»

Неприятностей не случилось — случилась перестройка, и всем стало без разницы, чья дочь с кем

спит. Похоже, даже слово «шлюха» перестало звучать оскорбительно, и во время Ириного очередного вынужденного визита в родительскую квартиру мама сказала: «Знаешь, может, ты и правильно жила все эти годы... я вот твоему отцу никогда не изменяла — и что теперь?» А что теперь? Папа зачем-то занялся бизнесом, приватизировал на себя какой-то завод в провинции, пропадал там неделями, ну и понятно, что мама себе представляла: бани, девки... «Да отцу седьмой десяток пошел, что ты себе выдумываешь, какие бани!» — отвечала Ира, хотя, конечно, знала: мужики и на седьмом десятке все такие же кобели, как на третьем или четвертом. Но папа, кстати, никогда не был по этой части — наверно, в самом деле мама зря себя растравляла, лучше бы следила за собой, а то растолстела так, что смотреть страшно.

А вот Ира в свои сорок оставалась худой, поджарой, загорелой... и, несмотря на заполнивших Москву жадных провинциалок с длиннющими ногами и пятым размером, всегда находились мужчины, которые прежде всего ценили в женщине стиль, а Ира умела присесть у стойки с сигаретой, зажатой между тонкими пальцами, небрежно перекинуть ногу на ногу, выпустить из ярко-алых губ полупрозрачную струйку... а потом ночное такси уносило ее в следующий клуб, только недавно открытый кем-нибудь из старых знакомых. «Эрмитаж», «Белый таракан», «Пилот»... Хорошее было время!

Длинная очередь в кассу, перед Ириной Игоревной — двое молодых парней, темные в полоску костюмы, тележка до краев набита едой и бухлом.

— Главное — не забывать им подливать, — говорит один.



Второй кивает:

— Помнишь, на Новом году?..

Оба смеются.

Новое поколение, офисные клерки. Ира смотрит неприязненно. Похоже, у них не было молодости, сразу отправились штурмовать карьерные лестницы госкорпораций, нефтяных компаний и юридических фирм. Те, кто постарше, успели позажигать в *First* и «Дягилеве», но два года назад кризис крепко прошелся по московским клубам, так что вот этим не достанется настоящего веселья... даже когда они наконец разбогатеют.

Ира надсадно кашляет, закрывая рот ладонью. Молодые люди оборачиваются:

— Женщина, проходите, мы вас пропустим, — предлагает тот, который вспоминал Новый год.

Ира сдержанно улыбается. Как так случилось, что она теперь не знает — ее пропускают потому, что хотят познакомиться, или потому, что считают старухой? Ну да, когда ей было тридцать, женщины за пятьдесят тоже казались ей старыми.

Похоже, коротко стриженная блондинка-кассирша заранее приготовилась к празднику: пухлые губки обведены темной помадой, накладные ресницы почти достают до бесцветных тонких бровей, расписанные ногти такой длины, что непонятно, как она только попадает по клавишам... а, неудивительно, что касса зависла. Прекрасно!

Ира раздраженно вертит в руках кредитку. И долго еще тут стоять?

— Можно побыстрее? — спрашивает она и отрывисто кашляет.

Кассирша привстает и кричит: «Оля, Оля, опять!» Перед глазами Иры мелькает белесая полоска незагорелой кожи, колечко в пупке... теперь у любой козы в супермаркете пирсинг, тьфу!

— Не надо тогда карточки, — говорит Ира, — вот, возьмите кэш, потом пробьете, я же не буду стоять здесь весь день!

— Не кричите на меня, женщина! — огрызается блондинка, — я не могу вас обслужить без чека!

И Ира, перекрикивая собственный кашель, отвечает, что еще как можно без чека, и не надо мне хамить, тоже мне, развели здесь совок, вот, вот вам, и сдачу можете себе оставить! — и она пихает купюры кассирше, девушка отталкивает их и орет куда-то в сторону выхода: *Леша, давай сюда, здесь какая-то чокнутая!* — а Ира швыряет деньги прямо в размалеванное лицо, и полный мужик в камуфляже, охранник Леша, уже бежит, и покупатели расступаются перед ним, а кассирша воеет: *она меня ударила!* — хотя вовсе Ира не хотела ее ударить, только задела, когда пихала купюры, но пухлые губки действительно вздуваются кровоподтеком, что, сучка, отпраздновала Восьмое марта? прощай-прощай твой праздничный вид! — и тогда Ира отталкивает тележку, хочет выйти — да я вообще ничего не буду покупать в вашем гребаном магазине! — и охранник хватает ее за локоть: *женщина, покиньте магазин, пожалуйста!* — а Ира стряхивает его руку — я и так ухожу, не трогайте меня! — и гордо шествует прочь, и тут предательски звонит телефон, она отвечает: *алле!* — и голос в трубке спрашивает: «Ирина Игоревна, вам удобно сейчас говорить?» — спрашивает с таким участием, что Ира сразу понимает: сейчас ей

скажут то, о чем она и сама давно знала, просто не хотела, не хотела, не хотела, чтобы это оказалось правдой.

Когда Андрей думал о Леночке Лифшиц, он представлял себе молодую Аню, которую встретил у деда два десятилетия тому назад. Конечно, она на четыре или пять лет младше, но Андрей представлял те же густые брови, каштановые волосы и мягкие, плавные черты лица. Простые компьютерные программы позволяют состарить фотографию, создавая портрет человека через десять или двадцать лет, и в голове Андрея работала такая же программа, омолаживавшая на пять лет юное лицо его первой и единственной любви.

Свою будущую ученицу Андрей называл про себя Леной Лифшиц, хотя знал, что никакой Лены Лифшиц не существует, девочку, с которой ему предстояло заниматься, звали *Ellen Shcheglov*. Аня еще в самом начале их переписки рассказала, что хотя сама и отбилась от Сашиной фамилии, не смогла спасти дочку от невнятного шипения русского «щ» и четырех согласных в английском спеллинге: эс-эйч-си-эйч... простите, так эс-эйч или си-эйч? А, и то и другое! О'кей, а как это произносится? Шчеглов?

Эллен Щеглов оказалась нескладным американским подростком. Густые каштановые волосы в самом деле присутствовали, но черты лица выдавали генетический вклад Аниного мужа, а манера пожимать плечами и кривить губы свидетельствовала не то о независимом американском характере, не то об обычном подростковом протесте, которые Андрей не успел застать у ее матери. Впрочем, во-

преки опасениям, русский у девочки был вполне сносный, акцент почти не ощущался, и даже все определения правильно согласовывались с существительными по роду и числу.

Как и планировал Андрей, они начали с Хармса. Когда-то Леночка читала его детские стихи и с легким презрением ожидала получить еще одну порцию милых историй про кошек, летающих на воздушных шариках, или мальчиков, которым не достается чая из самовара. Вместо этого Андрей атаковал ее странными «Случаями» и пугающими стихами о голоде, а потом добил жутковатой «Старухой», прозвучавшей для растерянной Леночки гимном отчаянию и безнадежности. Соппротивление ученицы было сломлено, и тогда Андрей смог приступить к настоящей работе. Не имея опыта преподавания, он на ходу изобретал собственную методику: чередуя творческие задания («опишите жизнь вашего города в том стиле, в котором Хармс описывал Ленинград») и подробные экскурсии в тексты, повлиявшие на Хармса или с ним связанные, Андрей за несколько занятий развернул перед своей ученицей завораживающую панораму мировой литературы, в центре которой возвышались знакомые горные хребты школьной классики, а ближе к горизонту клубился первозданный хаос и пропадала зыбкая грань, отделяющая абсурдные и бессмысленные тексты от мистических откровений.

Вероятно, морально готовясь к первому уроку, Лена думала, что с ней будут говорить о России, русской культуре и русском языке. Из любви к родителям она готова была потратить сколько-то времени на изучение их *heritage*, культурного наследия, но

Андрей бросил ее в мир литературы — не русской литературы, а литературы вообще. Этот мир оказался куда интересней, чем Лена считала раньше: после нескольких месяцев занятий Аня написала Андрею, что слышала, как дочка объясняла однокурсницам, что какое-то фэнтези очень крутое, потому что основано на «Потерянном рае» Мильтона.

Андрей к тому времени заметил, что к нему вернулось то, за что он любил журналистику своей юности: он рассказывал о том, что было ему интересно, вскрывал связи между разрозненными явлениями и текстами, учился говорить на языке, который понимал его собеседник. Но тут результат был виден сразу: иногда Лена загоралась и предлагала идею за идеей, иногда внимательно слушала, иногда вежливо скучала, и через несколько недель Андрей понял, что с нетерпением ждет очередных онлайн-встреч.

Постепенно они добрались до классической русской литературы, той самой, которую проходят в школе и которую Женья читала ему в детстве. Выяснилось, что Андрею проще говорить о Хармсе, Зощенко или Платонове, чем о Пушкине или Толстом: русские классики всегда были для него частью внутреннего ландшафта, он не открыл их, будучи взрослым, а получил так, как дети получают родной язык, — в том счастливом и невинном возрасте, когда все новое усваивается легко, без усилий и рефлексии.

Теперь ему предстояло передать этот дар девочке-подростку, выросшей в другой стране и другой культуре, и, значит, самому надо было заново осмыслить то богатство, которым он обладал почти с рождения. Простым решением было бы самостоятельно пройти краткий курс филфака, проштуди-

ровав два десятка классических работ Эйхенбаума, Тынянова, Томашевского и других, но в глубине души Андрей по-прежнему гордился тем, что умеет выбирать нехоженые тропы, и потому одной весенней ночью 2009 года он исследовал онлайн-сообщество «Литература в школе». Здесь родители замученных учителями подростков пытались хоть как-то разобраться, чего же требует от их детей школьная программа: они выкладывали сканы сочинений, израненных красной учительской ручкой, сравнивали списки дополнительной литературы и обсуждали сравнительные характеристики литературных героев. Андрей не мог оторваться, это было очень страстное чтение: родительские посты сочились кровью, желчью и слезами. «Как запомнить все стихотворные размеры русского стиха?», «Неужели нужно прочесть все книги, упомянутые в “Евгении Онегине”, чтобы получить пятерку?», «Что означает *Расставьте главы “Героя нашего времени” в хронологическом порядке?* А в каком порядке они стоят у Лермонтова?» — и, наконец, вопль матерей всех времен: «Кто-нибудь может объяснить, что она хочет от моего сына?»

Так прошла вся ночь, наступил холодный весенний рассвет, а Андрей все еще яростно выстукивал комментарии. Выяснилось, что он не просто знал почти все ответы, — он понимал внутреннюю логику вопросов. Временами логика эта казалась Андрею странной и дикой, временами чем-то напоминала пресловутый журналистский «формат», но она была прозрачной, как воздух за окном.

В шесть утра, с трудом оторвавшись от компьютера, Андрей вышел на балкон. Щелкала и клекота-

ла неизвестная птица. Пустой двор был залит призрачным утренним светом. Андрей, перевозбужденный и не спавший всю ночь, увидел повешенную на толстой ветви тополя женскую фигуру. Она была закутана в белый саван, покрытый черным бисером слов, и струйки крови — или красных учительских чернил? — стекали по ее голым мертвым ногам.

Это был труп русской классики, до смерти замученной на школьных уроках.

Андрей потрянул головой — видение, как и положено видению, исчезло.

Дрожащей рукой Андрей прикурил сигарету. «Знаю ли я теперь, как говорить с Леной о Пушкине?» — спросил он себя и ответил: кажется, не совсем.

Зато этой ночью Андрей узнал другое: то, что делали с русской литературой в школе, — чудовищное преступление, и это знание заставило его все-таки обратиться к Эйхенбауму, Тынянову и другим. Но прежде чем Андрей успел прочитать все, что сам себе наметил, на него посыпались просьбы от участников «Литературы в школе»: они просили помочь подготовиться к ГИА девятиклассникам, опрометчиво выбравшим литературу. Поколебавшись, Андрей ответил, что не готовит к экзаменам, но в сентябре готов попробовать научить детей понимать и любить русскую классику.

В конце концов, если у меня получается с Леной по скайпу, подумал он, почему не получится с живыми учениками? Если, конечно, найдутся дети, которым нужно не сдать экзамен, а понять и полюбить литературу.

Такие дети нашлись. Сначала их было трое, потом пятеро. Когда Андрей первый раз усадил их за

тот самый стол, за которым дед когда-то пытался учить химии его и Аню Лифшиц, ему показалось, что в темном вечернем стекле промелькнула дедова улыбка — воздушная и невесомая, как у Чеширского Кота. Старик заметил и благословил, усмехнулся про себя Андрей укороченной цитатой. Глубоко вдохнул и начал рассказывать, как устроена «Шинель» Гоголя.

Сезон 2009–2010 года был, наверное, самым счастливым временем в жизни Андрея за много лет. Налаженная работа в журнале почти не отнимала ни сил, ни времени, зато, продолжая учить Леночку и других, Андрей заново открывал для себя русскую литературу XIX века. Раньше филологические работы его не интересовали, но теперь, когда он знал, что каждую можно так или иначе приспособить к преподаванию, он глотал их одну за другой, как в детстве — приключенческие романы. Покончил с русскими формалистами и надолго погрузился в московско-тартуские семиотические исследования, изредка выныривая, чтобы глотнуть спасительного воздуха традиционного литературоведения.

Так прошел весь год — в радостном возбуждении, в давно позабытом счастье открывать новое и делиться своими открытиями с другими. На волне неофитского филологического восторга Андрей сумел убедить коллег посвятить июньский номер журнала классической русской литературе. Несколько эссе написали бесстрашные современные авторы, не побоявшиеся поставить свои имена рядом с именами знаменитых предшественников; светские девушки



сфотографировались в образах Натальи Николаевны, Марины Ивановны и молодой Анны Андреевны, а Сергей Шнуров объяснил, что строчка про *покой и валю* – это намек на Шопенгауэра... и заодно отрекламировал бар «Синий Пушкин». Колонка главного редактора в этот раз завершалась словами: «Если отобрать у нас нефть, только литература и останется. Так что этот номер – наш вклад в то, чтобы Россия слезла с нефтяной иглы».

Сигнальный экземпляр доставили в последнюю пятницу мая. На обложке русские классики были изображены в виде модных хипстеров – Пушкин перекинул через плечо скейтборд, бороды Толстого и Достоевского выглядели словно только что из барбер-шопа, усы Гоголя и Лермонтова стали гуще. Пойти, что ли, в бар, отметить удачный номер, думал Андрей, разрывая целлофановую обертку. Он грустил: ставший для него за этот год таким привычным распорядок жизни – от субботы до субботы – был нарушен: на прошлой неделе ученики попрощались до сентября.

Зазвонил офисный телефон – секретарь попросил подняться в кабинет Главного Издателя, минилолигарха, финансировавшего журнал. «Хочет посмотреть номер?» – думал Андрей в лифте. Или скажет, что летом мы не будем выходить, потому что мало рекламы и надо резать косты?

Про косты Андрей угадал, про остальное ошибся: Главный Издатель с видимым сожалением объявил, что вынужден закрыть журнал. Я хотел еще два месяца назад все прихлопнуть, сказал он, вертя в желтоватых длинных пальцах сигнальный экземпляр последнего – в самом деле последнего! – но

мера, но мне ваша идея про русскую литературу понравилась. По-моему, стильно получилось. Достойный финал.

Андрей кивнул почти радостно. Так с облегчением вздыхает разоблаченный жулик, которому больше не надо прикидываться знаменитым путешественником или королем в изгнании. И пока Издатель рассказывал, какое щедрое выходное пособие он запланировал всей редакции, Андрей прикидывал, сколько времени у него освободилось и как его лучше потратить: прочесть комментированный набоковский перевод «Онегина» или, как было давно задумано, заняться XVIII веком.

Но первым, тоже давно запланированным, делом был визит к Ире. Андрей не видел маму с прошлого лета. Месяц назад позвонил поздравить с днем рождения, мамин голос показался усталым, и Андрей пообещал — скорее себе, чем ей, — что обязательно зайдет на днях. Затянул, конечно, безбожно, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Ирина Игоревна снимала просторную двушку в тихом московском центре. Андрей знал, что за квартиру платит дед и он же оплачивает дочери водителя и медицинскую страховку. Наличных денег Игорь Станиславович старался Ире по возможности не давать, и потому Андрей предложил маме помощь, но Ира, передернув худыми плечами, отказалась.

— Мне хватает, — сказала она и закашлялась.

Мамин кашель давно уже не нравился Андрею. Он хотел отвести ее к врачу, но так увлекся своим преподаванием, что просто взял с матери обещание обязательно сходить в страховую поликлинику.

ку, к которой она была приписана. И вот сейчас, слушая из-за двери надсадный кашель, Андрей со стыдом думал, что даже не спросил маму, сдержала ли она слово.

Ира открывает, Андрей шагает в темную прихожую. Мамин худой силуэт выделяется на фоне ярко освещенного проема большой комнаты. По-моему, мама еще больше похудела, думает Андрей, идя следом, и только в гостиной видит: не только похудела, вся осунулась, кожа неприятно пожелтела.

— Что-то ты плохо выглядишь... — говорит он, а Ира садится в кресло, нервно закуривает и передергивает плечами, но этот жест, такой знакомый, сегодня получается как-то жалобно и жалко. Андрей качает головой: — Ты к врачу-то ходила?

Ира кашляет и прижимает ко рту платок. Скомкав, прячет в карман, но Андрею кажется, он различает на ткани неприятные бурые пятна.

— Что это с тобой, мам?

Ира опять дергает плечами и потом все-таки отвечает:

— Да ничего особенного. Ерунда какая-то... — И после паузы добавляет: — Но вообще-то рак легких.

Андрей вскакивает, кричит:

— Мама, что же ты не говорила! Это же надо быстро что-то делать! Ты хоть знаешь, какая у тебя стадия? У тебя есть хороший врач? Если нет, я найду, я всех в Москве знаю! Или даже не в Москве... можно отправить тебя в Германию, в Израиль...

Он стоит посреди гостиной, машет руками, а мама раз за разом дергает плечом, кусает сухие губы и говорит только:

— Четвертая.

— Что «четвертая»? — переспрашивает Андрей и холодеет. — *Четвертая стадия?*

Ира кивает, и Андрей опускается перед ней на пол, берет за руки — такие желтые и сухие, это что же, метастазы в печени, что ли? — и шепчет:

— Мам, ну почему ты мне раньше не сказала?

И тут Ира вцепляется ему в ладонь и тихо отвечает:

— А зачем? Ты-то мне чем поможешь?

— Ну, я же говорю... врачи, лечение... обезболивающее, в конце концов... у тебя что-нибудь болит?

Боже мой, вспоминает Андрей, я же читал, что сейчас какие-то сложности с лекарствами, наверняка их не выписывают нормально, надо будет как-то доставать... никогда не думал, что это меня коснется.

— Ничего у меня не болит, — отвечает Ира, и нервная улыбка раздвигает углы ее рта. — Чего-чего, а хороший стаф я всегда в Москве найти умела.

— В каком смысле? — спрашивает Андрей, Ира хихикает в ответ, и он внезапно замечает, что зрачки у нее совсем крошечные. Он начинает: — Мам, но ведь это же не... — и осекается: в самом деле, какая разница — обезболивающее или какие-нибудь наркотики, если уж четвертая — боже мой, четвертая! — стадия.

Но все равно зуд брезгливости пробирается вдоль по позвоночнику: надо же, все девяностые как мог избегал наркоманов, а тут собственная мать...

— Мы что-нибудь придумаем, — говорит он твердо, но сам себе не верит: что тут можно придумать?

От матери Андрей сразу едет к деду. С их последней встречи Игорь Станиславович еще больше похудел, лысый череп обтянут морщинистой кожей.

Даже вечером, дома, он в костюме и при галстукe. Дождавшись, пока бабушка Даша, с трудом переваливаясь с боку на бок, уйдет ставить чай, Андрей шепчет ему: мама... рак легких... четвертая стадия.

Глаза у Игоря Станиславовича вспыхивают.

— Доигралась! — гремит он. — Ты слышишь, Даша?

Потом они сидят на огромном кожаном диване, бабушка плачет, а дед чеканит:

— Никаких лекарств, никакой химии! Только нетрадиционная медицина. У меня есть контакты одного мужика из Сибири — по телевизору показывали, он знаешь сколько людей вылечил? Травяные настои и молитва! Это — лучшие лекарства! Наши предки никакой химии не знали, а жили до ста лет!

— Что ты несешь? — вмешивается бабушка. — Ты же сам химик! Что значит — химии не знали? А что они знали? Алхимию? Астрономию?

Дед кричит что-то в ответ, и Андрею больше всего хочется убежать, но он еще битый час объясняет, что надо срочно показать маму нормальным врачам, может, отправить в Германию или Израиль, но в результате так и уходит ни с чем и по дороге домой разворачивается и едет к бабушке Жене и папе, хотя уж если даже дед начал про молитву и травяные настои, от папы точно не приходится ждать ничего осмысленного. Но как раз наоборот, Валера ни слова не говорит про шаманские практики или Карлоса Кастанеду, а очень деловито роется в записной книжке и находит телефон своего ученика, очень хорошего онколога, и, конечно, Андрюша, еще не поздно ему звонить, по такому-то поводу! — и уже на следующий день Андрей везет маму в онкоцентр, захватив все выписки и результаты анали-

зов, а до этого он всю ночь просидел в интернете и поэтому уже знает, что «карбоплатин» или «цисплатин» надо комбинировать с «паклитакселом», «этопозидом» и прочими препаратами, но лучше все-таки лекарства нового поколения — «бевацизумаб», «цетуксимаб» или «гефитиниб», и вот про них надо обязательно не забыть спросить, сколько бы они ни стоили, благо с деньгами у Андрея сейчас все нормально, спасибо Главному Издателю.

Деньги, на самом деле, все равно дает Игорь Станиславович, за одну ночь счастливо распрощавшийся с идеями нетрадиционной медицины. Впрочем, Ира в самом начале первого курса химиотерапии устраивает истерику, а потом, внезапно успокоившись, твердо говорит, что она лучше умрет на пару месяцев раньше, чем будет травить себя этой гадостью.

— Ну мама, — спрашивает Андрей, чуть не плача, — хоть что-то я могу для тебя сделать? Если хочешь, я договорюсь в хосписе, говорят, там...

Ира накрывает его руку своей, худой, желтой и страшной.

— Андрюша, — говорит она, — не нужно мне никакого хосписа. Мои лекарства мне домой привозят. Я не была тебе хорошей матерью и сейчас ничего не хочу у тебя брать.

— Мам, ну что ты говоришь! — восклицает Андрей, а сам думает: «Это все дед, он вечно ее этим изводил!» — Ты прекрасная мать, мне другой не надо!

— Никакая я не прекрасная мать, — повторяет Ира, — я отлично это знаю. Я плохая мать, но я ведь ни о чем не жалею. Я всегда жила свою жизнь так, как хотела. Сама свою жизнь прожила — и сама свою

смерть встречу. Мне в этом помощи не надо. — И в лицо Андрею смотрят эти жуткие нечеловеческие глаза: почти исчезнувший зрачок, черные круги.

А потом черный дым накроев Москву, как тридцать восемь лет назад, и, надсадно кашляя, Ира будет глядеть на дневную мглу за окном и гнать от себя мысль, что, возможно, она никогда больше не увидит солнца. Пошатываясь, в ночной рубашке, болтающейся на совсем исхудавших за последние месяцы плечах, она попробует выйти на балкон и, только дойдя до окна, вспомнит, что в этой квартире никогда и не было балкона. Балкон — большая просторная лоджия — остался в родительской трешке, той самой, где когда-то она, перед тем как стянуть платье, успела улыбнуться молодому и красивому спортсмену, выпускнику Института физкультуры, ее первому проводнику по чудесной Москве, городу ее жизни. Да, тогда она выходила на этот балкон голой, затягивалась табачным дымом и шутила, что у нее такая маленькая грудь, что можно не стыдиться соседей, они все равно примут ее за мальчика, длинноволосого, по моде тех лет. Но на самом деле соседи просто не увидят ее, потому что над Москвой стоит горький торфяной дым и не различить ни прохожих на улице, ни соседних домов, и наверняка старушки говорят, что это предвестие конца света, и люди спешат в церковь, чтобы успеть исповедаться в грехах и помолиться о спасении, и Андрей приходит на службу вместе со всеми, повторяет за священником непонятные слова на старославянском, а потом, когда все закончено, опускается на колени где-то в боковом приделе, выбрав место

потемней, посеekretней, словно стыдясь своей молитвы. Он думает о маме, а Ира возвращается в кровать и делает себе еще один укол, и теплая волна подхватывает ее и несет, как когда-то Валера подхватил и понес, и они начали целоваться, кажется, еще до того, как он стянул с нее лифчик от купальника, под которым, если честно, вовсе нечего было прятать, с ее-то нулевым размером, и вот Ира вытягивается на кровати и, закрыв глаза, ждет, когда Валера поцелует ее снова, когда его крепкие руки обхватят ее трогательные худые плечи, и она зовет его: ну, где же ты? Ты меня не слышишь?

Услышь меня, Господи, шепчет Андрей, я редко прихожу к Тебе и редко говорю с Тобой, но я стараюсь жить так, как Ты велел. А если я не молюсь, так это только потому, что не хочу беспокоить Тебя пустыми просьбами, потому что вообще-то я счастлив в той жизни, которую Ты подарил мне и которую я стараюсь жить достойно. А что я грешил, так мои грехи никому, кроме меня, не причинили вреда, но даже если это не так и я недостоин Твоей милости, а заслужил лишь наказание за свои грехи, то ведь сегодня я пришел просить не за себя, Господи, а за рабу Божью Ирину, мою мать. Я был плохим сыном, Господи, но я всегда любил ее. Когда я был мальчишкой, мне было весело с ней, мне ни с кем не было так весело. Когда я вырос, я стал стыдиться ее, это время было такое... несколько раз мы встречались в ночных клубах, и она была... ну, она была пьяная и нелепая, и сейчас не надо вспоминать об этом, но Ты же все равно знаешь обо всем, поэтому я говорю: сегодня мне стыдно, что я когда-то стыдился собственной матери.



И когда Андрей произносит эти слова, он вдруг отчетливо вспоминает, словно и не прошло десяти с лишним лет: танцпол в «Пилоте», отплясывающая толпа, и тут луч света выхватывает молодую худую женщину, мини-платье в обтяжку, совсем мини, почти микро, видна даже кружевная резинка чулка, сапоги до колена, высокий каблук, сигарета в длинных пальцах... как же мне было весело, как было хорошо, думает Ира, и все мужики смотрели на меня, хотя там было полно молодых девчонок, длинные ноги, большие сиськи, но я была самой желанной, потому что у меня был стиль, потому что мне никогда ничего не нужно было от моих мужчин: ни денег, ни подарков — ничего, только любовь, только чтобы он меня обнял, чтобы я уткнулась носом в его грудь и ощутила губами, как перекачиваются его мышцы, и каждую из них он знал по имени — дельтовидная, большая грудная, клювовидно-плечевая — их учат этому в физкультурном институте, вот как здорово! — а потом я высуну голову и поверх его плеча буду смотреть, как клубится за окном торфяная тьма, и старый бордовый диван будет скрипеть под нами, и я закрою глаза, и меня унесет далеко-далеко...

Она умирает, Господи, шепчет Андрей. Раба Божья Ирина умирает, тело ее изъедено изнутри, печень ее разрушена, одно легкое уничтожено, другое справляется с трудом. Тело ее умирает, Господи, но душа ее стремится к Тебе. Она грешила, но не делала никому зла, она была самая добрая, самая красивая, она всегда вредила только самой себе, и вот теперь она умирает, Господи, и я прошу Тебя

только об одном: пожалуйста, пожалуйста, пусть она уйдет мирно, пусть ей не будет больно и страшно и пусть там, по ту сторону, ее встретят Твои ангелы, встретят и принесут ей прощение. Я прошу Тебя за свою маму, но я даже не знаю, была ли она крещена, думаю, что да, наверняка она крестилась лет двадцать назад, как и я, как много, много других, и, может быть, моя мама была лучшей христианкой, чем я, может, она не забывала приходить к Тебе и молиться Тебе... Боже мой, к чему я все это говорю, я же разговариваю с Тобой, а Ты лучше меня знаешь все, что случилось с моей мамой и что происходит с ней сейчас, и поэтому я ничего больше не буду рассказывать, я только прошу Тебя, пожалуйста, пожалуйста, пусть моя мама уйдет мирно, пусть ей не будет больно и страшно, я очень Тебя прошу...

И тут Ира закрывает глаза, и сперва под ее веками клубится заоконная тьма, а потом где-то в глубине зарождается светлое пятнышко, и постепенно все вокруг заливает этот прозрачный, молочно-белый свет, словно на старом недодержанном любительском снимке, и вот уже из этой белизны проступают две фигуры — стройный мужчина в костюме, так неловко на нем сидящем, и худенькая девушка в белом сияющем платье, и она обнимает его и смеется, а сильные мужские руки сжимают ее хрупкие плечи так, что перехватывает дыхание и она больше не может вдохнуть, не может дышать, нет, не может, но, конечно, вовсе не потому, что у нее уже почти не осталось легких, нет, — при чем тут это? — просто ей семнадцать лет, она счастлива и любима.

Зимний свет падает из окна. Женя стоит в дверях, и мужчина, сидящий за столом, выглядит темным контуром, почти тенью.

Она смотрит на склоненную коротко стриженную голову Андрея, и старое воспоминание опять возвращается, неотвратимое, до последнего сопротивляясь небытию.

Как он похож на Володю, думает Женя, а может, всему виной зимний свет за окном, такой же, как шестьдесят пять лет назад...

Она стоит на пороге кухни, и годы, разделившие эти два холодных и прозрачных зимних дня, кажутся набором смазанных картинок... а Женина жизнь описала полный круг и вернулась туда, откуда все началось в январе 1947 года.

Значит, вот для чего Господь задержал меня на этой земле, думает Женя, а мне-то, дуре, казалось — уже давно пора...

Женя никогда не любила Иру. С первого взгляда поняла: эта худая нервная девушка будет неверной женой и плохой матерью, да уж, довольно неудачный вариант для Жениных сына и внука, за что же ей такую любить? После развода на редких семейных встречах Женя не скрывала своей неприязни к Ире и даже на шестидесятилетии Валеры сказала: «Зачем ты только ее позвал? Весь вечер простояла в углу и только злобно кашляла», — но полтора года назад, когда серый дым, в который превратилось Ирино тело, растворился в нависшем над Москвой смоге горящих торфяников, Женю кольнула тре-

вога: неправильно, когда молодые умирают раньше стариков, а ведь Ире всего пятьдесят пять, это ей, Жене, восемьдесят! Самые близкие Жене люди, Володя и Оля, давно упокоились в земле Донского кладбища, а сама Женя бессовестно и беспричинно задержалась среди живых.

И тогда она начала готовиться к смерти. Каждую неделю ходила на воскресную службу, исповедовалась и причащалась, а потом молила Бога, когда придет время, указать ей путь, а если время еще не пришло — раскрыть, зачем Он так долго держит ее здесь.

Через полгода после Ириной смерти, так и не оправившись, умерла Даша, а следом за ней, спустя три недели, ушел Игорь — последний человек, знавший Женю в Куйбышеве, помнивший ее молодой. Возможно, где-то в Казани еще остался Гриша, но уже много лет Женя ничего не слышала о нем, так что, даже если он жив, вряд ли они увидятся.

Раз Бог не забирает меня к себе, значит, у него еще есть на меня планы, думала Женя и смотрела вокруг.

Валера? После ее смерти ему станет только легче, не придется заботиться ни о ком и можно будет не отвлекаться от интернет-жизни, неведомой и непонятной Жене.

Андрей? Женя слышит его по телефону раз в неделю и видит раз в несколько месяцев. После ее смерти в его жизни ничего не изменится.

Когда-то она мечтала о правнуке, но если даже у Андрея появится сын, у Жени больше нет сил полюбить его так, как она полюбила его отца и деда, и тем более нет сил растить его так, как она растила их.

Женя пристально вглядывалась, ища знак, который подскажет, зачем она все еще жива, и поэтому,

воскресным днем вернувшись из церкви, услышав голос Андрея и потом увидев его склоненную коротко стриженную голову, она сразу поняла: жизнь совершила круг, Господь задержал ее среди живых, чтобы привести сюда, на эту залитую холодным зимним светом кухню.

И потому Женя садится напротив Андрея и со вздохом спрашивает:

— Ну, рассказывай... что там у тебя случилось?

Полтора года назад, возвращаясь с похорон матери, Андрей вспоминал свой последний с ней разговор. Тогда Ира сказала, что всегда жила свою жизнь так, как хотела, и сейчас, похоронив ее, Андрей внезапно понял, что эти слова — единственное наследство, которое мама оставила ему.

«Так как я хочу жить? — спросил он себя. — Что я хочу делать?»

Конечно, Андрей знал ответ, но ответ этот был таким нелепым, что даже себе Андрей не сразу смог сознаться.

Он хотел учить детей.

Последние двадцать лет не было в России работы печальнее и унижительнее, чем учительство. Нищенские зарплаты девяностых, бесконечные и бессмысленные реформы двухтысячных... перекалцифицироваться из журналистов в учителя — трудно найти выбор нелепее и жалче. Даже модное слово «дауншифтинг» выглядело в этом контексте излишне оптимистичным: дауншифтеры хотя бы уезжают в теплые страны, и уменьшение их дохода прямо пропорционально длине белоснежных песчаных пляжей, где они проводят образовавшееся

у них свободное время, — а свободное время учителей полностью поглощает заполнение классных журналов и бюрократическая волокита.

Да и есть ли вообще люди, которые уходят в учителя из журналистов, дизайнеров, маркетологов, из новых профессий, еще недавно модных и все еще высокооплачиваемых?

Стоило Андрею задать себе этот вопрос, всплыло воспоминание... на отцовском юбилее он сидел за одним столом с пожилым, но бодрым мужчиной... бывший физик и бизнесмен, а теперь — директор школы. Вот кто ему нужен!

Андрей достал мобильный и набрал отца. Валера сразу откликнулся:

— Это же Марик! Я его сто лет знаю, еще с тех пор, когда он песни под гитару пел! Да, кажется, он все еще директор в этой своей школе. Сейчас договорим, найду его телефон и пошлю тебе эсэм-эской. Смело звони и ссылайся на меня — я уверен, он тебя помнит.

— Спасибо, пап, присылай, — ответил Андрей, а сам подумал: «Ну, я ведь могу и не звонить», — но через два дня уже сидел в кабинете у Марка Семеновича, а с первого сентября вышел на полставки учителем литературы старших классов.

В тот день на торжественной школьной линейке Андрей стоял вместе с другими учителями. Никто здесь его не знал, кроме директора, и Андрей чувствовал себя не в своей тарелке. Неуверенно оглядывался по сторонам, словно не веря, что он в самом деле больше не журналист, а учитель.

Ученики толпились во дворе, вовсе, похоже, не собираясь строиться в шеренги, привычные Анд-

рею по его школьным годам. Марк Семенович, неформально одетый в джинсы и легкий свитер, поднялся на крыльцо и произнес короткую речь о традициях и новаторстве. Ближе к концу он представил Андрея и сказал:

— Как и у многих из нас, ваших учителей, путь Андрея Валерьевича в эту школу был извилист и нелегок, но мы знаем, что часто именно из таких людей получают настоящие новаторы. Пожелаем же ему на этом прекрасном поприще удачи.

Все захлопали, Андрей улыбнулся и помахал рукой. Несколько старшеклассников ему ответили.

— Ну а теперь, — продолжал Марк, — еще несколько слов о традициях. Наш лицей — полностью светский, и здесь учатся дети самых разных религиозных взглядов — и даже атеисты! — Тут он воздел палец, а по двору прошелестел тихий смех. — Но, несмотря на это, в нашем светском лицее с самого его основания есть традиция: учебный год начинается с благословения. Я, как православный человек и как учитель, считаю, что школа должна быть отделена от Церкви, но эту традицию нам бы хотелось сохранить. Отец Владимир, пожалуйста!

Невысокий лысоватый священник вышел вперед, и, глядя на него, Андрей вспомнил, как месяц назад молил Бога о безболезненной кончине для рабы Божьей Ирины.

Мама, прошептал он, я надеюсь, ты сейчас видишь меня. Если так, я знаю, что ты радуешься: я поступил, как ты велела, и теперь я снова живу свою жизнь именно так, как хочу ее жить.

Работа в лицее оказалась для Андрея настоящим счастьем. Он уже знал радость преподавания, но за последние десять лет забыл, какое наслаждение — работать не одному, а с людьми, которыми ты восхищаешься и у которых можешь учиться. Несколько раз в начале его журналистской карьеры ему выпадала такая удача, но Андрей давно уже не рассчитывал, что это повторится.

За двадцать лет работы лицея Марк Семенович, или Марик, как называли его за глаза, сумел создать *уникальный педагогический коллектив*, одну из лучших рабочих команд, которые Андрей видел в жизни. Здесь до сих пор работали люди, решившие на исходе перестройки изменить систему детского образования и построить новую школу на основе принципов открытости и демократии. Разумеется, проект не реализовался полностью — прежде всего потому, что эти принципы были не слишком востребованы в окружающем мире, — и с каждым годом на лицей все сильнее давили извне, а школьная жизнь все больше регулировалась распоряжениями РОНО. От лицея давно бы ничего не осталось, если бы следом за энтузиастами не пришли профессионалы старой закалки, блестяще знавшие свой предмет и готовые работать в рамках любой педагогической системы — демократически открытой, по-советски идеологизированной или нынешней, бюрократически усложненной и непредсказуемой. Были, наконец, молодые учителя, большей частью выпускники лицея, вернувшиеся в альма-матер после своих университетов.

Сам Андрей не примыкал ни к одной из групп. Ему импонировал идеализм Марика и его друзей-



основоположников, он восхищался опытом и знаниями учителей-профессионалов, ну а к молодежи он был ближе по возрасту, к тому же среди них нашлись те, кто помнил его старые статьи времен бури и натиска. Среди них, к изумлению Андрея, был рыжеволосый очкарик Феликс, в свое время попавший к ментам вместе с Андреем и Ильясом. За прошедшие годы Феликс расстался с длинным хайром, но сохранил верность круглым очкам, вызывавшим теперь ассоциации не с Джоном Ленноном, а с Гарри Поттером. В лицее он преподавал математику, и весь сентябрь они делали вид, будто только что познакомились, пока, наконец, не выдержав, Андрей не сказал, прощаясь у метро: *Джа Растафрай, брат!*

Феликс засмеялся:

— А я думал, ты меня в самом деле не узнаешь!

Андрей работал на полставки и поэтому иногда мог прийти на уроки своих коллег. Так, слушая других учителей, он продолжил свое педагогическое образование, начатое чтением теоретических работ. Довольно быстро он понял, что для его работы недостаточно хорошо знать литературу — надо уметь удержать внимание аудитории, завоевывать авторитет и выстраивать отношения как с классом в целом, так и с отдельными учениками.

Первые месяцы Андрей не понимал, насколько удачно справляется. Спрашивал коллег, но те отмахивались и говорили, что ему нужна не их оценка, а оценка учеников. «Как же я ее узнаю?» — недоумевал Андрей, но в конце первого семестра всем школьникам раздали анкету, в которой они должны были оценить работу преподавателей. Это

была еще одна лицейская традиция, сохранившаяся с первых лет. Основоположники гордились ею, учителя-профессионалы считали популистским заигрыванием, а молодежь воспринимала как нечто само собой разумеющееся.

Результаты оглашались на новогоднем празднике в присутствии всех учителей и учеников. Выпускной класс поставил Андрею четверку с минусом, зато десятый вывел его в топ из трех самых высокооцененных учителей. Андрей и радовался, и недоумевал — почему так различаются оценки?

— К разным классам нужны разные подходы, — пожал плечами Марик. — С кем-то получается, с кем-то нет. Многие вообще считают, что эти отметки ничего не измеряют на самом деле, а важно только, как ученики усвоили материал. Я так не думаю, конечно, но... Да и вообще, четверка — тоже хорошая отметка, для первого года так просто превосходная. Продолжай работать — и все получится.

Андрей так и поступил, и в конце концов ему удалось исправить свой «минус»: в финальном майском опросе одиннадцатиклассники поставили ему твердую четверку.

Так прошел первый год в лицее, еще один счастливый год в жизни Андрея Дымова.

Наступила осень 2011 года, за ней пришла зима.

Несмотря на загрузку в лицее, весь прошлый год Андрей по субботам продолжал занятия со своей группой. Осенью 2011 года его ученики перешли в выпускные классы, поэтому в мае Андрей сказал, что хорошо поймет, если они решат сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ и экзаменам. К его

радости, осенью их покинул только один ученик, так что удалось сохранить вполне рабочую группу из четырех человек: три девочки и один мальчик.

Этот год Андрей решил посвятить русской литературе второй половины XX века, в том числе книгам, которые они с Аней еще до перестройки читали в самиздате. Первый семестр разбирали лагерную прозу — Шаламов, Солженицын, Домбровский, после Нового года Андрей планировал перейти к литературе семидесятых, и здесь у него буквально разбежались глаза.

В первую субботу декабря Андрей разделил группу надвое, устроив диспут: участники должны были собственными доводами подтвердить позиции Шаламова и Солженицына в их споре о том, может ли лагерь нести в себе позитивный опыт.

Поначалу все шло хорошо, Андрей, который любил исследовать связи русской и мировой литературы, радовался, что Света привлекла к дискуссии «1984», а Егор — «Чуму» Альбера Камю, но где-то в середине дискуссии он понял, что заболевает: в ушах шумело, глотать с каждой минутой становилось все больнее. С трудом дослушав диспутантов и присудив символическую победу сторонникам Солженицына и Камю, Андрей проводил ребят и рухнул в кровать. Он надеялся, что утром встанет здоровым, но посреди ночи проснулся от острой боли в горле. Не в силах даже говорить, он написал в школу имейл и три дня провалялся в полубреду, образы которого были, очевидно, вдохновлены недавней дискуссией: важной частью кошмара было даже не то, что в нем фигурировали крысы, а то, что Андрей никак не мог понять, из «Чумы» эти

крысы или из «1984». Во вторник он сообразил, что вряд ли придет в рабочую форму к субботе, и написал своим ученикам, отменив ближайшее занятие.

Однако чудесным образом уже на следующий день болезнь пошла на спад. В пятницу Андрей, хотя и сипел по-прежнему, чувствовал себя здоровым, с понедельника собирался выйти на работу. «Зачем же я отменил завтрашнюю группу?» — с досадой думал он, хочется все-таки до Нового года покончить с лагерной прозой. Решив, что попробует собрать свою четверку, Андрей позвонил Егору. Все еще сипло сообщил, что выздоровел и готов завтра встретиться, если, конечно, у Егора нет других планов. Мальчик немного смущенно ответил, что, к сожалению, другие планы есть.

— Давайте сделаем так, — предложил Андрей. — Я позвоню девочкам, и, если они могут, мы один раз позанимаемся втроем, а с вами я как-нибудь встречусь отдельно. Идет?

— Понимаете, Андрей Валерьевич, — запинаясь, ответил Егор, — у девочек, я думаю, тоже другие планы.

— Хорошо, я узнаю, — сказал Андрей и собирался попрощаться, когда вдруг услышал:

— Мы вообще подумали — вы специально написали, что заболели, ну, чтобы освободить нам всем субботу.

— В каком смысле «освободить субботу»?

— Ну, мы подумали, что у вас те же другие планы, что у нас.

— Если бы я не заболел, у меня и были бы те же планы, что у вас, — заниматься. А так мои планы были болеть. Какие планы у вас четверых, я не знаю.

— То есть вы правда болели? — изумленно спросил Егор. — И в интернет не заходили, и «ВКонтакте» или там ваше ЖЖ не читали?

— Нет, — удивился Андрей. — А что я там должен был прочесть?

— Так революция же! — крикнул Егор. — Как же вы не знаете!

Пока мальчик, захлебываясь от волнения, пересказывал события прошлой недели, Андрей включил компьютер и быстро проглядел новости.

— Я не уверен, Егор, что вам надо туда идти, — сказал он. — Судя по всему, это может быть небезопасно.

— Это наверняка будет небезопасно, — услышал он в ответ, — поэтому мы туда и пойдем!

— Я как-то не разобрался до конца, — медленно проговорил Андрей, — но не уверен, что это вообще имеет смысл. Ну выйдет несколько тысяч человек, половину пересажают, как... эээ... во вторник на Триумфальной. Вряд ли от этого что-то изменится.

— Андрей Валерьевич, — обиженно сказал Егор, — что вы говорите! Мы же с вами только в прошлую субботу обсуждали, что чуму надо лечить, даже если нам неизвестно лекарство и мы рискуем сами заразиться и умереть.

Вздыхнув, Андрей сказал:

— Слушайте, Егор, у меня есть еще одна идея.

Он хорошо понимал своих учеников: в 1991 году, будучи не сильно старше, Андрей несколько раз ходил на запрещенные антикоммунистические манифестации. Спустя двадцать лет было уже трудно вспомнить, против чего конкретно протестовали, но Андрей не забыл чувство полной никчемности,

не покидавшее его, пока он в плотной толпе демонстрантов шел от Краснопресненской к Манежной. Он видел, что многие вокруг испытывали эмоциональный подъем, — и знал, что есть люди, которые панически боятся толпы. С ним не происходило ни того ни другого. Ему было просто скучно, ему казалось, что он попусту тратит время. Вместо этого, думал Андрей, я мог бы печатать листовки или делать еще что-то нужное и уникальное, а здесь, в толпе, я всего лишь единица, такая же, как другие.

Неудивительно, что после распада СССР Андрей ни разу не был ни на одном митинге, а если бы не его ученики, не пошел бы и на Болотную. Возможно, не сошлись Егор на Камю, Андрей остался бы дома, но, представив четверых детей в митингующей толпе, понял, что придется идти с учениками. С Егора, думал Андрей, станется поиграть в революцию. Да и без него, небось, найдутся желающие. А в интернете пишут, что в Москву ввели внутренние войска и, значит, могут устроить провокацию и разогнать митинг. Или даже разогнать без всяких провокаций.

Как известно, митинг 10 декабря прошел без эксцессов. Андрей встретил учеников у метро «Парк культуры», дошел до «Октябрьской», а потом вместе с толпой отправился на Болотную. В толпе он то и дело замечал знакомых — Зару с мужем и ребенком, Леню Буровского, а также Феликса, изображавшего Гарри Поттера с плакатом «Тот-кого-нельзя-назвать, к нам не приходи опять!»

— Имеется в виду воскрешение Вола-де-Морта и третий срок Путина, — пояснил он. — Такая двойная шутка, понятно?

Света воскликнула: *вау!* – и сделала фото, которое потом, превратив в демотиватор «Гарри Поттер с нами!», выложила во «ВКонтакте».

Егор уходил с площади мрачный и надутый: было понятно, что революции не случилось, митинг закончится ничем. Андрей, напротив, был доволен – все целы-невредимы, ни провокаций, ни винтилова.

Ближайшие кафе были забиты, и Андрей уговорил голодных ребят поехать к нему – все-таки очень не хотелось пропускать занятие.

В понедельник Феликс подошел к Андрею:

– Ты молодец, что привел учеников. Надо будет в следующий раз у нас в лицее тоже ребят организовывать.

Андрей рассмеялся:

– Да ну, я на самом деле во все это не верю. Что, они все реально хотят революции?

– А ты нет? – удивился Феликс.

– Я – нет, – ответил Андрей, – и ты тоже нет.

Феликс удивился:

– Да ладно! Это же как двадцать лет назад: «Асса», *перемен требуют наши сердца*, все такое... как можно этого не хотеть? Бабилон падет, старый мир опять будет разрушен, ангел задует в трубу, и под эту музыку мы все пойдем танцевать!

– Что ты несешь? – с раздражением спросил Андрей. – Мы же учителя, мы должны верить в образование, а не в революцию. Сам же знаешь: где революция – там насилие, кровь и регресс.

– Мы живем в новом веке, – сказал Феликс. – Двадцать первый век – век бескровных, цветных революций.

Андрей снова рассмеялся, не приняв его слова всерьез, и вспомнил этот разговор только через неделю, когда Феликс вывесил в школьном вестибюле плакат, призывающий школьников и учителей 24 декабря выйти на проспект Сахарова.

И вот Андрей сидит на кухне, пьет обжигающий чай (хотя предпочел бы, конечно, выпить водки) и рассказывает бабушке Жене о том, как буквально за месяц *уникальный педагогический коллектив* оказался на грани раскола: Марик сорвал плакат, вызвал к себе Феликса и объяснил, что своей, как он выразился, выходкой тот подставляет весь лицей.

— А что будет, если кто-нибудь из детей послушает тебя, дурака, и пойдет на митинг? А там с ним что-нибудь случится? Ты забыл, что наш приоритет — это безопасность учащихся!

— Я-то был уверен, что наш приоритет — это открытость и демократия, — ответил Феликс. — Вы же сами всегда говорили, что мы должны воспитывать свободных людей! То есть тех, кто сам может принять решение, идти на митинг или нет.

Когда после уроков Марик собрал учителей и объявил, что уволит любого, кто будет призывать школьников к участию в уличной активности, Феликс и еще несколько молодых учителей сказали, что готовы быть уволены и не собираются подчиняться распоряжениям дирекции.

— Понимаешь, Марик и другие основатели считают, что главное — сохранять лицей, — объясняет Андрей Жене, — старые учителя говорят, что политике, как, например, религии, не место в школе,



а Феликс и часть молодых учителей — что в такой переломный для страны момент мы должны широко открыть двери лица для политических дискуссий... Короче, слушая его, я чувствовал себя внутри фильма Годара про 1968 год.

Андрей отпивает чаю, раздумывая, знает ли бабушка Женя, что такое 1968 год, а она тем временем спрашивает:

— И что случилось 24 декабря?

Андрей усмехается:

— Все случилось до 24 декабря. Марик на следующий день объявил детям на общем собрании, что если хотя бы один пойдет на митинг и будет там задержан, лицей закроют. Поэтому он призывает всех проявить ответственность и никуда не ходить. Ну и никто не пошел, насколько я знаю.

— А лицей правда закрыли бы?

— Могли закрыть, а могли и не закрывать, — пожимает плечами Андрей. — Откуда я знаю? Никто же не пошел.

— Но если все обошлось, — спрашивает Женя, — почему ты сидишь здесь такой убитый?

Андрей вздыхает:

— Понимаешь, бабушка, на самом деле ничего не обошлось. Четвертого февраля будет еще один митинг, и ко мне уже приходили дети из моего любимого одиннадцатого и сказали, что пойдут в любом случае. Более того, они сказали, что пойдут именно потому, что полтора года читали со мной русскую литературу и мои уроки убедили их, что они должны противостоять злу и не позволять собой манипулировать.

— А ты учил их, что...

Андрей всплескивает руками:

— Ну разумеется, я учил их, что люди должны противостоять злу и не позволять собой манипулировать! Но я же не знал, что кто-то решит, будто противостоять злу надо в форме массовых выступлений, а манипуляцией окажется то, что говорит им Марик!

— То есть ты хочешь понять, как теперь убедить их никуда не ходить? — спрашивает Женя.

— Да нет, — вздыхает Андрей. — Во-первых, их нельзя убедить, они упрямые, как все подростки. Во-вторых, с чего я должен их убеждать? Я знаю, что это небезопасно, да. Но вся литература говорит нам, что люди должны быть готовы рисковать и жертвовать собой ради того, во что верят. Как я могу одновременно преподавать литературу и призывать их сидеть дома? Не один Егор такой умный, они все скоро прочтут Камю или еще что-нибудь столь же героическое, и поди их тогда останови. Да и кроме того, я не могу больше оставаться в лицее. Я восхищался тем, какую Марик собрал команду, а теперь я вижу, что все это — колосс на глиняных ногах.

Бабушка Женя вздыхает:

— И ты пришел поговорить об этом — со мной?

Андрей смущенно улыбается:

— Если честно, я пришел поговорить с папой. Мне казалось, у него должен быть большой опыт в этой области.

Зимой 2012 года Валерий Владимирович Дымов неожиданно для себя достиг точки равновесия. Это было то самое состояние центра циклона, про

которое он так любил говорить своим ученикам: глубокий, незамутненный покой. Не буддийское просветление — Валера совсем не чувствовал в себе безграничного сострадания и желания заботиться о благе всех живых существ, — но все равно интересное новое чувство. Впервые за всю свою жизнь он перестал строить планы и куда-то стремиться.

Когда Валера был молод, он вождедел всех красивых девушек. Прочитав несколько дурно переведенных книг по эзотерике, он захотел познать свои пределы, выйти за них и обрести иное бытие, и однажды ночью это желание чуть его не погубило. С тех пор он хотел простых вещей: когда начал преподавать йогу, ему нужно было все больше учеников; во времена ООО «Валген» — все больше славы и денег. Даже смерть партнера и собственное разорение ничему не научили Валеру: несколько лет назад, запуская сайт, он все равно хотел еще больше трафика, еще больше посетителей... одним словом, хотел популярности.

И вдруг эти желания покинули его. Возможно, он исчерпал их все, полностью удовлетворив свое стремление к славе, как когда-то сумел насытить свою похоть. В одной книге он читал об этом методе — любую, даже самую безграничную жажду можно победить, влив в человека бочку воды. Учителя древности считали этот метод действенным, но опасным: если вовремя не остановиться, вода разорвет человека изнутри. Но, видимо, Валере повезло.

Было, конечно, и другое объяснение: желания исчезли, потому что Валера устал желать, — у него просто закончились силы. Вся жизнь он рвался вперед, стремился к экспансии; недаром крокодил

Гена сумел в нем разглядеть — и использовать в своих целях — эту готовность к безграничному расширению. А вот теперь, на седьмом десятке, Валера больше не может расширяться, и потому желания покинули его и он обрел покой.

Сайт приносил небольшой, но верный заработок, но еще раньше, в тот самый момент, когда Женнины сбережения и деньги, оставшиеся от продажи квартиры, почти закончились, появились какие-то бывшие ученики, сделавшие себе имя в бизнесе или политике. В их подношениях Валере были важны не столько деньги, сколько то, что, оглядываясь на свою жизнь, он мог сказать, что хорошо поработал: у него было немало учеников и многие до сих пор ему благодарны. Что может быть лучше для человека, которого называли гуру?

Все чаще Валера чувствовал себя старым мудрым волком, который сидит в своем логове и не видит смысла в охоте: ему и так приносят добычу.

И вот ясным январским днем Андрей ворвался в этот мир, наполненный покоем и умиротворением. Валера внимательно выслушал: он хорошо понимал сына — в конце концов, Валера и сам некоторым образом всю жизнь работал учителем.

— Учитель не может не учить, — сказал он Андрею. — Ищи возможность учить так, чтобы избежать опасности, которая тебя беспокоит.

— Папа, — скривился Андрей, — перестань изображать Мастера Йоду и говорить банальности. Скажи мне лучше, что бы ты сделал на моем месте?

Валера с равнодушным интересом отметил, что ехидное сравнение с героем «Звездных войн» не

вызвало в нем ни обиды, ни злости, ни раздражения. Он кивнул:

— Я же не знаю, что тебя беспокоит *на самом деле*. Поэтому не могу ответить, что бы я делал на твоём месте.

— Тогда скажи, что ты сделал на своём. Я же помню, ты тоже работал в школе, а потом ушел. Как это случилось? Из-за чего?

— Мы тогда с Леней Буровским обсуждали, что значит «жить не по лжи». Каждый выбрал свое: Буровский определил для себя допустимый уровень лжи и старался его не превышать, а я решил построить свою жизнь так, чтобы по возможности лжи избежать полностью. При этом я не хотел быть диссидентом, не хотел сидеть в тюрьме. Я просто решил, что лучший способ — это свести к минимуму контакты с государством. Ведь если нет государства, кто заставит меня лгать?

Андрей кивнул.

— И на этом пути я для начала уволился из школы, потому что школа — это всегда часть государства. Дальше ты знаешь: пять лет я зарабатывал частными уроками йоги, а потом пришел Геннадий и раскрутил меня на эту историю с Центром духовного развития, миллионными кредитами, транснациональной корпорацией и тому подобным. Когда все это рухнуло, я долго думал: может, надо было сразу отказаться? Но тогда я бы рисковал сесть, а это совсем не то, чего я хотел. Если бы я не исключал для себя вариант тюрьмы, я бы сразу стал диссидентом.

— И какая же мораль в твоей истории? — спросил Андрей. — Ты все делал правильно или допустил ошибку?

Валера пожал плечами:

— Мораль в том, что в нашей стране честный человек не может избежать государства, но все время должен держать с ним дистанцию.

— Это как костер, — согласился Андрей. — К нему надо быть не слишком близко, чтобы не сгореть, и не слишком далеко, чтобы не замерзнуть.

— Вот именно! — кивнул Валера. — Ты все правильно понял.

Андрей усмехнулся:

— Только это не я, это еще Эзоп говорил. И, кстати, это значит, что не только у нас все так хреново устроено.

— Я и не говорил, что только у нас, — ответил Валера и, подумав, добавил: — Вот, кстати, и решение твоей проблемы: ищи такое место, чтобы быть не слишком близко и не слишком далеко от источника опасности.

Андрей изобразил руками *намасте* и церемонно склонился перед отцом:

— Благодарю вас, о достопочтимый, за ваш мудрый совет.

Валера в ответ только улыбнулся.

Кухня залита ясным зимним светом. Сделав последний глоток, Андрей отодвигает пустую чашку.

— И чем это тебе не совет? — спрашивает Женя.

— Тем, что это набор верных, но пустых слов, — отвечает Андрей, — а мне бы практическое руководство. Знаешь анекдот про мышей, которым нужно было стать ежиками?

Женя анекдот не знает, но кивает с пониманием. Ей и без анекдота понятно, что сказать.

— Ты же знаешь: твой дед отказался и от политической, и от научной карьеры, чтобы, не дай бог, не попасть в лагерь или в шарашку. Поэтому вместо того, чтобы создавать нового человека или синтезировать новые вещества, он решил просто учить людей. Учить тому, что знал, и я уверена, что это было куда больше химии.

— И что же это было? — спрашивает Андрей.

Женя задумчиво смотрит на него.

— Например, он учил быть такими, как он, быть честными и ответственными, а это уже немало.

— Я тоже учу детей быть честными, — говорит Андрей. — Потом из-за этого они выходят на митинги, а там их бьет ОМОН или винтят менты.

— Ну, — вздыхает Женя, — ты же их не учишь ходить на митинг. Ты учишь их быть честными и думать. В том числе — думать о своих родителях, о своем будущем. Если ты хорошо научишь их думать, они сами будут принимать решения и сами за них отвечать.

— Феликс тоже так считает, — отзывается Андрей, — но они еще дети, они не могут сами отвечать за такие решения. Ответственность все равно на мне, на других учителях... на родителях, в конце концов.

Женя молчит. Прожитые годы разворачиваются перед ней, как бумажная спиралька серпантина.

— Знаешь, у твоего деда был еще один хитрый трюк. Он считал, что пока мы живем в такой большой стране, у нас не может быть безвыходных ситуаций, — говорит Женя, забыв, что это была ее собственная мысль, которой она никогда не делилась с Володей. — Он знал, что из лю-

бой ситуации найдется выход, потому что можно уехать в другое место, унести свою ситуацию с собой и там, на новом месте, найти выход, которого не было здесь. Поэтому Володя все время переезжал — из Питера в Москву, из Москвы — в Куйбышев, оттуда — в Грекополь, в Энск, потом обратно в Москву.

— И что случится, если я уеду из Москвы?

— Я думаю, твоя проблема временно исчезнет. В провинции никто не ходит на митинги. А если выйдут, значит, будет совсем другое время, все митинги разрешат, как разрешили в перестройку.

— Понимаю, — медленно говорит Андрей. — Уехать в провинцию, найти обычную школу, с обычными учениками и обычными учителями, без всякого *уникального педагогического коллектива*, без веры в то, что лучше этой школы нет ничего на свете... и спокойно учить детей, надеясь, что им прежде времени не подвернется случай стать героями и они просто вырастут честными людьми.

— Ну да, — соглашается Женя. — Мне кажется, это и делал Володя.

Андрей снова низко склоняет голову над столом, но что-то уже изменилось — может, поза, может, угол солнечных лучей. Теперь Женя видит только своего внука, сидящего у нее на кухне, вот и все, ничего особенного, никаких воспоминаний.

Женя снова вздыхает, и тут Андрей поднимает голову. На лице его — та самая, давняя Володина улыбка.



# Эпилог

Когда-то будущего было много; собственно — вся жизнь, но с каждым годом оно сжималось, как высушающая губка, забытая в темном углу кухни, скукоживалось, как осенний кленовый лист, засушенный между страниц книги, пряталось в свою раковину, как испуганная улитка-высуни-рога, только тронешь, и — хоп! — уже нет, скрылась, завернулась в известковую спираль, только что было — а вот уже и нет.

Когда-то можно было лежать, укрывшись одеялом, ждать, пока придет сон, представлять, что с тобой будет завтра или через год, через десять, двадцать лет, а потом постепенно, шагком за шагком, не осталось двадцати лет, не осталось десяти, а потом и насчет года становилось все сомнительней, даже не потому, что можно умереть раньше, а просто через год тебя не ждет ничего интерес-

ного — будет такой-то месяц, такой-то день, можно примерно угадать, какая будет погода, вот, собственно, и все, а остальное — как сегодня, как завтра, как вчера и как полгода назад.

Будущее исчезает не когда ты чувствуешь приближение смерти, а когда дни становятся неотличимы друг от друга, когда оно перестает таить в себе неизвестность, перестает будоражить воображение. Сколько бы ни прожила, будешь жить в этой квартире, спать на этой кровати, даже надевать по утрам будешь ту же одежду, потому что зачем покупать новую — не так уж долго осталось носить ту, что есть.

Сколько бы ни прожила, больше не встретишь новых людей, а если встретишь — не запомнишь. Твой мир, твое настоящее сжимается: всего-то тебе осталось две комнаты и кухня, лестница и лифт, двор и дорога до магазина, да и те — лишь когда сойдет снег, то есть, возможно, уже и никогда. Записная книжка — если бы еще сохранились настоящие записные книжки — тоже становится все тоньше, все меньше людей звонят тебе, все меньше людей, которым тебе хочется позвонить. И это не говоря о тех, кто навсегда убыл, о тех, встречу с кем тебе не надо будет предварять телефонным звонком, если, конечно, не считать тот самый, 03, по которому позвонит Валера, когда тебе придет время отправляться к тем, кого больше нет.

Записная книжка сжалась до двух телефонных номеров, Валера и Андрей. Валеру ты видишь каждый день, а вот Андрея не видишь почти никогда с тех пор, как он, послушавшись твоего совета, уехал учителем в Тулу. Что до других людей, то ког-

да-то у Валеры бывали гости, ты их встречала, стараясь одеться по красивей, но теперь из гостей — одна Наташа, молодая еще женщина, шестьдесят с небольшим. Когда они сидят вдвоем, ты из комнаты ни шагу, мало ли чем они там заняты?

Вот и все твое настоящее: две комнаты и кухня, из-за стены бурчание и бульканье соседского телевизора, да еще из окна виден занесенный снегом дальний угол двора, где почему-то никогда никто не ходит, разве что рано утром или поздно вечером, когда все равно на улице зимняя тьма и не видно ни зги.

Вот и все твое настоящее: Валера и Наташа, да еще Андрюша, который так далеко, что день за днем все больше превращается из настоящего в прошлое, благо прошлого у тебя очень много, накопилось за восемьдесят четыре года, и теперь перед сном можно, как в детстве, лежать, укрывшись одеялом, в той же самой комнате, где ты засыпала семьдесят лет назад, только вместо будущего перебирать прошлое, потому что будущего у тебя почти нет, да и настоящего так мало, что и то и другое скопом не жалко обменять на прошлое, где остались все фантазии и мечты, все несбывшиеся варианты будущего, счастливые концы для грустных историй, исполнение надежд, исцеление печалей.

Вот ты стоишь, молодая и прекрасная, в длинном белом платье, в прозрачной фате, то ли на красной дорожке в загсе, то ли под венцом в церкви. Вот, тяжело дыша, ты поднимаешься по крутой лестнице, опустив глаза, глядя на свой живот, такой огромный, что ты придерживаешь его снизу руками, поднимаешься и только на верхней ступени бросаешь

куда-то вбок быстрый, лучащийся счастьем взгляд. А вот ты вынимаешь из лифчика большую, налитую молоком грудь, и крошечный разинутый в крике ротик вдруг находит сосок, и сразу наступает тишина, нарушаемая младенческим причмокиванием и твоим глубоким дыханием.

Вот оно, будущее-в-прошедшем, то, что могло с тобой случиться, но так и не сбылось, и вот потому эта дремотная кинолента, эти движущиеся картинки составлены из фрагментов чужих жизней — чужая свадьба и чужое венчание, чужая беременность, подсмотренная на лестнице куйбышевского меда, воспоминания о маленьком Валерике и кормящей Оле.

Ты лежишь в темноте, по самый подбородок укрытая одеялом, прошлое омывает тебя, как скользящая вода, и вместе с ним ты скользишь вниз по течению все дальше и дальше...

Вот Валерик и Андрюша сидят за столом, раскрасневшиеся, довольные, оба громко смеются, широко разевая рты и откидываясь на стуле, на верное, над чем-то страшно неприличным, потому что, когда тыходишь на кухню, они тут же смущенно замолкают, и Валерик даже прикрывает рот ладонью, а Андрей еще раз хихикает, уже тихо, и Валерик прыскает в ответ, а потом оба с серьезной миной отворачиваются друг от друга, смотрят на тебя, и Валерик говорит: «Теть Женя, поужинаешь с нами?»

Вот снег хрустит под ногами, стая черных ворон проносится на фоне ультрамаринового неба, и на этом же фоне — темные ветви замерзших деревьев, янтарные купола Новодевичьего, ты идешь осто-

рожно, чтобы не упасть, и вдруг кто-то подхватывает тебя под локоть: *бабушка, позвольте, я помогу!* — незнакомый парень в дутой куртке, неужели тоже в церковь? Значит, нам по пути, вот и хорошо, вот и славно.

Вот Володя неподвижно лежит на спине, знакомый профиль, неизменный все эти годы. Ты осторожно гладишь его седые, когда-то черные волосы, потом спрашиваешь: *хочешь, я тебе стихи почитаю?* — и, не дожидаясь ответа (какой уж тут ответ!), идешь к книжному шкафу, открываешь тяжелые дверцы, вынимаешь томик Тютчева, садишься рядом, выбираешь почти наугад: *Сияй, сияй, прощальный свет / Любви последней, зарю вечерней...* — твои губы продолжают произносить знакомые слова, и ты все смотришь на Володин профиль, пытаешься вспомнить его улыбку... — *пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность...* — и тут твой голос обрывается, ты закрываешь книжку и вдруг целуешь Володю в щеку — быстро и воровато.

...Твое прошлое... о, твоё прошлое так огромно, а вот настоящее сжалось до размеров комнаты, где ты лежишь в темноте и никак не можешь уснуть, и только волны невидимой реки несут тебя далеко-далеко...

Вот резной кленовый лист, багрово-желтый, по краям чуть опаленный дыханием первых заморозков, парит в воздухе, плавно опускается к земле, и Андрейка тянет к нему маленькую руку и уже почти что уцепился за оранжевый черешок, но, подхваченный ветром, лист снова взлетает и только потом медленно планирует прямо на голый, облетевший кустарник, оттуда его уже точно не до-

стать, но в последний миг Андриюшины пальчики все-таки ловят эту огромную ускользающую осеннюю бабочку. Ты радостно смеешься, а мальчик гордо поднимает к небу свой трофей — вот и умница, вот и молодец!

Вот волны одна за другой окатывают вас белой пеной, чудом не сбивают с ног, а вы все бежите вдоль берега, Володя несется впереди, и Валерик сидит у него на плечах, заливаясь счастливым смехом, а Оля, смешно выбрасывая вбок полноватые голени, бежит следом и кричит: *осторожно, осторожно, только не урони!* — и ты видишь, как ветер развеивает ее волосы, и закатное солнце светит сквозь них, и ты уже почти догоняешь ее, и тянешь руку, и кричишь: *Оля, Оля!*

...И ты никак не можешь закрыть глаза и все смотришь в темноту своей детской комнаты, одеяло натянуто под самый подбородок, и ты лежишь на спине, словно плывешь в Черном море, словно отдыхаешь, без единого движения, погруженная в прошлое, чувствуя на губах его соленый вкус...

Вот шелковый подол изумрудно-зеленой волной разлетается по гладильной доске. Ты накрываешь его белым хлопковым платком, двумя руками берешь тяжелый утюг. Теперь главное — не задеть шелк, гладить только через хлопок, как тебе объяснила тетя Маша. Ох, не хватало еще испортить Олино парадное платье! Ты задерживаешь дыхание, и тут луч солнца вспыхивает между изумрудными складками шелка, словно перед тобой не гладильная доска, а пригорок, покрытый зеленой травой, словно вновь настало лето, словно нет и не было никакой войны.

И вот ты бежишь по широкой, очень широкой желтой дороге, и твои сандалики топают и поднимают в воздух облачка пыли, и над головой – яркое оранжевое солнце и яркое голубое небо, и большой, красивый мужчина где-то высоко держит тебя за руку, но ты вырываешься и бежишь вперед, туда, где сидит на корточках красивая добрая женщина, и ты с разбегу налетаешь на нее, и она ловит тебя и шепчет прямо в розовое ушко: *вот и хорошо, вот и славно, вот и умница, вот и молодец*, а ты в ответ повторяешь одно слово – *мам, мам, мам!* – и никак не можешь, не можешь остановиться.

...И вот ты лежишь в темноте, и чей-то мужской голос эхом доносится из соседней комнаты: *мам, открытие Олимпиады! Будешь смотреть?*

Как он тебя назвал? *Мама?* Вот и хорошо, вот и славно. Постарайся в ответ улыбнуться, хоть чуть-чуть, хотя бы уголками губ. Получилось? Вот и умница, вот и молодец.

Ну что, теперь уже все, теперь ты можешь наконец закрыть глаза, можешь наконец уснуть.

\* \* \*

Андрей приехал из Тулы на следующий день. Зеркала в доме были завешены черным; полная краснощекая женщина открыла Андрею дверь и сразу обняла, прижала к груди: он сначала отпрянул, потом узнал тетю Наташу, давнюю папину подругу. Спросил: *как папа?* – Наташа ответила: *держится*.

Хоронили бабушку Женю через два дня, на Донском кладбище. Похоронный агент договорился обо всем заранее, Валера только подписывал бу-

маги, одну за другой, все происходило отлаженно и скоро, но Андрей никак не мог избавиться от мысли, что в следующий раз старшим уже будет он сам, и прикидывал, глядя на отца, думает ли тот, что после смерти Жени он теперь крайний в череде семейных похорон?

Андрей боялся, что на кладбище никто не придет, но народу собралось столько, что поминки пришлось отмечать в специальном кафе — посоветовал агент. Андрей почти никого не знал, кроме разве что дяди Лени Буровского, но из разговоров понял: это все бывшие ученики деда и отца.

Потом сидели дома втроем, Андрей, Валера и Наташа.

— Я досмотрел Олимпиаду, — уже в который раз за последние дни повторяет Валера, — захожу в комнату, а она лежит, такая спокойная, мирная... глаза закрыты. Я даже не сразу понял, а потом меня как будто что-то дернуло — подошел, потрогал лоб... а он холодный. И я стою над ней — и не верю, что ее больше нет. Ты вот всю жизнь ее бабушкой звал, а я — только тетей Женей, но ведь все равно — она мне как мать была, и не только сейчас, когда мы с ней вместе жили, но даже когда я мальчишкой еще был, в Грекополе...

Андрей кивает, в кармане джинсов брякает телефон — пришло сообщение на мессенджер, Андрей думает: *наверное, соблезнования.*

Уезжая из Тулы, Андрей написал про смерть бабушки в «Фейсбук» и «ВКонтакте» и с тех пор все время получал соблезнования от учеников, коллег, даже от бывших коллег-журналистов, о которых давно забыл. В школе его, слава богу, сра-



зу отпустили, и, хотя были выходные, Андрей на всякий случай отпросился на неделю: мало ли что, вдруг придется побыть с отцом, он все-таки с бабушкой Женей прожил последние пятнадцать, что ли, лет, как он теперь один будет?

— Я вот, папа, думаю, — начинает Андрей, — может, мне остаться, пожить у тебя?

— Зачем? — поднимает брови Валера. — У тебя же школа, ученики... ты на каникулы приезжай лучше.

— Ну, чтобы ты не один был, — говорит Андрей, а отец улыбается:

— Да я и не один, — и показывает на тетю Наташу, а та заливается молодым застенчивым румянцем.

Ах вот оно что, думает Андрей. А я и не понял.

— А, ну ладно тогда, — говорит он, и Валера добавляет:

— Да ты не волнуйся за меня. У меня учеников пол-Москвы, не пропаду. И деньгами помогают, да и так не забывают.

Андрей кивает — мол, ну хорошо тогда — и выходит в туалет. Там машинально глядит в телефон и видит сообщение от Ани: «Прими мои соболезнования, я знаю, ты очень ее любил. И еще. Я понимаю, что это может быть не совсем уместно сегодня, но если хочешь, мы можем встретиться: я сейчас в Москве».

Они сидят в итальянском ресторане, большие столы, много свободного места, цены в меню такие, что охота зажмуриться. Андрей чуть было не назвал одно из мест, куда ходил когда-то, — «Жан-Жак», «Квартира 44», «Маяк», — но потом сообра-

зил, что только толпы знакомых ему сегодня и не хватало, поэтому просто выбрал по карте, поближе к Аниной гостинице: ну, вот и сидит теперь прикидывает, вся ли его учительская зарплата уйдет на этот ужин.

Хорошо еще, что живет Андрей на деньги за аренду московской квартиры, — если честно, с такими деньгами в Туле можно и вовсе не работать... но он, конечно, и не ради зарплаты работает.

Аня рассказывает, что прилетела в Москву по делу, всего на несколько дней, никому не хотела говорить, чтобы никто не обиделся, а то начнется — с кем-то встречалась, а с кем-то нет, но потом увидела, что Андрей как раз приехал, пусть и по такому скорбному поводу, решила написать, вдруг получится?

Да, получилось. И вот они сидят друг напротив друга, всматриваются. Если не считать того разговора по скайпу, первый раз видятся за двадцать лет. Изменились? Конечно. Была юная девочка, а стала женщина, взрослая, красивая. Та же мягкость черт, густые брови, каштановые волосы, только теперь коротко стриженные, уложенные в прическу и, наверное, крашенные. Андрей смотрит на ее руки, лежащие на столе... бесцветный маникюр, два кольца, одно из них — обручальное.

Он рассказывает про Тулу, про то, как поначалу было трудно привыкнуть к маленькому городу... хотя не такой уж маленький, полмиллиона жителей, Андрей проверял — примерно как Бостон или Вашингтон.

— Просто никто не живет в Бостоне и Вашингтоне, — говорит Аня. — Все живут в субурбе, в маленьких городах-пригородах мегаполиса.

— Да, у Тулы с этим похуже, — улыбается Андрей. — В общем, потом я привык, нормально там живется.

И тут он рассказывает про школу, про то, как боялся, когда туда ехал, что не найдет общего языка с учениками, что дети будут без всякого интереса к литературе, но оказалось, дети всюду одинаковые, особенно если пятый-шестой класс, ну, как тогда с твоей Леной, им все можно объяснить, всем увлечь. К тому же выяснилось, что в Туле отличные традиции, там всегда были сильные школы, мы просто в Москве ничего об этом не знаем, примерно как вы в Америке ничего не знаете про Москву.

Аня обижается: как это не знаем? Мы же читаем интернет, всякие новости, я даже помню, куда ты ходил выпивать, когда здесь жил... что-то французское... «Жан-Клод»? Нет, «Жан-Жак», как Руссо. Почему мы, кстати, не там сидим? Уже не модно?

Андрей пожимает плечами: что значит «не модно»? Там все пьяные просто, не дадут поговорить спокойно, а мы сто лет не виделись, ты расскажи, ты-то как?

И Аня тоже рассказывает: про то, как Леночка учится в своей хай-скул и какие у нее новые подружки, а скоро пойдут и мальчики, вот это будет ого-го, Аня, кажется, к этому не готова еще, ну ничего, как-нибудь справится. Рассказывает, что сама она теперь преподает биологию в медицинской школе Чикагского университета, и это очень круто, и вообще, ты же помнишь, я сама хотела быть врачом когда-то, потому к твоему деду и попала.

Там мы и познакомились, говорит Андрей, и они замолкают — наверное, оба вспоминают тот день,

когда Андрей вошел в комнату, а рядом с дедом сидела незнакомая девочка в вязаной шерстяной кофте.

— Мне кажется, я помню твою бабушку, — говорит Аня. — Она открывала дверь, когда я приходила. Такая худая старушка, вся аккуратная, только на голове черт-те что творилось.

Андрей смеется: да, точно, волосы всегда были в беспорядке, так непривычно, что в гробу она нормально причесанная.

— Я знаю, ты ее очень любил.

— Она меня вырастила, — кивает Андрей. — Я деда и его жену до шести лет вообще не видел, они в Энске жили.

— А бабушка была первой женой Владимира Николаевича? — спрашивает Аня.

Андрей удивляется: надо же, до сих пор помнит дедово имя-отчество! — и отвечает:

— Нет, она была сестрой его жены, бабушки Оли. В том поколении не особо-то разводились. — И, видя Анино недоумение, поясняет: — Женя мне не биологическая бабушка, я просто ее так называл. Она жила с дедом и его женой, когда мой папа родился, и фактически его воспитала.

Аня сочувственно кивает:

— Какое все-таки несчастное поколение! Сначала война, потом нищета... она, наверное, потому и жила с ними, что ни жилья, ни работы не было... Когда оглядываешься на все это сейчас, видишь, какой ужасной была их жизнь!

— Не знаю, — отвечает Андрей, — бабушка Женя никогда не казалась мне несчастной.

— Ты просто мужчина, — говорит Аня, — тебе трудно понять. Но она же на самом деле оказа-

лась лишена собственной жизни — ни детей, ни семьи.

Приносят пасту, Аня с интересом смотрит в тарелку Андрея, он смеется:

— Ну да, спагетти в чернилах каракатицы с красной икрой. У вас в Чикаго такого нет?

— Может, и есть, — отвечает Аня, — но для меня, прости, это слишком вульгарно, по-нуворишски.

— У нас просто икра дешевая, — парирует Андрей.

Они обсуждают итальянскую кухню и сколько в Москве появилось ресторанов за эти двадцать лет, Андрей хвастается, что в этом смысле даже в Туле все гораздо лучше, чем он предполагал: зря, то есть, москвичи думают, что за МКАДом живут люди с песьими головами.

Аня смеется и заговаривает о том, как важно для страны развитие провинции, как это в конечном итоге работает на демократию. Андрей не хочет про демократию, да и про политику вообще: придется объяснять, почему он не верит в революции, бархатные, цветные, какие угодно, а потом, неровен час, дойдет до *Pussy Riot*, хорошо, конечно, что их выпустили, два года — это зверство, но и ничего хорошего в их *перформансе* Андрей никогда не находил, поэтому уж точно не готов обсуждать все это с Аней: как у всякой либеральной американки, у нее на эту тему должны быть — вспомним Набокова — *strong opinions*.

Итак, Андрей не хочет говорить про политику и поэтому снова рассказывает про Тулу (где, кстати, никто о политике не говорит, вот уж ему, Андрею, радость), про Тулу и школу, где он учитель-

ствует, и, может, это итальянское вино так легло на поминальную водку, а может, только про учительство Андрею сейчас и интересно, но рассказывает он долго и все не может остановиться, и, лишь когда приносят десерт, говорит:

— Помнишь мой любимый рассказ Уэллса про дверь в стене? Теперь-то понятны все его, так сказать, *коннотации* — и Уильям Блейк, и наш когда-то любимый Моррисон, и все такое, — но главное, знаешь, я сейчас подумал, что в этой тульской школе я попал именно в тот самый зачарованный сад...

Эта мысль и впрямь только что пришла ему в голову, Андрей сам не знает, почему так подумал. Ни Тула, ни школа совсем не похожи на волшебный уэллсовский эдем с красивыми девушками и пантерами... Андрей смотрит на Аню и думает, что ей, наверное, этим садом видится Чикагский университет или даже вся Америка... и тогда ее «дверь в стене» — тот самый погранконтроль в Шереметьеве, где они когда-то расстались, как думалось — навсегда.

Приносят счет, Андрей достает деньги, Аня кредитку, они препираются — я тебя пригласил... я привыкла сама за себя платить... ты здесь в гостях, заплатишь за меня в Чикаго... — тут официант извиняется, что сегодня карточки не принимают, наличных у Ани нет, Андрей платит за двоих; одевшись, они выходят в снежную московскую ночь, молча идут сквозь метель к Аниной гостинице, благо совсем недалеко.

В холле Аня оглядывается, кивает на бар, говорит: *я бы еще выпила, если ты не...*

Андрей *не*. Аня заказывает бокал итальянского красного, Андрей берет сто грамм водки, они

опять говорят про тульскую школу, Аня удивляется, что Андрей так внезапно стал учителем; «у тебя ведь даже диплома нет?» — спрашивает она, а он смеется:

— Почему нет? Я же человек девяностых, я его себе купил, тоже проблема!

Аня качает головой то ли изумленно, то ли осуждающе:

— А вообще... с чего ты решил стать учителем?

Андрей хочет ответить, что все из-за Леночки, но вместо этого говорит:

— Знаешь, когда читаешь русскую классику, волей-неволей думаешь, как устроены разные семьи. Не в том смысле, что все несчастны по-своему, — нет, я не о том. Просто понимаешь, что есть разные семьи. Есть семьи, которые преследует злой рок, такие проклятые семьи, как у Гофмана и прочих романтиков. Или, я не знаю, Атрей, Фиест, Эдип, все такое. Есть семьи, погруженные в забвение, которые не знают и не хотят знать, что с ними происходит, — ну, там, где память семьи даже не дотягивается до бабушек и дедушек. Таких семей очень много в России — наверно, из-за репрессий и войн, вообще из-за травм истории. Еще есть семьи, лелеющие свои несчастья, из-за тех же травм. Разные, то есть, бывают семьи.

Теперь Аня слушает внимательно и серьезно. Андрей отпивает из стопки маленький глоток и продолжает:

— А я недавно понял про свою семью. Мы же все время делаем одно и то же, я никогда не замечал, а тут сообразил. Мы — учителя. Моя прабабка была учительницей в рабочей школе, еще до рево-

люции, дед, сама знаешь, профессор химии, отец, конечно, йог, искатель духовных путей и русский Кастанеда, но звали-то его всегда «гуру Вал», то есть, опять же, «учитель Валерий». И со мной теперь тоже все ясно. А если у меня будут дети, я понимаю, чем они займутся.

Аня кивает, вино окрашивает ее губы темно-красным, она говорит:

— Красиво получается. Это как будто вы в семье разыгрываете всю историю. Прабабушка — просветитель, наследник XIX века. Дед — человек того времени, когда наука была главной силой, спасением и соблазном. Твой отец — образцовый шестидесятник, русский нью-эйдж, все такое.

— А я? — с улыбкой спрашивает Андрей. — Я же не компьютерам учу и не маркетингу, а классической литературе, самому несовременному, что есть.

— А ты, — вдохновенно продолжает Аня, — а ты тоже воплощение России сегодня. Когда все социальные утопии захлебнулись, ни коммунизма, ни капитализма, ни либерализма... когда Россия не знает, куда идти, ты отправляешься в провинцию, чтобы учить детей подлинным основам русской культуры. Потому что только в этом спасение.

— Никогда не думал о своей работе в терминах спасения, — пожимает плечами Андрей. — Помому, мне просто нравится учить детей в одной отдельной школе и вовсе не хочется думать про судьбу страны. Страна у нас такая, какая есть. Вот бабушка Женья в ней всю жизнь прожила и не жаловалась, а я чем лучше?

— А это все потому, — говорит Аня, — что ты не знаешь важного принципа, который мне объясни-



ли в Штатах: *think global, act local*. То есть думай о глобальном, а действуй на местном уровне.

— Я вообще-то понимаю по-английски, — замечает Андрей, но Аня продолжает:

— Иными словами, все большие вещи делаются в мелком масштабе. Скажем, я всегда стараюсь ходить в независимые магазины, а не в торговые сети, потому что... ну, неважно... а ты, короче, учишь детей, и это твой вклад в глобальное будущее страны, твой политический акт.

— Знаешь, — отвечает Андрей, — мне не очень интересно про политику. И главное, я не очень чувствую, что у меня есть выбор. Просто в жизни каждого из нас может наступить момент, когда ты совпадаешь со своей судьбой, и у меня этот момент, похоже, настал. Тебе, наверно, в терминах судьбы странно, ты, я думаю, для этого слишком американка...

И тут Аня протягивает руку через столик и накрывает кисть Андрея ладонью — бесцветный маникюр, два кольца, одно из них обручальное.

— Я хотела тебе сказать спасибо, — говорит она. — Вот именно за это, за то, что я «слишком американка». Когда я уехала, я много лет мечтала стать именно что *настоящей американкой*, гражданкой своей новой, извини за пафос, родины... а по-настоящему получилось только несколько лет назад, когда я тебя нашла и мы переписывались полгода...

Она осекается, и Андрей думает: интересно, что я должен ответить? «Не то чтобы я этого хотел»? «Рад, что тебе помог»? «Ну, это случайно вышло»? Может быть, «поздравляю»?

Он кладет руку поверх Аниной, смотрит в ее темные глаза, спрашивает тихим шепотом:

– Проводить тебя до номера?

Аня качает головой:

– Мне кажется, это не очень удачная идея. Я лично найду дорогу.

Они сидят еще час или полтора и, поскольку все уже сказано, говорят о всякой ерунде, типа, как изменилась Москва, какие книжки читали, какие фильмы смотрели последние два года, когда Андрей почти выпал из переписки, уехав в Тулу... а потом, осмелев, вспоминают *те* годы – девяносто первый, девяносто второй, девяносто третий – *их* годы, когда они были молоды и были вместе, прогулки под снегом, поцелуи и объятия, и телефонные разговоры, когда ни один не мог первым повесить трубку, и тот звонок Аниной маме, с которого включился обратный отсчет, начался долгий путь к Шереметьево, к расставанию, про которое они много лет считали, что это навек, а потом им вдруг показалось, что нет, а сейчас да, сейчас обоим уже ясно, что все-таки навек, сколько ни переписывайся, ни перезванивайся и ни встречайся. И они целуются на прощание, легко, в одно касание, а потом Аня уходит, оглядывается только у лифта и видит: Андрей стоит, перекинув куртку через локоть, и, заметив, что она обернулась, чуть улыбается и машет ей небрежно, совсем не так, как много лет назад, и Аня тоже машет, и двери лифта открываются у нее за спиной, она делает шаг назад и уезжает.

Андрей выходит в московскую ярко освещенную тьму. Падает снег, точь-в-точь как той ночью

тридцать семь лет назад, когда его отец не остался у влюбленной в него женщины и ушел, не зная, что им двоим суждено прожить последние годы жизни вместе.

Андрей идет по Москве, идет сквозь Москву, прикидывая, что от Тверской до Усачева где-то час ходу: Газетный, Большая Никитская, бульвары, Пречистенка, Большая Пироговка... если свернуть в Малый Кисловский, можно зайти в «Маяк», а мимо «Жан-Жака» идти по-любому, если, конечно, не перейти на ту сторону, к «Детям райка»...

Невозможно поверить, думает Андрей, я ведь когда-то жил в этом городе. Я помню его... помню те два десятилетия, которые Аня пропустила. Помню, как со дна голодного, веселого и страшного хаоса поднимались островки какой-то новой жизни, нам казалось — западной, *цивилизованной* жизни, все эти ночные клубы и рестораны, ярко освещенные магазины с мерцающей цифрой «24», первые супермаркеты с охранниками у входа... я помню, как кризис девяносто восьмого накатиł разрушительным цунами, но когда волна отхлынула, мы увидели, что она всего лишь смыла безумие, драйв и ужас уходящего десятилетия, и тут уж кофейни стали открываться одна за другой, рестораторы летом выставляли столики на улицу, и пока офисные клерки, которых еще не называли *планктоном*, учили своих девушек разбираться в сортах кофе, богема, студенты и журналисты напивались в «Проекте О.Г.И.», где нам пел Шнур, которого тогда никто и представить не мог на газпромовских корпоративах. Но тут нефть рванула вверх, заработала лужковская машина уничтожения, деве-

лоперы прошлись по городу, разрушая и властвуя, и вот уже в знакомом переулке ты обнаруживал хайтековский кусок какого-то *сраного Лондона* и поначалу даже не знал, восхищаться тем, что вот он, вождеденный *цивилизованный мир*, или ужасаться неуместности этого хрома, стекла, открытых террас, но потом-то, конечно, стало ясно — ужасаться, только ужасаться, потому что ты перестал узнавать свой город, где только невиданные десять лет назад иномарки стоят в нескончаемых пробках, жилые дорожает за год в полтора раза, а зарплаты опережают даже бешеный рост цен в элитных супермаркетах, открывающихся один за другим. Тут-то наконец ты и понял, что у каждого свой предел, одним — «Ваниль», «Дягилев» и «Симачев», а тебе — «Жан-Жак», «Квартира 44» и «Дети райка», и вода льется рекой, и кризис 2008 года кажется сущим пустяком, особенно по сравнению с тем, что было десять лет назад. Но постепенно, через пару лет, даже тебе становится понятно, что на этот раз было не цунами, а что-то вроде глобального потепления, вода все прибывает и прибывает, и каждый год приходится строиться заново, уходя все дальше и дальше вглубь материка, но в это время ты уже учишь детей литературе в лицее у Марика, ты перестал быть журналистом и радуешься, что остались в прошлом полуночные прогулки по кабакам, и еще не знаешь, что через год-другой хипстеры, пришедшие на смену гламуру, потребуют себе право голоса — *вы нас даже не представляете!* — а через несколько месяцев отхлынут, предоставив своей судьбе несколько десятков болотных узников да и всех остальных жителей страны. Вот этими про-

тестными митингами, нестрашно бұхнувшими холостыми выстрелами хипстерского гнева, и закончится твоя Москва, двадцать лет назад возникшая из многолюдных и отчаянных перестроечных манифестаций.

Я же любил этот город, думает Андрей. Все эти годы я любил его, но я больше здесь не живу, это больше не мой город, он остался в прошлом, сгинул, исчез, как исчезли буря и натиск первых журналистских лет, корпоративная скука редакционной работы и два первых лицейских класса, которые я учил литературе. В пятницу умерла бабушка Женя, Аня завтра улетит в свой Чикаго, тетя Наташа переедет к папе — у меня не осталось в Москве дел, меня ничто здесь не держит. Если у меня были долги, я их заплатил.

Снег падает на город, огромные хлопья несутся из черной выси, ветер кружит их, не дает долететь до земли, гоняет туда-сюда хаотически и неостановимо. Андрей идет сквозь безумный танец снежинок, сквозь влажную февральскую метель, сквозь чужую московскую ночь, идет туда, где три дня назад умерла Женя, туда, где она когда-то встретила свою судьбу, туда, где два года назад на кухне, залитой холодным зимним светом, она говорила с ним, Андреем, вот он и уехал, уехал туда, где сейчас ждут ученики, ждет дело, для которого он создан, которого никто не сделает, кроме него.

Он достает мобильный и, закрывая экран от снега, смотрит расписание, прикидывает: если купить билет на утренний поезд, как раз успею забрать у отца сумку, а потом — в метро и на вокзал, буду к четвертому уроку. Всего полтора дня пропу-

стил, даже толком не отстал от плана занятий, все быстро наверстаю.

Андрей еще раз смотрит на часы и прибавляет шаг: ему есть куда спешить.

\* \* \*

Ясным зимним днем 1947 года трое молодых людей встретили свою любовь. Они были молоды, и впереди у них была жизнь, длинная и удивительная.

И вот теперь эта жизнь прошла.

Если в такой же ясный зимний день прийти на Донское кладбище, то, сверяясь с указателями, легко найти скромную могилу: никакого памятника, только надгробная плита. Стряхнув варежкой снег, прочтешь три строки, выбитые на ней:

Ольга Аркадьевна Дымова (1929–1979)

Владимир Николаевич Дымов (1917–1991)

Евгения Александровна Никольская (1930–2014)

Если долго стоять, глядя, как белые хлопья контрастными пятнами оседают на черный мрамор, увидишь, как исчезает надпись и не остается ничего: ни букв, ни цифр, ни дат, ни имен, только белый, искрящийся на солнце снег, только снежинки с небес — одна за другой, одна за другой.

2014–2017

**Кузнецов Сергей Юрьевич**

**УЧИТЕЛЬ ДЫМОВ**

*Роман*

16+

Главный редактор *Елена Шубина*  
Художник *Андрей Рыбаков*  
Ведущий редактор *Анна Колесникова*  
Младший редактор *Вероника Дмитриева*  
Корректор *Ольга Грецова*  
Компьютерная верстка *Елены Илюшиной*



<http://facebook.com/shublinabooks>



<http://vk.com/shublinabooks>

Подписано в печать 23.11.2018. Формат 84x108/32.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84.

Тираж 3000 экз. Заказ № 1460.

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. I, 7 этаж

Наш электронный адрес: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

Интернет-магазин: [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

«Баспа Аста» деген ООО

129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-кабат

Біздің электрондық мекенжайымыз: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Интернет-магазин: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Интернет-дүкен: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасының импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике Казахстан:  
ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім

бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының екілі

«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3 «а», литер Б, офис 1.

Тел.: +8(727) 2515989, 90, 91, 92, факс: +8(727) 2515812, доб. 107

E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей

Охраняется законом РФ об авторском праве.

Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

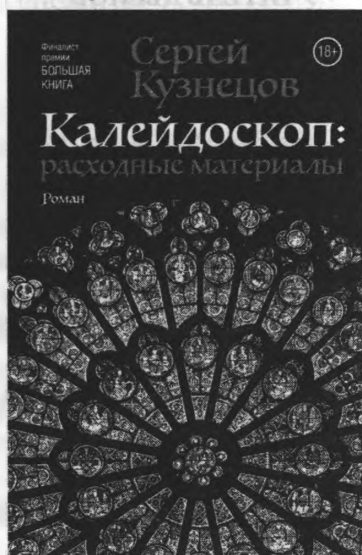


Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

[www.oaompk.ru](http://www.oaompk.ru), [www.oaompk.rf](http://www.oaompk.rf) тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

Сергей Кузнецов  
КАЛЕЙДОСКОП:  
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Сергей Кузнецов – писатель, журналист. Автор романов «Хоровод воды» (шорт-лист премии «Большая книга», «Живые и взрослые», «Шкурка бабочки», «Нет» (в соавторстве с Линор Горалик).

В романе «Калейдоскоп: расходные материалы» более ста героев и десяти мест действия: викторианская Англия, Шанхай 1930-х, Париж 1968-го, Калифорния 1990-х, современная Россия... В этом калейдоскопе лиц и событий любая глава – только часть общего узора, но мастерское повествование связывает осколки жизни в одну захватывающую историю.



ISBN 978-5-17-105379-6



Сергей Кузнецов – прозаик, журналист, культуртрегер. Автор вызвавших бурные споры романов «Шкурка бабочки», «Хоровод воды» (шорт-лист премии «Большая книга»), «Калейдоскоп: разнородные материалы» (шорт-лист премий «НОС» и «Новые горизонты»).

Сергей Кузнецов умеет чувствовать время и людей в нем, вызывая воедино жизни разных персонажей. Герои его нового романа «Учитель Дымов», члены одной семьи, делают разный жизненный выбор: естественные науки, йога, журналистика, преподавание. Но что-то объединяет их всех. Женщина, которая их любит? Или страна, где им выпало жить на фоне сменяющихся эпох?

*Роман о призвании, о следовании зову сердца. О жизни частного человека, меняющего мир малыми делами, который не хочет быть втянутым в грубую государственную игру. О мечте. О любви, которая бывает только одна в жизни. О родителях, ценность которых люди осознают, только когда они уходят.*

*Сергей Кузнецов*